

К „ПОСЛЕДНЕМУ МОРЮ“

В. ЯН



ИЗДАТЕЛЬСТВО «КАРАКАЛПАКИЯ»
Нукус — 1973



Историческая повесть
(XIII *век*)

ИЗДАТЕЛЬСТВО „КАРАКАЛПАКИЯ“
Нукус — 1973

России определено было высокое предназначение... Ее необозримые равнины поглотили силу монголов и остановили их нашествие на самом краю Европы; варвары не осмелились оставить у себя в тылу порабощенную Русь и возвратились на степи своего востока. Образующееся просвещение было спасено растерзанной и издыхающей Россией...

А. С. Пушкин

«Я дойду до последнего моря, и тогда вся вселенная окажется под моей рукой».

(Из летописей о Чингиз-хане)

ОТ АВТОРА

«К «последнему морю» является заключительной (третьей) частью исторической трилогии «Нашествие монголов».

Первая книга—«Чингиз-хан»—вышла в 1939 году; вторая—«Батый»—в 1941 году.

Оформление художника **К. НАЖИМОВА.**



Часть первая

«ЭТО БЫЛО В БАГДАДЕ...»

Глава первая

РЕЗЧИК ПЕЧАТЕЙ ДУДА ПРАВЕДНЫЙ

На площади, перед главной мечетью Багдада, на самом краю широкой каменной лестницы сидел за маленьким столиком Дуда Праведный и вырезывал надписи на шлифованных сердоликовых печатях. На них он писал имена заказчиков красивой вязью, арабскими буквами, с искусным росчерком. На перстнях с камнями он писал также таинственные заклинания, дающие силу и

здоровье владельцу или предохраняющие его от дурного глаза и губительных заклятий злых людей.

«Дуда Праведный»—так звали резчика печатей... Кто из посетителей величественной мечети не замечал согнувшегося мастера с длинной рыжей бородой и черными мохнатыми бровями, под которыми глаза казались сумрачными, затаившими сокровенную мысль.

Однажды к Дуде Праведному подошел человек благообразный, в дорогой шерстяной одежде «абе», уже выцветшей от времени, с приветливой улыбкой на спокойном лице. Он положил на столик полупрозрачный молочно-голубоватый камень, называемый «лунным», и попросил вырезать надпись: «Хасан Осторожный, брадобрей его святейшества халифа».

— Ты меня прости, что я вмешиваюсь не в свои дела,— сказал Дуда, не отрываясь от работы.— Но такая надпись может повлечь за собой нежелательные толки и даже опасные для тебя последствия. Надо написать иначе. Его святейшество халиф, как образец добродетели и совершенства, не должен и не станет брить бороды. Это вызовет волнение в народе. Ма́шалла, ма́шалла! Не дай бог!

— А какую надпись ты предложишь?— спросил удивленный и обеспокоенный Хасан.

— Твой предшественник, закончивший счеты с земной жизнью пять лет тому назад, как говорят, имел звание: «Абдулла Бербер, оберегающий бороду его святейшества халифа»... Такая надпись не вызывает никаких сомнений... «оберегающий бороду!»—и Дуда многозначительно поднял указательный палец.— Тогда и сам халиф,— да будет над ним покой и благополучие!— оценит твою осторожность.

— Так ты и сделай!— сказал Хасан резчику и хотел уже уходить, как вдруг заметил золотой перстень с надписью, которая чем-то привлекла его внимание.— А это что за печать?— спросил он и протянул руку к перстню.

Тут Дуда Праведный, с необычайной для него живостью, схватил золотой перстень и спрятал его в кожаную коробочку за пазухой, где хранились и другие драгоценности его заказчиков.

— Я еще не кончил работы над этим перстнем. И я не люблю показывать незавершенные вещи.

В это время к мечети подскакал молодой всадник на горячем, танцующем золотисто-рыжем жеребце. Не сходя с коня, он крикнул:

— Привет тебе, мой почтенный наставник, Дуда Праведный! Готов ли перстень?

Дуда, всегда спокойный и величавый, вдруг засуетился, раскрыл кожаную коробочку, достал золотой перстень и быстро спустился по ступенькам лестницы к молодому всаднику. И всадник и его конь были молоды, стройны и красивы.

Всаднику можно было дать около двадцати пяти лет. Одет он был скромно, как простой кочевник пустыни, бедуин, но видно было, что даже в лохмотьях он сохранил гордую осанку смелого вольного человека. Обаяние молодости и лицо, освещенное внутренней силой, делали его прекрасным и привлекательным.

— Кто это?— спросил брадобрей Хасан, когда всадник, взяв перстень, вскачь умчался через площадь и скрылся в облаке пыли.

Дуда отвечал раздраженным голосом:

— Не все ли тебе равно? Ты бреешь бороды, а он укрощает коней. Это самый лихой наездник на конских играх арабов, и не было еще жеребца, который не смирился под его уверенной рукой.

— Но зачем ему такой золотой перстень?

Дуда Праведный так рассвирепел, что стал шипеть и кричать, размахивая руками. Поднимавшиеся по ступенькам богомольцы останавливались в удивлении.

— Почему ты привязался к этому перстню? Какая у тебя до него забота? Если бы ты был джасусом — шпионом — правителя этого города, я бы стал тебе отвечать, а сейчас ты отвяжись-ка лучше от меня!..

Хасан-брадобрей попятился и быстро удалился. Он помчался прямо во дворец, чтобы рассказать векилю — смотрителю дворца — о виденном.

— Ведь это, кажется, перстень Ал-Мансура[1],— повторял он ему взволнованно.— Ты доложи об этом. Здесь скрыта какая-то тайна.

---

[1] Ал-Мансур.— В средневековых европейских сказаниях это имя начальника гвардии рабов в Кордовском халифате переиначено в Альмансор.

Глава вторая

РОВНО В ПОЛНОЧЬ

В Багдаде ночь наступает быстро, почти мгновенно. Множество огоньков засветилось в лавках торговцев, когда Дуда, широко шагая, спешил по узким улицам вслед за вереницей других прохожих.

В глухом переулке он постучал в небольшую дверь. Ее открыл на условленный стук одноглазый мрачный сторож, и Дуда прошел в узкий двор, заставленный двухколесными арбами. Осторожно пробрался он среди теснившихся верблюдов и попал, наконец, в свою каморку, в подвале двухярусного строения, где хранились товары купца Махмуда-урганджи[1].

Хозяин, богатый торговец хорезмскими шелками и вышивками, богомольный и странноприимный, несколько лет назад позволил жить в его доме резчику печатей, оставшись доволен вырезанным на золотом перстне заклинанием великого Сулеймана[2], принесшим ему удачу в торговле.

В полной темноте Дуда по привычке нашел низкий столик, положил возле него в нише принесенную с собою кожаную сумку с инструментами и снова вышел во двор. Он сел на деревянном обрубке около входа и долго покорно ждал, поднимая глаза к звездам, ярким и лучистым, сверкающим на потемневшем небе.

Сопевшие верблюды — одни лежали, другие стояли, и, казалось, оранжевые огни костра, разведенного посреди двора погонщиками, пылают между их ногами.

Наконец мелькнула заветная тень и приблизилась к Дуде. На него повеяло ароматом розового масла. Нежный голос прошептал:

— Наш почтенный хозяин посылает тебе привет и просит помолиться за него.

Принимая горячую лепешку и глиняную миску дымящейся похлебки, Дуда почувствовал маленькие руки с серебряными кольцами, и край покрывала коснулся его лица. Он покорно ждал, пока говорившая тень скрылась, обещав принести горячих углей, и жадно глядел ей вслед. Она вскоре вернулась, раздувая угли, и тогда

---

[1] Урганджи — то есть родом из г. Ургенча.

[2] Сулейман — библейский царь Соломон; позднее — герой многих мусульманских легенд.

алый отблеск осветил нежные черты девичьего лица, ее насурмленные брови и расшитую повязку на лбу. Певучий голос как будто насмешливо спросил:

— Почему у тебя так дрожат руки, когда ты от меня принимаешь похлебку? Я каждый раз боюсь, что ты ее прольешь.

И с легким смехом девушка скрылась во мраке.

Дуда, вернувшись в свою каморку, раздул угли и поджег хворост в очаге. При колеблющемся свете он стал писать на полях толстой священной книги корана. Раза два он доставал маленький узкий ножик и оттачивал камышинку для письма. Все время он бормотал странные слова и размахивал руками, точно спорил с кем-то:

— Полночь... Сегодня в полночь! Это выше моих сил! Больше сердце не выдержит. Пора кончить с этой скитальческой жизнью... Но все же у меня остаются надежды... Перехитрить меня не удастся никому. На шахматной доске жизни выручит только «ход коня»! Глупо идти прямой дорогой, если ее перегородила брошенная шайтаном скала. Завтра утром должна засверкать вспышка моего гения. Люди забегают и закрутятся в безумном хороводе под напев моей дудочки, такой скромной и слабой. Только бы хватило сил, только бы скорпион несчастья не ужалил меня прямо в сердце в то мгновенье, когда удача уже может подхватить меня и вскинуть на гребень волны.

Дуда задвинул засов входной двери. Отвернул войлок посредине комнаты. Под ним показалась небольшая дверца люка.

Стараясь не шуметь, Дуда опустился в черное отверстие. Ощупью, в полной темноте, прошел он несколько шагов и наткнулся на вторую лестницу, ведущую кверху. Осторожно он поднялся по ней и оказался в каморке с узким длинным столом посередине. Через маленькое окно лился слабый звездный свет.

Дуда стал на колени и опустил голову на руки. Тихо, про себя, читал он молитвы, сперва по-арабски, потом на каком-то другом языке.

Он поднимал голову, смотрел на овальное окно, потом снова принимался за молитвы. Глухие рыдания потрясали его, и он с трудом удерживал их, стараясь сохранять тишину.

Наконец в окне показался яркий, точно раскаленный добела, край равнодушной полной луны, свершающей по небу свой обычный путь.

Стоя на коленях, Дуда выпрямился и вцепился руками в край стола... Бледный печальный луч осветил стоящие на столе узкие носилки, сплетенные из прутьев.

На носилках лежало женское тело в темной шелковой одежде. Оно так исхудало и высохло, что едва намечалось среди складок платья. Две маленькие ручки скрестились на груди, и на них блеснули серебряные кольца.

Дуда откинулся назад и с трепетом ожидал...

Когда диск луны заполнил окно, на его ярком серебристом фоне четко вырисовался нежный профиль:

Дуда с безумной страстностью шептал:

— Я здесь, твой верный слуга... Я здесь, возле тебя, как всегда!.. Нежная, безгрешная Мариам! Слышишь ли ты меня? Протяни свою маленькую ручку и коснись моего лба! Укрепи мои силы!

Он жадно всматривался в профиль, все еще надеясь, что поднимутся ресницы и лицо вздрогнет снова, пробудившись к жизни.

— Судьба! Всюду рок! Ужасная судьба, с которой не может справиться даже моя неукротимая воля. Судьба ломает все, что я наметил, все, что я подготовил, разрушая все заклинания, но я все же не сдаюсь!..

Луна, медленно подвигаясь, уходила. Вот она исчезла, и нежный профиль потонул во мраке.

Дуда упал на колени, кусая пальцы, стараясь подавить глухие рыдания.

— Светлая, безгрешная Мариам умерла. Я вижу ее в последний раз. В последний раз. Завтра ее отнесут в обитель вечного покоя!..

Вдруг его привели в себя крики, раздавшиеся во дворе:

— Дуда, резчик печатей! Открой дверь, или мы ее выломаем!

Дуда колебался несколько мгновений; затем, быстро поднявшись, вернулся в свою комнату и закрыл люк старым войлоком.

В дверь настойчиво продолжали стучать. Он отодвинул засов.

Черный раб с пылающим факелом шагнул внутрь каморки, наполнив ее дымом. За ним на пороге стоял человек в полосатом плаще, которого Дуда знал как самого свирепого из палачей халифа.

— Ты — Дуда, резчик печатей, прозванный Праведным?

— Ты сказал истину, почтенный Мансур, меч правосудия и могучая защита трона его святейшества!

— Сейчас ты пойдешь со мной, и мы проверим, насколько ты праведный. Рабы, возьмите этого человека за руки и держите, чтоб он в темноте не убежал. Он колдун, может обратиться в летучую мышь и улететь.

— Я и так покорно повинуюсь, мой господин!— Дуда послушно подставил свои руки, и два черных раба быстро скрутили их жесткими веревками.

Глава третья
ВО ДВОРЦЕ ВЕЛИКОГО ХАЛИФА

Когда два негра, державших за руки Дуду, поднялись с ним из подвала во двор, Дуда вдруг так пронзительно закричал, что спавшие на крыше люди стали просыпаться и отовсюду доносилась брань:

— За что вы мучаете праведного старика? Оставьте его! Злодеи!

Мансур торопил негров:

— Скорей, скорей вперед!

Дуда упирался:

— Зачем эти бесхвостые обезьяны выворачивают мне руки? Ведь руки меня кормят! Я пойду и так...

Он с непонятной силой повернулся к одному из негров:

— Смотри мне в глаза, копченый свиной окорок! Сейчас ты сам захочешь улечься на земле, здесь, прямо на верблюжьем помете! Ложись! Засыпай скорее, как сурок!

Огромный негр в пестром балахоне с медным кольцом в носу вдруг зашатался, осел и лег на бок.

Дуда повернулся ко второму негру и, впиваясь в него горящими глазами, продолжал:

— И ты тоже, перезрелая тыква, уже захотел спать! Ложись рядом с твоим приятелем-лентяем и начинай храпеть, как этот черный буйвол!

Второй негр, шатаясь, подошел к лежащему, свалился возле него, и оба громко захрапели.

Мансур, разъяренный, бросался к спавшим неграм, толкал их ногами и неистово ругался. Потом он вытер концом матерчатого пояса пот со лба и повернулся к Дуде, спокойно стоящему с протянутыми к небу руками.

— Жемчужная луна!— говорил Дуда.— Ты равно светишь великим и малым, умным и глупцам. Проясни головы непонимающим, чтобы они не тащили Дуду Праведного, как тушу зарезанного барана!

Он поклонился Мансуру и сказал:

— Ты ведешь меня к счастливейшему обладателю правильного мнения. Зачем же ломать нужные его святейшеству руки, такие тонкие, искусные? Я пойду сам. А чтобы эти два грубых верблюда не провалялись здесь сутки, я им прикажу, что надо делать. Эй вы, шакалья падаль! Бегите скорее домой и спите там до завтрашнего утра!

Оба негра вскочили и, подтягивая руками просторные шаровары, со всех ног бросились в ворота.

— Иди вперед, подаватель благого совета, достойный Мансур!— сказал Дуда посланнику халифа.— Я следую за тобой.

Черный слуга с факелом пошел впереди, за ним Мансур, постоянно оглядываясь и грозно стуча посохом. Последним шагал Дуда Праведный, легко выбрасывая длинные сухие ноги.

Они прошли узкими извилистыми улицами спящего Багдада, днем всегда оживленного, полного шумной толпой. Теперь только стаи собак грызлись на перекрестках из-за брошенных костей и ночные сторожа, вертя трещотками, загораживали путь, издали крича:

— Кто идет? Говори или зарублю!

Услышав, что идет великий палач халифа, кровавый Мансур, сторожа отходили в сторону и склонялись до земли, бормоча приветствия.

Дорога привела к берегу великой реки Диджлэ (как тогда назывался Тигр). Они вошли в поджидавшую их халифскую лодку, переправились на другой берег, где их встретил векиль и несколько вооруженных воинов.

— Царь времени гневается,— сказал векиль,— и не спит. Он приказал немедленно представить перед его блистающим взором опасного злодея.

— Великий Ал-Мансур!— воскликнул Дуда, подняв руку и обращаясь к луне.— Ты все слышал и за все отомстишь в свое время!

Мансур подошел к векилю, отвел его в сторону и, волнуясь, шепотом объяснил ему, что этот высокий рыжебородый старик, вероятно, могущественный волшебник; его не надо раздражать, а бережно доставить во дворец, чтобы он не обратил всех в летучих мышей. Негров он усыпил, и они мгновенно свалились, как пьяные, а потом, по его приказанию, вскочили и убежали, словно облитые кипятком.

— Понял, понял!.. Пожалуйста, почтенный Дуда Праведный, следуй за мной. Его святейшество — да будет над ним мир!— тебя ждет. Надо торопиться.

Дворец и сад халифа занимали огромное пространство, чуть ли не половину города. Из-за высокой стены видны были раскидистые пышные финиковые пальмы, стройные кедры и между ними плоские крыши бесчисленных зданий, в которых, под неусыпным присмотром тысячи евнухов, хранились «жемчужины» халифа Мустансира — его семьсот жен. Дальше высились тонкие стрельчатые минареты дворца. Местами на стене виднелись неподвижные часовые с копьями.

У ворот, с двумя башенками по сторонам, стояла стража и, волнуясь, ожидала возвращения начальника палачей, всегда бешеного и раздражительного.

Стража расступилась, и Дуда Праведный зашагал через роскошный сад халифа важно и торжественно, не глядя по сторонам.

Векиль и Мансур быстро прошли вперед, поднялись по ступенькам дворца, где уже ждал великий визирь с двумя слугами, державшими бронзовые резные фонари.

— Кто ты?— спросил великий визирь, положив руку на седую бороду.

— Сын Адама, резчик печатей, прозванный Дуда Праведный.

— Ты сейчас предстанешь перед светлыми очами халифа Мустансира,— да будет над ним милость неба! Запомни, что ты не смеешь ему задавать вопросы, а должен только отвечать.

— Я буду говорить все, что пожелает узнать его святейшество!— пробормотал Дуда.

Все поднялись по витой лестнице на крышу дворца,

устланную мягкими коврами. Над ней бескрайним куполом простиралось сапфировое небо, усыпанное алмазными переливающимися звездами.

В одном углу крыши лежали груды подушек из знаменитого багдадского красного сафьяна. Среди них сидел человек средних лет с крашеной черной бородой, в большом белом тюрбане. Красная шелковая одежда была расшита на плечах золотыми цветами. Расположившиеся полукругом несколько приближенных сидели на пятках, положив руки на колени.

Дуда долго стоял в ожидании и, полуотвернувшись, смотрел вдаль.

Главная торговая часть города, за рекой, уже затянулась легким туманом. Кое-где еще мигали огоньки. Река Диджлэ слегка рябила золотыми лунными блестками. В ярком свете можно было ясно различить, как далеко уходила река в сторону Персидского залива.

«Наконец я во дворце могучего халифа,— думал Дуда, задыхаясь от волнения, но наружно спокойно-величавый.— Девять лет я ждал этого счастливого мгновения. Не упускай счастья, которое встает перед тобой сегодня в этом сказочном дворце всесильных владык!.. А что будет с тобой дальше? Будет то, чего ты сам сумеешь добиться...»

— Выслушай меня, почтенный человек,— сказал вполголоса приблизившийся векиль.— Ты подойдешь сейчас к его святейшеству, опустишься перед ним на колени и будешь молча ждать.

Дуда скинул сандалии на краю ковра, подошел к халифу, опустился на колени, склонился и поцеловал ковер между руками.

— Здравствуй, рыжая борода!— сказал халиф.— Я слышал, что ты знаешь тайное!

— Ты, как всегда, сказал истину, непогрешимый,— да возвеличится еще более твое могущество и слава! Но я должен все важное, что знаю, рассказать только тебе, без посторонних слушателей. Этого требует завещание Ал-Мансура.

— Мои преданные друзья,— обратился халиф к сидевшим.— Вы можете пойти отдыхать в залах дворца, а я останусь только с моим великим визирем.

Все поднялись и, прижав руки к груди, тихо вышли мелкими почтительными шажками.

Дуда молча смотрел на халифа и думал:

«Вот передо мной самый могущественный среди мусульман, преемник пророка. Этот араб, такой с виду обыкновенный, сохраняет в себе высшую духовную силу ислама. К нему обращены мысли и моления всех почитателей веры Мухаммеда восьми концов света. Он может меня возвеличить и поднять на вершину удачи и счастья или низвергнуть в бездну горя».

Халиф вынул из резной серебряной коробочки золотое кольцо и спросил:

— Ты резал это кольцо?

— Я должен его посмотреть.

— Возьми!

Дуда на коленях приблизился к халифу, взял кольцо и почувствовал, как дотронулся до выхоленной руки халифа. Ему показалось, что духовная сила ислама через это прикосновение проникла в него и обожгла его.

Осмотрев кольцо, Дуда сказал:

— Пять лет назад я резал это кольцо.

— Знаешь ли ты, что за надпись на нем тебе следует отрубить безумную твою голову?

— Ты можешь это сделать, хранитель закона, но тогда тайное я унесу с собой, а ты ничего не узнаешь, и оно повиснет над тобою, как отточенный меч судьбы.

Халиф вздрогнул...

— Говори все, что знаешь, а я обещаю тебя охранять, и ни один волосок не упадет с твоей головы...

Глава четвертая
«ХОД КОНЯ»

Дуда отодвинулся, сел на пятки в позе молящегося и резко повернулся назад. На площадке за ним уже никого из охраны не было. Он заговорил сперва спокойно, затем все более горячо:

— Ты хорошо знаешь, великий, что со времени кончины мудрого халифа Харун ар-Рашида могущество и слава великого арабского племени стали колебаться и поражение следовало за поражением.

— Как же этого не знать! Как нам не горевать об этом!

— Великая держава, созданная светлым непобедимым мечом арабов и раздвинувшая свои границы от пло-

доносных земель Мавритании до диких пустынных гор китайского Кашгара, стала потрясаться от внутренних беспорядков и вторжений враждебных орд диких монголов.

— И это мне известно!

— Должны ли мы, правоверные, примириться с этим и ждать печального конца, к которому нас приведет ослабление могущества арабов, или нам нужно собрать все силы, чтобы снова всюду победоносно реяло великое зеленое знамя пророка?..

— Эта мысль давно тревожит мне сердце.

— Тебя беспокоит кольцо, найденное на руке убитого воина, последнего потомка великого полководца Абд ар-Рахмана. А может быть, у него остался сын? Сын достойный и прекрасный, полный ясного ума?.. Арабы всегда страдали оттого, что их шейхи враждовали друг с другом.

— Да, это наше давнишнее постоянное горе! — вздохнул халиф.

— Великие люди для создания великих дел должны окружать себя достойными же помощниками. Если же существует последний потомок Абд ар-Рахмана, великого полководца, разгромившего франков и грозившего завоевать все «вечерние страны»... если жив такой юноша, изучивший круг высших знаний в медресе, тобою основанном, блистающий красотой и мужеством, как месяц на небе, укрощающий диких коней, владеющий светлым мечом, как молнией,— хотел бы ты, могучий халиф, чтобы такой юноша был тебе близок, как сын, предан, чист и верен, как слово аллаха?.. Чтобы он повел твои войска к новым победам, чтобы опять ярко засверкала, как в былые времена, слава арабской доблести?..

Халиф взглянул удивленно на великого визиря. Тот тихо и почтительно ответил:

— Такого светлого воина, разумеется, лучше иметь преданным другом и защитником, чем тайным коварным врагом. Всякий, кто сумеет помочь славе арабского имени, должен найти поддержку и благословение святейшего багдадского халифа.

— Но где же этот воин, покажи мне его, если он живой человек, а не выдуманный, созданный праздной сказкой болтуна на базаре.

— Я могу тебе его показать. Но я боюсь, не пришлось бы мне потом расплачиваться, лить слезы сожале-

ния и рвать на себе волосы от скорби, что я погубил его.

Халиф сказал:

— Я обещаю тебе, что если он такой, каким ты его описываешь, что если он не сделал и не сделает никаких преступлений, то он будет под моей постоянной защитой. Что ты думаешь об этом, мой верный мудрый великий визирь?

— Я хочу дать совет, да не покажется он тебе дерзким и безумным...

— Говори!— приказал халиф.

— Ты ведь слышал, конечно, о новом страшном великом завоевателе Темучине Чингиз-хане, пришедшем с востока, с ордами диких монголов или татар, и оставившем в Хорезме своего внука?..

— Конечно! Ты говоришь о грозном Бату-хане? Почему ты о нем спрашиваешь?

— Я предлагаю тебе этого смелого юношу,— если он действительно такой, как его описал Дуда Праведный,— послать к грозному хану татарскому как твоего посла с приветственным письмом и с подарками. Прикажи этому юноше сопровождать Бату-хана и дальше во всех его походах и убеждать его отвернуться от захвата земель халифа, а идти на «вечерние страны» для их разгрома и завоевания... Мы пока еще не знаем, какие мысли у могучего Бату-хана. Может быть, татары захотят двинуться и на нашу счастливую страну?.. Тогда твой посол, следя за всеми приготовлениями татар, заблаговременно тебя предупредит, чтобы наши доблестные войска были наготове.

Помолчав, халиф сказал:

— Ты, как всегда, даешь полезные советы, мой верный слуга. Разумеется, сперва надо испытать молодого потомка Ал-Мансура. Поэтому, Дуда Праведный, приведи его сюда, прямо ко мне, а я решу, послать ли мне юношу к хану татарскому, или же я ему дам другое поручение.

— Я с радостью исполню твое приказание,— сказал Дуда,— и приведу к тебе в самом скором времени молодого Абд ар-Рахмана.

— А теперь, Дуда Праведный, расскажи мне, как ты нашел этого юношу, и все, что ты о нем знаешь.

Глава пятая

ТАЙНА ВОЛЬНОГО ОХОТНИКА

Дуда Праведный соединил концы пальцев и начал свой рассказ:

— Ты, конечно, слыхал и помнишь о великой битве народов пятьсот лет назад, когда славные непобедимые арабские войска, покорив Испанию и перейдя через Пиренейские горы, разлились, как бушующее море, по цветущей равнине франков?.. Ты, конечно, помнишь, всезнающий и прозорливый, что эта битва была сперва победоносна для наших львов, но франки тоже сражались, как разъяренные бешеные волки, и знамя победы все время клонилось то в одну, то в другую сторону... Предводительствовал войсками франков закованный в железные доспехи смелый полководец по имени Карл Мартел, что означает «молот»... Казалось, милостивый глаз всевышнего засветился радостью, что его правоверные всюду побеждают... Но случилось непоправимое: в разгаре битвы пал вместе с конем наш славный вождь Абд ар-Рахман, и рядом с ним пал его верный знаменосец. Зеленое знамя пророка, реявшее над бесстрашными шахидами, в пылу битвы было затоптано конницей.

— О, какое несчастье!..— вздохнул халиф.

— Не видя больше своего знамени, наши всадники заметались и часть, остановив свой натиск, стала выжидать нового дня. А франки, понесшие большие потери, были утомлены жестоким сражением и ночью ушли к востоку, думая, что они проиграли битву... Напрасно наши верные витязи разъезжали по равнине и тщетно разыскивали тело Абд ар-Рахмана; они так и не нашли ни его, ни его оружия, ни его коня... Вероятно, Азраил, ангел смерти, живыми унес их к престолу аллаха... Если бы тогда нашелся смелый вождь и, собрав наши войска, снова повел их вперед на отступавших франков, то мы бы легко одержали полную победу и овладели всей франкской землей. Но вожди, собравшись на ночной совет, долго рассуждали и решили так:

«Мы всегда успеем собрать наши войска, привести в порядок расстроенные ряды и снова вернуться в землю франков, чтобы окончательно разгромить и покорить нечестивых». И — увы!— наши войска двинулись обратно.

— Это было неразумное, недостойное нашего народа решение!

— Прошли годы, целых пять столетий,— продолжал Дуда,— арабские шейхи враждовали между собой, и среди них не было нового Абд ар-Рахмана, чтобы всех объединить под своей могучей рукой, под великим зеленым знаменем и снова сокрушительными волнами бушующего моря обрушиться на цветущие равнины неверных...

— Неужели не сохранилось никаких известий о славном Абд ар-Рахмане?— спросил халиф задумчиво.

Дуда развел руками:

— Я много расспрашивал всех, кого мог: старых имамов, мудрейших ученых в медресе, бродячих певцов и знающих древние сказания дервишей... Все говорили разное, но никто ничего точно не сказал. Ведь когда сидишь на ступеньках мечети, воздвигнутой благодаря твоим заботам,— да будет твое имя во веки прославлено!— то мимо проходит много разных людей со всех восьми сторон света, и не раз услышишь дивное...

— Вот теперь ты мне и расскажи дивное.

— Однажды ко мне пришел путник с сумрачным лицом, глаза у него горели затаенной мыслью. Меня поразило, что он заказал мне вырезать на золотом перстне надпись...— Дуда замолк.

— Какую надпись? Говори скорее!— воскликнул халиф глухим, дрожащим от скрытого гнева голосом.

— Он приказал написать: «Абд ар-Рахман-Франкобоец — надежда верующих»...

— И ты сделал такую надпись?

— Что мне заказывают, то я и делаю.

— Какой он был с виду? Встречал ли ты его потом? Здесь ли он, в Багдаде, или уехал в иные страны?

— Я его видел несколько раз. Жизнь моя длинная,— чего только не увидишь! В последний раз я увидел, как этот человек, уже сильно поседевший входил в мечеть. С ним рядом шел жизнерадостный юноша, держа в руках священные книги. Я запомнил этого юношу. Он стал усердно посещать медресе. Раз как-то я его окликнул. Он подошел и сел рядом. Я угостил его свежими финиками. Мы разговорились и стали друзьями. Он даже заходил ко мне на дом и у меня ночевал. Мне понравился этот веселый, ласковый со всеми юноша, его почтение к старшим, его живой ум, любовь к старинным песням. Больше всего он увлекался не духовными книгами, а

древними сказаниями и повестями о великих завоеваниях арабов.

— Где этот юноша? Я посажу около того места, где ты работаешь, особого опытного человека, который его выследит.

— Позволь дать тебе мой скромный совет. Я знаю, где он живет теперь. Окончив с похвалой и почетом медресе, он поставил свою старую палатку в кочевом племени бен-абаядов. Там он живет вместе с прабабушкой, которая ему готовит пищу и поет старинные песни. Он самый смелый из всех юношей этого кочевья. Он завернул в ковер и спрятал книги, а зарабатывает себе на пропитание укрощением и обучением своенравных лошадей и охотой на диких зверей. Иногда, приезжая в Багдад, заходит он ко мне и привозит то сыр, то финики и виноград. У меня же он ночует и слушает мои рассказы про старину. Если он узнает, что ты желаешь его видеть, то будет счастлив стереть своим лбом пыль перед твоим блистательным троном.

Халиф подумал и сказал:

— Если он действительно ученый, как ты говоришь, и душа его стремится к доблести, то я сделаю его...— тут халиф запнулся и добавил:— то я, может быть, его возвеличу.

Несколько дней спустя Дуда Праведный явился во дворец к халифу с юношей, о котором рассказывал. Халиф принял обоих в зале, где среди цветов взлетали тонкие серебряные струйки нескольких фонтанов, распространяя прохладу.

Юноша был строен и красив. Держался скромно, но с достоинством.

На нем была обычная полосатая одежда кочевников, за поясом старинный кинжал дамасской работы.

Халиф усадил юношу перед собой на ковре, смотрел на него милостивым взглядом, но иногда в его прищуренных глазах Дуда замечал зловещие, недобрые огоньки. Халиф расспрашивал юношу о конях и о прабабушке — какого она рода, и об охоте на львов.

Абд ар-Рахман обо всем говорил просто и очень искренне:

— Я верю, что будет война и что мне удастся обнажить свой меч для защиты знамени пророка. Я бы хотел

уехать в дальние страны, особенно на заход солнца, в Испанию, чтобы узнать, сохранились ли там смелые потомки наших великих завоевателей.

— Теперь нужно ехать совсем не в Испанию, а на восток и север. Там назревают великие события и готовятся невиданные еще войны,— заметил Дуда.

— Почему ты так думаешь?— спросил халиф и приказал подать душистого ширазского вина. Угощая Дуду и юношу, он внимательно выслушивал их ответы.

Дуда, почтительно поглаживая бороду, сказал:

— Люди, одетые путниками из далекой страны, говорили, что в низовьях великой реки Итиль[1] расположилась боевая ставка неведомого могучего племени неверных татар, иначе называемых мунгалами.

— Это очень важно. Мне нужно туда отправить своего посла и верных лазутчиков.

— Если ты пошлешь Абд ар-Рахмана к татарскому хану, а я буду его сопровождать в качестве писца и лекаря, то уверен, что он сумеет вскоре заслужить там благосклонность грозного татарского владыки, а я, кроме того, сделаюсь у хана придворным лекарем. Тогда бы мы присылали твоему святейшеству через надежных людей донесения обо всем, что замышляет повелитель диких северных орд, насколько он могуч, как возможно одолеть его.

— Я подумаю над этим, а пока ты пройдешь в мой страннопримимный дом для почетных путников Там будут кормить и беречь Абд ар-Рахмана как дорогого гостя. Ему предоставят все, что он пожелает. И ты будешь вместе с ним. А великий визирь снабдит вас всем необходимым для дороги.

Дуда низко склонился перед халифом:

— Да сохранит тебя всевышний и даст тебе славу, достойную тебя и твоих великих предков!

Когда Дуда с Абд ар-Рахманом удалились, великий визирь сказал:

— Над этим юношей на небосклоне удачи поднимается его светлая звезда. Очень хорошо, что ты отсылаешь его к хану мунгалов, но еще лучше будет, если могучий Бату-хан увезет и его с собой на край света, а оттуда они оба уже не вернутся, отправившись к своим предкам.

Халиф покачал головой и заметил:

— Один аллах всеведущий знает, что для нас будет наилучшим.

---

[1] Итиль — Волга.



Часть вторая

В НИЗОВЬЯХ ИТИЛЯ

Глава первая
«ЛЮБИМЕЦ ВЕТРОВ»

Двухмачтовый крутобокий корабль «Любимец ветров», с черными просмоленными бортами, слегка покачиваясь, шел к северу по суровому Абескунскому морю[1]. Ветер надувал паруса, сшитые из серых и красных квадратов, напоминавших шахматную доску. Истощенные, полуголодные гребцы с цепями на ногах непод-

[1] Абескунское море — Каспийское.

вижно лежали на скамьях возле длинных обсохших весел.

Коренастый рулевой, надвинув синюю чалму на переносицу, налегал на рукоять руля и, щурясь, пристально всматривался далеко вперед, мимо высоко поднятого корабельного носа, вырезанного в виде головы хищной птицы.

На грани поверхности моря и туманной дали с нависшими серыми тучами протянулась тонкая полоса камышей. Там многочисленными руслами вливалась в Абескунское море великая река Итиль.

На деревянной изогнутой шее птицы на носу корабля сидел верхом негритенок, прислушиваясь к окрикам рулевого:

— Саид, черная лягушка, ты видишь, наконец, устье? Нашел пролив между камышами?

— Я вижу много, много проливов!— кричал Саид.

— Ищи холм на берегу! На нем стоит каменный бог. Почему ты его не видишь, змееныш? Протри глаза.

— Нет каменного бога... Не вижу никакого каменного бога...

— Полезай на мачту, на самую верхушку! Да живей!

У борта на пальмовом ящике с пряным ароматом далекой страны сидел молодой араб в красной полосатой одежде, перетянутой цветным матерчатым поясом. Широкие синие шаровары были всунуты в грубые башмаки из желтой кожи. Ветер трепал его черные кудри и конец белоснежной чалмы, свисавший над левым ухом, как знак учености.

Огромные стаи болотных птиц проносились над густыми камышами.

— Где устье Итиля?— крикнул араб.

— Великий Итиль имеет семьдесят устьев,— отвечал рулевой.— Надо найти главное из них. Пройдя в неверное устье, корабль затеряется между островами в камышах и завязнет на отмелях... Ищи, Саид, каменного бога!

Негритенок с верхушки мачты завизжал:

— Я вижу груду камней! Там лежит на боку какой-то каменный бог!

— Старые боги умерли! Старые боги попрятались в болотах!— усмехнулся араб.— В одряхлевшей вселенной царствуют новые боги, прилетевшие вместе с грозным татарским ханом. Это они приносят удачу мунгалам.

— Весла!— зычно крикнул рулевой.— Эй, надсмотрщик, очнись! Скорей налегай на весла! Приглядись к воде, шейх Абд ар-Рахман!— продолжал рулевой, обращаясь к арабу.— Мы уже идем не по соленому морю, а по сладкой воде великого Итиля. Видишь, как плывут косяки серебристых рыб. Над ними вьются чайки... Скорей гребите! Итиль близко!

— По веслам!— очнулся обожженный солнцем угрюмый надсмотрщик в красной истрепанной чалме, дремавший на связке канатов. Он стал ловко щелкать плетью с очень длинным ремнем, стегая по голым спинам устало поднимавшихся гребцов, и застучал по доске деревянным молотком.

— Дармоеды! Отоспались при попутном ветре... Теперь живее принимайтесь за работу. Не дам обеда лентяям!

— Все равно дашь!— отозвалось несколько голосов.— Без нас не доедешь!

Весла пенили мутную зеленоватую воду, равномерно поднимаясь и опускаясь под все ускорявшийся стук молотка надсмотрщика. Гребцы напрягались изо всех сил, то наклоняясь вперед, то откидываясь назад, почти падая на спину.

Клетчатые серо-красные паруса обвисли и слегка полоскались под слабыми порывами ветра.

— Хаджи-Тархан...[1] Вон там я вижу Хаджи-Тархан!— кричал с мачты негритенок.

— Ойе, Ислам-ага, проснись!— крикнул рулевой в сторону каюты корабельщика.— Хаджи-Тархан близко!

Из каморки с узкой дверью послышалось рычанье, ругань и пронзительный женский визг.

— Иди прямо, Максум! Отвернись от Хаджи-Тархана!— донесся оттуда же хриплый голос.— Никого не пускай на палубу! Отгоняй лодочников! Иди вверх по Итилю.

Максум налег всем телом на длинный руль, слегка заворачивая корабль в сторону.

Небольшое селение медленно проплывало мимо,— когда-то богатая хазарская столица. У берега виднелись

---

[1] Хаджи-Тархан — название г. Астрахани. Здесь раньше находилась богатая столица Хазарского царства, разгромленная князем Святославом Киевским.

лачуги, прикрытые побуревшим камышом, поставленные над водой на бревенчатые сваи. Люди выбегали на помосты, выступавшие далеко в реку, кричали, размахивая цветными лоскутами. Многие садились в узкие длинные челны и торопливо гребли, направляясь к кораблю.

Матросы стояли с баграми у бортов, грозя столкнуть в воду всякого, кто вздумает взобраться на палубу.

Благообразный длиннобородый человек, по виду купец, подплыл в большой лодке с несколькими гребцами.

— Ойе, Ислам-ага! Позовите Ислам-агу!— кричал он.— Жив ли, здоров ли Ислам-ага? Я его давнишний друг и странноприимец. Уже много раз я плавал на «Любимце ветров». Скажите хозяину, что я— Абдул-Фатх из Багдада.

Молодой арабский посол подошел к резной двери и сильно постучал:

— Ислам-ага! Пусти на корабль этого человека! Я о нем слышал и должен говорить с ним.

Резная дверца распахнулась. Из нее вывалился широкоплечий толстый владелец корабля Ислам-ага, в темно-синей рубахе до колен, без пояса. Его распухшее измятое лицо с жесткой темной бородой и заплывшие глаза говорили о пьяной ночи. Корабельщик почесал веснушчатой пятерней живот, вдел босые ноги в ярко-желтые туфли с загнутыми кверху носками и подошел к борту.

Молодой араб внимательно следил за раскрытой дверью. Из темноты выступила маленькая женщина с матово-бледным лицом. Дымчато-серая одежда строгого монашеского вида, обшитая красной тесьмой, имела византийский покрой. С тонкой чуть-чуть приоткрытой шеи спускались жемчужные нити. Спокойные темные глаза, подняв стрельчатые ресницы, на мгновенье остановились, точно с удивлением и вопросом, на молодом арабе. Красивая голова резко повернулась к морю, и маленькие уста прошептали:

— Чужая дикая страна! Камыши и болота! А дальше, бедная Дафни, тебе предстоит опять новая неволя!..

Тонкая белая рука с резным серебряным браслетом прикрыла глаза, и маленькая женщина скрылась в темной каюте.

Глава вторая

ДИКОВИННЫЕ ДЕЛА

Небольшой кочевой род старого Нурали Човдур вынырнул из голубой степи в лучах утреннего солнца. Впереди широко разлилась великая многоводная река Игиль. Бараны, рассыпавшись по береговой тропе, вяло плелись, подгоняемые полуголыми смуглыми ребятишками. Верблюды, привязанные друг к другу за хвосты и ноздри, растянулись длинным караваном. Между их горбами, на вьюках хозяйского добра и разобранных юрт, сидели темноликие изможденные старухи с грудными детьми на руках.

Женщины в малиновых полинялых лохмотьях, раскачиваясь, свободной горделивой походкой шли по одну сторону каравана. Мужчины шагали отдельно, говорили приглушенным голосом и в волнении размахивали руками. Некоторые, согнувшись, поднимались на песчаные бугры и быстро сбегали обратно. Все были охвачены ужасом.

Знакомые места... Здесь, из года в год, весною останавливалось на тучных пастбищах родовое кочевье старого Нурали Човдура. Раньше тут постоянно проносились стада желтых сайгаков, иногда пасся табун пугливых, диких лошадей.

Весной же этого страшного года на пустынном месте, на отлогом холме, как яркий степной весенний цветок, внезапно вырос необычайный дом, блистающий золотом, с высокой узкой башенкой, разукрашенной цветными изразцами. Да еще на всех тропах и вдали и на ближних буграх стали проноситься диковинные всадники на низкорослых и взлохмаченных, точно медведи, быстрых конях.

Все потомство Нурали Човдура — и его уже длиннобородые сыновья, и его крепконогие медногрудые внуки, и малые, непоседливые правнуки, а всех насчитывалось девяносто девять мужских имен,—да хранит их милость всемогущего и всезнающего!—все из дружно спаянного рода Човдура в это светлое утро смотрели друг на друга расширенными глазами. Старшие восклицали:

— Что это такое? Шутки джиннов?.. Только в садах аллаха бывают такие золотые дворцы! Или здесь, в пу-

стыне, выстроил для себя сказочный дворец могучий Ифрит...[1] Кто может жить в таком доме?

И все ждали, что скажет и что решит старейший глава рода, мудрый прадед, и нетерпеливо посматривали на него. А Нурали Човдур, в большой белой чалме, в выгоревшем на солнце шерстяном плаще, положив поперек седла посох со стертым от времени серебряным набалдашником, безмолвно ехал на старом сивом с красными крапинками жеребце и все еще, точно себе не доверяя, всматривался слезящимися глазами в сторону невиданного за его долгий век сказочного золотого дворца.

Наконец Човдур натянул поводья. Крики остановили весь караван. Сыновья и внуки подбежали и обступили непогрешимого вождя племени. Ветер играл его белой бородой, а хриплый голос тихо шептал полные горя слова:

— Настали новые тяжелые времена!.. Все, что видим кругом, нам не на радость! Если же такова воля всевидящего и всезнающего, то мы должны со всем усердием выйти из солончака тягостных бедствий на верную тропу спасения.. Здесь же нас поджидает гибель... На наших древних пастбищах уже пасутся чужие табуны!.. Наши гордые женщины будут опозорены, стада угнаны, любимые дети, вся наша надежда, будут увезены и проданы в чужие страны!.. Скорее гоните скот в дальние степи к Большому камню[2]... Прочь от этого страшного места, от жестоких, безжалостных мунгалов! Гроза разгневанного аллаха пригнала этих диких воинов издалека, от восхода солнца, на наши исконные дедовские земли. Скорее прочь отсюда!.. А будет ли там лучше?.. Тучи сгущаются на нашем пути. О, какие времена!—И Нурали Човдур со стоном поднял к небу руку с посохом, бормотал молитвы, колотил пятками кавушей[3] бока сивого старого жеребца и со слезами просил далекого аллаха пощадить и сохранить его сыновей, внуков и правнуков.

---

[1] Ифрит — могущественный злой демон мусульманской мифологии.

[2] Большой камень — Южный Урал.

[3] Кавуши — грубые мужские кожаные туфли.

Глава третья

МОНГОЛЬСКИЙ КАРАУЛ

Курчавый негритенок Саид, висевший на перекладине передней мачты, с визгом соскользнул вниз и опрометью пронесся по палубе.

— Ислам-ага! Перед нами прикатившийся на колесах город и золотой дом!

— Ты, видно, расшиб о камень свою пустую голову! Ты во сне увидел город! Где он? Где он?

— Мальчишка прав!—вмешался молодой матрос, стоявший у руля.—Перед нами новый татарский город, подвижной страшный город, катящийся на колесах по степи.

— Я его не вижу!—Корабельщик протер глаза широким рукавом синей рубахи.—Все вы бредите, как пьяные, попав в этот болотный туман.

— Посмотри туда, ага!—твердил негритенок и подпрыгивал на месте.—Видишь там, где холмы, стоит светящийся дом.

— Вижу. Это горят костры.

— Это совсем не костры! Это дом, сделанный из чистого золота. Он переливается в лучах солнца, как огонь.

— Да что ты врешь, лягушонок! Как может здесь, среди дикой степи, вырасти дом из золота?

— Это западня разбойников пустыни,—возражал матрос.— Они подстерегают паломников, едущих в святую Мекку. Здесь они их ограбят, а тела выбросят в реку.

Полуголые, прикованные к скамьям рабы, забыв о веслах, цеплялись за борт, жадно всматриваясь вдаль, где золотистая постройка продолжала светиться огнями.

— Дом из чистого золота!—хриплыми, грубыми голосами кричали гребцы и рвались с цепей.—Если отломать кусок, то каждый из нас купит себе свободу. Пойдем ломать этот золотой дом, подаренный нам аллахом!

— Это город! Я сказал правду! Это город!—продолжал радоваться и прыгать негритенок!—Ислам-ага! Ты обещал серебряный дирхем тому, кто первый увидит стены татарского города! Я его увидел, давай мне скорей дирхем!

— По местам, за весла!—заревел корабельщик.

Надсмотрщик хлестал длинной плетью по голым спи-

нам гребцов. Рыча и вопя от боли, они быстро уселись по скамьям и вцепились в весла.

— Может быть, это мазар[1],—сердился корабельщик.—Это всего только одна постройка, возведенная каким-нибудь степным ханом над могилой своего предка... Это мазар, могила! Но это еще не город! Где же мечети? Где медресе? Где, наконец, бани и лавки купцов? Где дома жителей? Какой же это город? Не видать тебе, поросенок, серебряного дирхема!

— Да, это татарский город на колесах!— уверенно сказал рулевой.— Здесь новая столица страшного, непобедимого племени, пришедшего с востока на ужас всем народам. Они живут в шатрах на колесах, и их город то кочует здесь, то уходит в степь, где ищет лучших пастбищ для скота. А в этом золотом доме живет их главный каган, у которого голова величиной с большой котел. Одним взглядом раскосых глаз он останавливает и опрокидывает каждого, кто осмелится подойти к нему близко...

— Налегайте сильнее на весла! Вперед!— сердился корабельщик.—Надсмотрщик, бей их, ленивых скотов!

Гребцы, с блестящими потными плечами, старались изо всех сил. Двухмачтовый красавец корабль с крутыми бортами медленно подвигался вперед, против сильного течения многоводной реки. Матросы по обе стороны корабля длинными тонкими шестами измеряли глубину.

— Мель! Корабль царапает дно!..

— Бросай якоря!— крикнул корабельщик.

Два якоря плеснули по воде, канаты натянулись, и вода закипела у бортов. Течение реки проносило холодные валы и на них вертевшиеся соломинки и зеленые ветки.

Берег, заросший высоким камышом, был недалеко.

На равнине показались всадники в долгополых шубах и остроконечных меховых колпаках. Они повернули к реке, въехали в воду и остановились на отмели, потрясая короткими копьями, выкрикивая непонятные слова. Глубокие промоины мешали им приблизиться к кораблю. Темные безбородые лица, и молодые и старые, обожжены ветром и зноем. Коротконогие кони с толстыми шеями и длинными гривами храпели и фыркали, обнюхивая быстро проносившуюся воду.

---

[1] Мазар — мавзолей над могилой святого.

Из толпы всадников выделился старик в желтом полосатом халате. Голову покрывал парчовый колпак с широкой лисьей опушкой. Старик въехал в воду и кричал то по-персидски, то по-арабски, то по-кыпчакски[1]:

— Кто вы? Откуда прибыли? Чей это парусник? Что пригнало вас сюда? Что везете? Отвечайте! Я терджуман — переводчик — великого завоевателя вселенной.

Рулевой, повидавший разные страны, отвечал по-кыпчакски:

— Это корабль почтенного купца Ислам-аги из «Железных ворот»[2]. Он везет чрезвычайного, важного посла его святейшества халифа багдадского. А вы кто такие?.. Далеко ли отсюда подножие трона великого покорителя вселенной? Владелец корабля хочет поцеловать перед ним пыль ковра и поднести ценные дары.

Старый переводчик, погрузившись в воду до стремян, сердито кричал:

— Спускайте лодку! Переезжайте на берег! Покажите фирман с разрешением въезда на землю монгольского царства.

Другие всадники подхватили:

— Покажите, что вы привезли для воинов джэхангира[3]?

Корабельщик Ислам-ага дрожащими губами вполголоса давал матросам спешные приказания:

— Прячьте в трюм все, что можно! Закрывайте люки!

Из густых береговых камышей выползла узкая просмоленная лодка. В ней сидели вооруженные татарские воины. Они уцепились за борта корабля копьями с крюками и, закинув веревочные лестницы, взобрались на палубу. Татары быстро разбежались по всему кораблю и стали переворачивать мешки, вспарывали их кривыми ножами, волокли в одну кучу шубы и прочую одежду и тюки с финиками и сушеным виноградом.

Разбуженные шумом, из трюма поднялись на палубу несколько путников. Жмурясь от ярких лучей солнца,

---

[1] По-кыпчакски — по-половецки.

[2] «Железные ворота» — город Дербент на западном берегу Каспийского моря. Название произошло оттого, что Дербент в качестве крепости запирал сухопутную дорогу в Иран.

[3] Джэхангир — покоритель мира.

сни со страхом наблюдали за перебегавшими по кораблю неведомыми странными воинами.

Молодой арабский посол стоял близ мачты, положив ладонь на рукоять кинжала, засунутого за матерчатый широкий пояс. Он имел гордый и бесстрашный вид. Позади него стоял рыжебородый писарь, держа в руках ковровый мешок и большую священную книгу.

Два татарских воина, подойдя бесшумно сзади, попытались стащить с арабского посла кафтан. Он, легко отбросив воинов и, выхватив кинжал, стал отбиваться.

На корабль взобрался по веревочной лестнице благообразный старый терджуман. Величественным жестом он приветствовал корабельщика и уверенным голосом человека, знающего, что все им сказанное непогрешимо, громко воскликнул:

— Кто хочет обидеть знатного путника, посла к великому джэхангиру? Храбрые, благородные воины, оставьте в покое иноземца! Кто он? Пусть скажет свое имя.

— В этой свалке наносится оскорбление послу багдадского халифа!— закричал, вытаращив глаза, корабельщик.— Эти разбойники его грабят.

— Это не разбойники!— внушительно заявил терджуман.— Это непобедимые багатуры великого татарского владыки Бату-хана.

Возле терджумана появился молодой воин в стальной кольчуге и шлеме с серебряной стрелкой, спущенной на лицо. Он властно крикнул:

— Внимание и повиновение!

— Внимание и повиновение!— хором воскликнули монгольские воины, сразу прекратили беготню, и каждый неподвижно выпрямился на том месте, где находился. Все повернулись лицом к молодому воину.

— Слушайте мой приказ, соколы храбрые и непобедимые! Подождите!— Молодой воин обратился к корабельщику, который, опустив голову и подняв плечи, подтягивал сползавшие шаровары и поводил злыми глазами.

— Кто этот безрассудный человек, осмелившийся драться с воинами великого хана?

У корабельщика раскрылся рот, и он, заикаясь, отвечал:

— Это посол багдадского халифа.

Молодой араб, ругаясь, оправлял разодранный кафтан, свирепо косился на стоявших близ него монголов. Их начальник продолжал:

— Вы знаете, багатуры, что послы правителей других стран святы и неприкосновенны. Их нельзя трогать и сдирать с них одежду. Поблагодарите чрезвычайного посла халифа багдадского и хозяина этого корабля за полученные вами от них подарки.

— Благодарим за подарки!— воскликнули монголы.

— Первый десяток останется здесь, на корабле. Остальные перевезут на берег все подарки и доставят в лагерь Бату-хана.

В это мгновенье из каюты корабельщика вывалился старый косоглазый монгол, держа в руке ковровый узорчатый мешок, вырывая его из рук маленькой бледной женщины. На ее ногах звенела серебряная цепочка. Увидя, что все другие воины стоят вытянувшись, монгол выпустил мешок и тоже выпрямился.

— Арабский посол, корабельщик и все едущие на этом корабле путники!— продолжал воин в кольчуге.— Вы, конечно, нисколько не жалуетесь на моих воинов? Они вас ничем не обидели?

— Как не жаловаться!— воскликнул корабельщик.— Ведь они ограбили все, что увидели на палубе...

— Постой!— прервал его монгол.— Помни, что храбрые непобедимые воины великого татарского владыки никогда никого не грабят, а только как завоеватели вселенной берут свою законную добычу. Но так как ты оскорбил моих воинов, назвав их грабителями, то сейчас же будет суд. Здесь, на этом месте, судить буду я... А за ложное обвинение ты будешь наказан по великому закону ясы[1]... Наказание одно и немедленное: удар палицей по темени. Может быть заменено только повешением на мачте.

— Никто не обвиняет! Аллах свидетель,— да будет его имя прославлено!— дрожащим голосом оправдывался корабельщик, облизывая пересохшие губы.— Мы все рады, если наши скромные подарки нравятся славным воинам величайшего и справедливейшего татарского владыки.

---

[1] Яса — свод законов.

Молодой начальник спокойно смотрел на корабельщика, подождал немного и сказал:

— Я суд отменяю. Всему, что я скажу, без возражений подчиняйтесь! Все путники корабля, и корабельщик, и матросы — станьте в ряд... Кроме посла. Ты встанешь с другой стороны. Хони и Мункэ тщательно осмотрите путников.

Старый монгол с морщинистым зверским лицом и узкими, как щелки, глазами подошел к крайнему из выстроившихся в ряд путников. Он спокойно стал отбирать полосатый матерчатый пояс, кошелек, запрятанный в поясе, с указательного пальца стащил золотое кольцо с бирюзой, кожаные ярко-желтые туфли...

Все с опаской глядели на палицу с железными шипами, висевшую на ремне, перекинутом через плечо монгола. Второй монгол, разостлав на полу длинную овчинную шубу, складывал на нее отобранные вещи.

Старый терджуман спрашивал у каждого одно и то же:

— Кто ты? Откуда едешь? Куда? Зачем? И надолго ли?

— Я купец. Родом из великого Хорезма, из города Ургенча,— говорил полуседой богато одетый путник, в полосатом шелковом халате, розовых шароварах и голубой чалме.— Я везу шелка, драгоценные камни и гашиш, дающий блаженство всем к нему прибегающим. Что, по закону мудрой ясы Чингиз-хана,— да будет его прах благовонен!— я должен сделать с моими товарами?

— Ты можешь свободно здесь все распродать, предварительно выделив одну пятую твоих товаров нашему справедливому джэхангиру, а другую пятую часть отложив для великого кагана всех монголов. Эта часть будет отправлена в его столицу Кара-Корум.

Второй путник, крайне бедно одетый, в широком выцветшем плаще и в остроконечном колпаке дервиша, нараспев стал объяснять:

— Я скиталец по плоскому подносу вселенной. Меня зовут: Шейх Муслих ад-дин. Я пишу сладостные стихи. У меня нет ни дома, ни сада, чтобы я мог платить подати. Все мое имущество со мною. Все мои богатства я черпаю из этой бронзовой чернильницы.

Монгол с палицей, обшарив дервиша, нашел у него

за пазухой кошелек с несколькими серебряными монетами, оторвал подвешенную на поясе бронзовую чернильницу и, откупорив ее, выпачкал себе пальцы чернилами.

Дервиш воскликнул, подняв руки к небу:

— Если моя чернильница будет у меня отобрана, то мне придется отдать и мою печень на растерзанье воронам!

Монгол с палицей ответил сердито:

— Твоя бронзовая сокровищница понадобится нашим писарям.

Второй монгол содрал с дервиша просторный побуревший плащ, разостлал на палубе и на него стал сбрасывать отбираемые вещи.

Шейх Муслих ад-дин опустился на колени, закрыл лицо руками и бормотал непонятные слова, раскачиваясь и завывая. Молодой монгольский начальник подошел к нему и коснулся рукой.

— Ты кто: нищий, или шаман, или звездочет? О чем ты плачешь?

— Я не нищий. Я был богаче самых могущественных владык, а теперь стал беднее и птицы и зверя. С моим плащом я бродил по вселенной тридцать лет. У зверя есть меховая шкура, у птицы есть перья, а у меня—этот плащ. Он и моя постель и моя скатерть, на которой я раскладываю хлеб и сыр, а ночью я лежу на этом плаще и им же укрываюсь. Разбей мне голову палицей, но я все-таки скажу: не может великая мудрая яса Чингизхана приказывать, чтобы у нищего певца, воспевающего подвиги великих правителей народов, отбирались его единственная чернильница и единственный старый плащ!

Монгол с палицей тем временем связал концы плаща и поднял узел. Сквозь прорехи посыпались деньги, кольца и другие мелкие отобранные у путников вещи.

Монгольский начальник сказал:

— Ты пойдешь со мной к нашему справедливому хану. Он сам решит, что делать с тобою. Хони, отдай ему обратно дырявый плащ и бронзовую чернильницу. А ты кто такой?— Монгол указал рукой на тощего человека с рыжей растрепанной бородой, одетого в белый с черными полосами шерстяной чекмень арабского покроя.

— Это мой писарь. Он же очень искусный лекарь, мудрый звездочет и предсказатель,— объяснил арабский посол.

— Лекарь?!— воскликнул монгольский начальник.— Мне очень нужен знающий искусный лекарь. Что хранится в твоем кожаном мешке?

— Тут мои лекарства, чтобы спасать от болезни и смерти истинно верующих. А эта старая книга — «благородный свиток»[1] великого пророка, молитва над ним и привет!

Монголы нагрузили лодку отобранными вещами. Лодка отъезжала несколько раз и перевозила захваченные грузы. Вместе с монголами уплыли женщина с серебряной цепочкой на ногах, дервиш и негритенок.

На корабле остались дозорными десять монголов. Они сели тесным кружком на корме и затянули заунывную песню.

Корабельщик Ислам-ага стоял у борта. Слезы текли по его щекам. Он вытирал их кулаком и бормотал:

— Ушла от меня колючая заноза, ядовитая сколопендра!

Арабский посол сочувственно положил руку на плечо:

— Нашел о чем горевать! На каждом базаре теперь рабынь сколько хочешь. Найдешь другую пленницу получше.

— Но не такую, как эта, самого высокого царского рода Комненов[2]. Такой я больше никогда не найду. Я за нее не пожалел бы дать сто золотых и мешок сушеных персиков. Зачем ее у меня отобрали?!

— Да что ты в ней нашел? Маленькая, бледная, сухая, как горошина. Всегда с тобой ссорилась, царапалась и грозила убить...

— Верно!— сказал корабельщик и, нагнувшись к послу, шепнул ему на ухо:— Но она умела пробуждать глубокую страсть.

— Аллах велик!— воскликнул посол.— Это редкое достоинство!

---

[1] «Благородный свиток» — у мусульман обычное наименование корана.

[2] Комнены — династия византийских императоров (1057—1204).

Глава четвертая

АБД АР-РАХМАН У ГАДАЛКИ

Абд ар-Рахман выпрыгнул из лодки на берег,— на тот берег таинственной земли степных народов, куда он так давно стремился, совершив длинный трудный путь от Багдада, через Курдские горы, путь, полный ужасов и опасностей.

Теперь, в темноте, он чувствует под ногами твердую землю. Ноги спотыкаются о кочки с кустами жесткой, режущей травы,— но он ее ощущает как нового друга.

— Хасан! Где Хасан?— крикнул он в темноту, призывая матроса, обещавшего отнести его вещи до караван-сарая.

— Хасан здесь!— ответил из мрака голос матроса.— Постой, ага. Я должен еще вытащить из лодки вещи и держать их в руках, чтобы здешние злодеи не растащили их в темноте. Я нашел одного бездельника, который согласился помочь мне нести тяжелый тюк, но я должен на шею ему набросить петлю, чтобы он не убежал.

Абд ар-Рахман стоял, выжидая. Глаза привыкали к темноте. Две фигуры приближались: матрос и «бездельник», навьюченные дорожными переметными сумами, в которых хранятся драгоценные подарки халифа. Корабельщик обещал дать надежного провожатого, который укажет дорогу к арабским купцам. В темноте, в толпе бегавших и кричавших, все перепуталось.

Куда идти? Холодный ветер сурово дул в лицо, засыпал легкой пылью. Впереди, где-то далеко, мигали огоньки. Черные тени проходили мимо. Нужно быть осторожным — всюду дикие люди, готовые убить и ограбить. Как жутко и неудобно идти одному, без верного Адсума, уведенного монгольской стражей... И Абд ар-Рахмана охватило уныние.

Не переждать ли на берегу, возле молчаливой реки, пока начнет светать,— и тогда приступить к розыскам гостеприимных земляков, арабских купцов?.. Они дадут приют, безопасный шатер, расторопных слуг и развернут на коврах расшитую цветными шелками скатерть с великолепными разнообразными яствами в честь его, посланника священного халифа.

Маленькая, точно детская, рука коснулась мускулистой, крепкой руки Абд ар-Рахмана, и нежный, певучий

голос ласково и вкрадчиво прозвучал на неведомом языке. Потом тот же голос сказал по-арабски:

— Достойный путник! Если ты ищещь теплого крова в эту холодную ночь, иди за мной. Тебе, неведомому гостю, опасно проходить ночью через это становище суровых воинов различных племен. А совсем близко тебя ждет радостный приют. Там тебе уже приготовлена дружеская встреча, чистый мягкий ковер, шелковые подушки, горячий ужин и желанный после дороги отдых. Доверься мне!

Матрос проворчал:

— Кто ты? Мы тебя не знаем, дочь мрака и греха!

— Послушайся меня, путник! Я хочу тебе блага: не оставайся на берегу! А переночевать тебе будет стоить совсем недорого — три серебряных дирхема.

— Хасан, пойдем за нею! Все равно надо же куда-нибудь идти! Я решил довериться случаю.

— Я повинуюсь, ага! Да сохранит тебя аллах от девяноста девяти несчастий!

Маленькая рука настойчиво увлекала Абд ар-Рахмана вперед, в неизвестное.

— Я иду за тобой! Я дам тебе пять серебряных дирхемов в награду, если все окажется правдой. Ты приведешь за собой твое счастье.

— А ты впридачу еще получишь блаженство...— ответил бархатный вкрадчивый голос.

Они шли через бугры, между кустами. Красные огоньки то пропадали, то светились снова. Приходилось подниматься по склону холма. Дорога казалась длинной, бесконечной.

Впереди выросли черные шатры, знакомые арабские шатры из шерстяных темных тканей. Сквозь продранные отверстия мерцали отблески красных огней.

— Мы пришли!— сказала маленькая спутница и откинула полог.

В шатре посередине тлели угли небольшого костра. На нем грелся закоптелый бронзовый кумган[1].

Черные выцветшие, задымленные ткани крыши поддерживались деревянными шестами. Привешенный на

[1] Кумган — металлический чайник с длинным изогнутым носиком.

одном шесте глиняный светильник тускло озарял внутренность шатра.

Абд ар-Рахман сбросил на пестрый бархатистый ковер свои дорожные сумы, колчан и пояс с кривым мечом в серебряных ножнах. Он опустился на ковер и, подняв руки к лицу, прошептал молитву.

Молодой матрос и «бездельник» в изодранной одежде с бегающими глазами сбросили свою ношу при входе и, вытирая рукавом пот с лица, остановились в ожидании платы.

— Нужно прибавить, ой, какой тяжелый вьюк!—простонал «бездельник».— Можно думать, что гость привез в этих мешках гвозди, а может быть, и золото. Да принесет тебе аллах удачу и удвоит тяжесть вьюка!

Абд ар-Рахман посмотрел внимательно на «бездельника»: длинный крючковатый нос, круглая шапочка, полуседая всклокоченная борода.

— Как тебя зовут?— Абд ар-Рахман бросил каждому по несколько монет.

— Как меня зовут?— «Бездельник» пожал плечами и нагнулся, подбирая деньги.— Зовут меня теперь Самуил Со Вздохом. А когда-то я был Самуил бен-Абрам, имел в Иерушалайме свой дом с апельсиновой рощей и торговлю редкими товарами. И сам я имел сотню таких же слуг Со Вздохами, каким теперь я стал сам. Всему виной франки-крестоносцы. Им не сидится спокойно в родной земле. И они решили тревожить мирных жителей Иерушалайма и освобождать «гроб господень». От чего освобождать? Гроб это гроб, и, думаю, ему не нужно никакого освобождения. А бедные люди страдают и гибнут. Сперва меня захватили в плен франки и один барон сделал меня своим поваром. Только варить и жарить было нечего, и я же должен был находить, а чаще воровать, моему господину баранину и финики... А потом я попал в плен к арабам, и они меня продали так далеко, что я оказался здесь, на берегу Итиля...

— Сколько же тебе еще прибавить, почтенный Самуил бен-Абрам?

— Сколько? Для меня чем больше, тем лучше!— И Самуил Со Вздохом развел руками.

— Я не знаю, какие тут ходят деньги и сколько за что платят.

— Здесь деньги ходят всякие лишь бы это было на-

стоящее звонкое серебро и золото... Ох, золото! Давно мне не попадался в руки золотой динар! А когда-то у меня был свой особый приказчик, чтобы менять золото на серебро и серебро на золото. Знаете, что я вам скажу?

— Что скажешь, Самуил бен-Абрам?

— Если у вас есть горсть золота, то здесь в несколько дней вы можете обратить эту горсть в три горсти золота. Тут много богатств, награбленных... ой, что я сказал!— не награбленных, а привезенных храбрыми воинами Бату-хана из других стран, которые они здорово пообчистили. Эти воины не знают цены того, что у них в руках. Сейчас самое мудрое: скупать по дешевке все, что они привезли и перепродавать по более дорогой цене. Где же делать хорошую торговлю как не здесь?.. Вы увидите завтра, что тут начинает вырастать большой город, замечательный город, где много людей, где все хотят есть, а пить еще более. Ой, бедный Самуил бен-Абрам! О, если бы у тебя была свобода, а не медное кольцо в ухе и тавро хозяина, выжженное раскаленным железом на правом бедре, ты бы стал первым купцом в этой молодой монгольской столице!

— А кто твой господин?

— Не господин, а госпожа Биби-Гюндуз... Тсс!.. Она живет здесь. Ой, какая она умная! Взглянет, и каждого человека насквозь увидит и всю правду о нем скажет. Ей большие деньги платят за то, что она говорит, точно читает в «книге судеб».

— А сколько ты стоишь? Сколько надо денег, чтобы тебя выкупить из рабства?

— Денег? Моя госпожа меня не продаст. Я ей нужен. Она советуется со мной во всех делах: что купить и что продать Она обещала, что сама меня освободит,—и он добавил шепотом:— Но разве можно верить женщине? Тсс!.. Тише! Она сюда идет.

Глава пятая

МУДРАЯ БИБИ-ГЮНДУЗ

Приоткрыв ковровую занавеску, вошла женщина в длинной красной шелковой одежде с пестрым тюрбаном на голове.

— Привет, простор и благополучие путнику после трудной дороги!

Хозяйка опустилась на колени на край камышовой цыновки и ясным проницательным взглядом окидывала прибывшего гостя. Взгляд, прямой и смелый, точно говорил: «Я умнее тебя». Лицо арабского типа, с правильными чертами, озарялось улыбкой. Блестящие глаза как будто соперничали с блеском нитки изумрудов на смуглой шее и алмазных серег, вспыхивающих голубыми искрами.

— Ты, вероятно, приехал из счастливой Аравии или из далекого прославленного Багдада? Об этом говорит и твоя одежда и узоры походных ковровых мешков.

— Все разглядела, все поняла!— пробормотал Самуил Со Вздохом.

Оставив без внимания замечание слуги, она все так же улыбалась, продолжая:

— Если у тебя большие заботы здесь, в этом новом городе, и ты меня послушаешься, то получишь всяческие блага. В этом военном лагере все ново, все неведомо, и я хочу, чтобы ты не совершил непоправимых ошибок. Тот, кто выжидает и медлит, выбирая наиболее правильный путь,— достигает исполнения надежды... А тому, кто торопится, не взвешивая на весах благоразумия своих поступков, выпадет на долю раскаянье... Здесь, в этом удивительном становище удивительного народа, уже имеются свои законы и свои обычаи. Их надо знать, чтобы не сделать непоправимого. Татары здесь владыки, и если ты им не понравишься, они могут тебя схватить, отобрать все твое достояние, и ты исчезнешь бесследно в холодных водах Итиля.

— Но они меня не посмеют тронуть!— воскликнул в бешенстве Абд ар-Рахман.— Я послан святейшим халифом багдадским — да будет над ним мир!

— Я так и подумала,— сказала Биби-Гюндуз. Ее пронизывающий, впивающийся взгляд и радостная улыбка становились утомительными, и Абд ар-Рахман чувствовал себя скованным, точно под взглядом большой змеи, поднявшейся на хвосте и разглядывающей свою жертву.

— Самуил, приготовь кебаб[1], как обычно для более знатных!— приказала хозяйка, не пошевельнувшись, и

[1] Кебаб — блюдо из мелкорубленного мяса, поджаренного на вертелах.

продолжала испытующим взглядом рассматривать гостя.

Абд ар-Рахман перевел глаза на старого слугу. Тот достал связку железных вертелов и развернул на ковре кусок красной полосатой ткани, в которой хранилось мелко нарубленное мясо.

Оставаясь неподвижной, Биби-Гюндуз приказала слуге:

— Самуил, достань запечатанный кувшин со сладким ширазским вином, выжатым из белого винограда, который задерживает появление седины. А пока поспеет ужин, не пожелаешь ли ты, почтенный гость, чтобы моя рабыня Зульфия́ спела тебе родные песни. Я бы хотела рассеять тревоги, которые написаны на твоем лице... Не бойся ничего. Я вижу над тобой сияние больших удач...

Абд ар-Рахман вздрогнул.

— Моя девушка поет, как соловей. Не отказывайся от нее.

— Я не хочу песен!.. Если ты отличаешься проницательностью и перед тобою раздвигается завеса будущего, то лучше расскажи, что суждено мне в этом году?

Лицо Биби-Гюндуз вдруг стало строгим, улыбка исчезла, и она опустила свои блестящие неотвязчивые глаза.

— Я не хочу говорить тебе всего, что читаю на твоем лице,— и Биби-Гюндуз подняла свой взор, ставший печальным.— Хочешь, я расскажу тебе только о светлых победах и умолчу о днях горя и позора?

— Позора?!— воскликнул Абд ар-Рахман.— Какой позор может быть на моем пути? Я никогда не допущу ничего недостойного. Говори мне все, ничего меня не устрашит. А будущее покажет, солгала ты или нет. Я хочу знать, что мне грозит, чтобы с закрытыми глазами не шагнуть в пропасть.

— Не поможет ни хитрость, ни смелость против того, что написано в «книге судеб», и от этих огненных строк ты не уйдешь. Зульфия́!— позвала она.

Девушка, приведшая Абд ар-Рахмана, завернувшись в черное покрывало с серебряными блестками, сидела, собравшись в комок, в глубине шатра. Она откинула покрывало и бесшумными, плавными движениями достала замшевый мешочек, камышовую палочку и глиняную чашу с водой.

Биби-Гюндуз поставила чашу перед собой. Доставая

из мешочка разноцветные камешки, всматриваясь в воду, она разбрасывала их на ковре.

Абд ар-Рахман почувствовал облегчение, не видя перед собой пристального взгляда гадалки. Он наблюдал, как она сгребала камешки и снова их разбрасывала. Низко склонившись над чашей, всматриваясь в воду, которая вдруг стала закипать, точно под ней был огонь, Биби-Гюндуз тихо зашептала:

— Я вижу битвы, много битв... Скачущих и падающих с коней всадников... Зарево пожаров... Целые города пылают и окутываются черным дымом... Он возносится до багровых облаков... Будет столько крови, что земля станет красной... Ни стрела, ни меч тебя не коснутся до черного дня... Я вижу, как молодой воин, похожий на тебя, поднимается все выше по лестнице, вырубленной в скале. Он поднимается высоко, очень высоко, до самой вершины горы, засыпанной снегом... С тобой золотой талисман, оберегающий тебя... Но тучи летят таким ураганом, что ты шатаешься, с трудом удерживаясь, чтобы не свалиться в пропасть... Я вижу башню... Да, это каменная башня... На верхней площадке стоит молодой воин... Рядом с ним женщина с золотистыми волосами... Воин любит ее, готов ей поверить,— но бойся ее, как смерти... Она хочет тебя столкнуть в пропасть... Гибель грозит тебе... Бойся женщины с золотистыми волосами!

— Ожидает ли меня смерть от этой женщины?— спросил Абд ар-Рахман дрогнувшим голосом.

— Я только предостерегаю...

— Буду ли я богат?

— Богат?.. Нет! Ты ищещь славы, а не богатства... Всю жизнь ты будешь скитаться по равнине вселенной и увидишь далекие края... Богатство потечет между твоими пальцами, как песок, но ты останешься суровым воином, завернувшись в плащ воздержания и надев броню железной воли.

Абд ар-Рахман лежал на ковре. Костер догорал. Красные угли покрылись пеплом и угасали. В шатре было темно. Сквозь разорванную ткань мерцали две бледные звезды. Сон не прилетал... Неясное волнение... Тревоги о завтрашнем дне, когда он надеялся добиться свидания с ханом татарским... Предсказания, которым,

он не знал, верить или не верить... Воспоминания о проделанном трудном пути, где всюду грозили опасности и приходило неожиданное спасение... Ужин с гадалкой, ее пристальный взгляд... Нежные движения Зульфии, подававшей чаши с ароматным дурманящим вином... Самуил Со Вздохом, его всклокоченная борода, железные вертела с поджаренным кебабом... Все вспоминалось, все всплывало снова, когда сон затягивал сознание легкой дымкой...

Чуть заметное движение воздуха заставило насторожиться. Маленькая бархатная ладонь опустилась на губы и коснулась его глаз.

Он протянул руку и почувствовал очертания нежной гибкой женской спины, шелк вьющихся волос, заплетенных в две косы... Запах гвоздики... Маленький полураскрытый рот, призывающий без слов, без звука...

Кто-то прищемил большой палец правой ноги. Абд ар-Рахман быстро пришел в сознание. Тени ночных снов бесшумно улетели. В шатре слабо тлели угли костра, от него веяло теплом блаженства и уюта.

— Кто это?

— Адсум! Это я, господин! За тобою присланы верховые кони. Меня отпустил татарский хан, узнав, что я преданный слуга посла багдадского халифа.

Воспоминания ночи обожгли Абд ар-Рахмана. Он приподнялся, осматриваясь: где же она, с ароматом гвоздики?

Слуга стоял на коленях с краю ковра, держа в руках медный таз и кувшин с резным узором.

— Почтенный ага, я принес свежую воду. Ты можешь совершить омовение и молитву.

— Кто прислал коней?

Голос за занавеской проговорил:

— Твои новые друзья. Мы ждем услышать от тебя вести о нашей далекой родине.

Абд ар-Рахман совершил моление в три раката[1], не сходя с ковра. Он был озабочен — искал глазами вчерашнюю душистую тень.

---

[1] Ракат — часть мусульманского молитвенного обряда.

Слуга принес большое глиняное блюдо с вареным рисом, изюмом и кусками жареной курицы. Опустившись на колени, он поставил все это перед гостем, вынул из-за пазухи сложенный красный платок и положил его рядом.

— Какие будут твои приказания?

— Где...— Абд ар-Рахман запнулся и с достоинством продолжал:—...хозяйка этого дома?

Она явилась немедленно, как всегда сияющая изумрудами, алмазными подвесками и ослепительной улыбкой.

Расправив пышные складки просторной шелковой одежды, Биби-Гюндуз опустилась на ковер. Ее голову украшал голубой с оранжевыми полосками тюрбан, обвитый жемчужной нитью.

Абд ар-Рахман хотел задать несколько вопросов, но удержался: «Нельзя вопросами раскрывать то, что обжигает сердце». Наконец, он спросил:

— Откуда кони? Кто ждет меня?

Хозяйка указала величественным жестом на стоящего у входа благообразного человека, почтительно скрестившего руки на животе.

— Вот это посланец от старшины арабских купцов. Он расскажет то, что ему поручено.

Склонившись к Абд ар-Рахману, как бы поправляя подушки, слуга Адсум шепнул:

— Не уезжай один. Возьми меня с собою. Я помогу в трудную минуту.

Абд ар-Рахман обратился к ожидавшему посланцу:

— Найдется второй конь для моего писаря?

— Есть, мой господин! И кони достойны тебя — прекрасные и горячие.

Адсум проворчал:

— Горячими я люблю только кофе и похлебку, а не диких коней. Я не безумный джигит, а факих[1], привыкший к спокойствию и книге.

Абд ар-Рахман встал и властно приказал:

— Послушай, Дуда! Ты останешься здесь и не отойдешь от моих дорожных вещей.

— Слушаю!— ответил слуга. Сердито вытащив из

---

[1] Факих — законовед, богослов, знаток мусульманского права.

своего мешка книгу в кожаном переплете и каля́мницу[1], он положил их на ковре близ костра. Достав шерстяной дорожный плащ, он помог своему господину прицепить к поясу кривую саблю в зеленых ножнах и засунуть за пояс два кинжала. Натянув ему на ноги зеленые сафьяновые сапоги с загнутыми кверху острыми носками и красными каблуками, Дуда почтительно, как драгоценность, подал искусно закрученный тюрбан — знак потомка великого пророка.

— Помни: не отходи от вещей. Может быть, они мне сейчас же понадобятся,— сказал Абд ар-Рахман, выходя из шатра.

Выйдя, он невольно остановился. Два рослых раба-негра, в красных повязках на голове, крепко упираясь ногами в землю, изо всех сил старались сдержать бешено рвущегося прекрасного жеребца, редкой игреневой масти. Изогнув шею, грызя удила, большой конь бил передними ногами и поджимал широкий зад с длинным черным хвостом.

Абд ар-Рахман, прищурив глаза, наблюдал за усилиями негров.

«Они хотят испытать меня: решусь ли я справиться с этим зверем? Абд ар-Рахман не колеблется и страха не знает. Укротитель коней рад лишний раз испытать свою силу...»

Клочья пены падали на грудь коня, украшенную серебряными цепями. Жеребец казался особенно красивым на фоне восходящего алого солнца, прорезавшего розовыми лучами узкие длинные тучи, низко протянувшиеся над горизонтом.

Но не конь привлек особое внимание Абд ар-Рахмана — за ним, на груде камней, вырисовываясь стройным силуэтом, стояла девушка с кувшином на плече... «Аромат гвоздики»...

Тени ночных снов опять пролетели перед Абд ар-Рахманом... Уверенно он подошел к коню, косившему черным глазом, подобрал левой рукой повод, легко отделился от земли и оказался в арабском седле с широкими металлическими стременами.

---

[1] Каля́мница — пенал, обыкновенно искусно разрисованный. В нем хранились перья, вырезанные из камыша, и бронзовая чернильница.

Глава шестая

У АРАБСКИХ КУПЦОВ

Слуги ехали впереди, пробираясь тропинками между низкими хижинами с камышовыми крышами. Кругом видны были также бесчисленные юрты на телегах. Семьи монгольских воинов разводили костры возле больших тяжелых колес из цельного дерева. В глиняных горшках и медных котлах готовилась пища и грелась вода. На углях жарились куски мяса.

Перед небольшим домиком, окруженным чахлыми деревцами, собрались все арабские купцы. Каждый пришел к своему старшине с несколькими приказчиками и слугами. Все хотели узнать последние новости о священном Багдаде, о великом халифе и о том, что он думает о татарах и татарском нашествии.

Перед домом была протянута дорожка из небольших ковров в честь знатного гостя. Старшина купцов, с белой повязкой вокруг высокой черной бараньей шапки, знак «хаджи́»[1], стоял впереди. Рядом два его маленьких внука держали подносы с гроздьями винограда.

Абд ар-Рахман соскочил с коня и передал поводья слугам. Старшина провел Абд ар-Рахмана вдоль стоящих в ряд склонившихся низко арабских купцов, и гость говорил каждому несколько приветственных слов. Некоторые уверяли, что знали его мальчиком, старики вспоминали отца, павшего в бою с неверными.

Старшина пригласил знатного гостя внутрь дома, куда были допущены только несколько наиболее почтенных и влиятельных купцов; там все расположились полукругом на пушистых коврах, а слуги подсунули под локоть каждому цветную шелковую или ковровую подушку.

— Нам нужно знать, какого пути держаться,— шепотом, боязливо говорили старики.— Оставаться ли здесь и разворачивать торговлю, или уезжать обратно? Мы еще не знаем монголов и еще не верим Бату-хану. Он обещает нам свободную торговлю, но пока что любой монгольский начальник может безнаказанно забрать у нас все, что захочет. Если здесь установится порядок и

---

[1] Хаджи — звание паломника, побывавшего в Мекке, религиозном центре ислама.

спокойствие, то мы сумеем развернуть в десять раз бо́льшую торговлю. Только бы установился прочный порядок!..

— Что ты обо всем этом думаешь, достойный гость наш Абд ар-Рахман? Что сказал халиф багдадский,— да будет над ним мир?! Оставаться ли нам здесь, или, распродав все свои товары за бесценок, скорее подыскивать другие города, более подходящие и спокойные?

Подумав, Абд ар-Рахман ответил:

— Мой повелитель многого не говорит, но то, что он сказал, значительно. Он хочет, чтобы арабское имя всюду пользовалось почетом, как это было пятьсот лет назад. Он хочет, чтобы арабский меч разил врагов, прославляя знамя пророка, а смелые арабские купцы прославляли честность и верность своему слову и добротность своих товаров на всех землях и морях.

Купцы с большой осторожностью и оговорками вполголоса объяснили, что, по их мнению, Бату-хан очень удачно избрал место для своей будущей столицы на скрещении великих торговых путей: из Хорезма, Индии и Китая в Византию и «вечерние франкские страны», а также в другом направлении между Ираном, Аравией и далекой Индией вверх по Итилю... Таким образом, Бату-хан хочет сделать свою столицу центром вселенной, и она станет одной из первых столиц мира. Но сюда будут приплывать корабли и придут верблюжьи караваны только в том случае, если окрепнет уверенность в порядке и полной безопасности для купцов и их товаров в этом городе.

Абд ар-Рахман спросил:

— Почтенные седобородые сыны моей далекой родины! Вы видели разные страны — и на восход солнца и к его закату. Скажите мне ваши тайные думы: смогут ли татары завоевать «вечерние страны», разбить войска франков, румийцев и других народов, войска могучие, закованные в железные латы?

Старшина ответил:

— Татарам помогают: слепая покорность их воинов своим начальникам, их смелость в бою, но более всего— ужас, ими внушаемый мирным народам. Если народы «вечерних стран» не будут достаточно единодушными и по-прежнему среди них будут царить разногласие и взаимная ненависть, то многотысячная дикая татарская

орда свободно пронесется по цветущим «вечерним странам», как беспощадный смерч, и повсюду законом станет яса Чингиз-хана.

— А кто такой Бату-хан? Мудрый ли он правитель, каким был его дед, и такой ли он смелый и счастливый полководец, каким был великий завоеватель Ирана Искендер Двурогий?— спросил Абд ар-Рахман.

Старшина арабских купцов ответил:

— Бату-хану, несомненно, покровительствуют пери и джинны[1]. Все, за что он берется, встречает удачу... Потому ли, что здесь мы видим только чудо, или же ему помогает в делах его воля, смелость и проницательный ум,— кто на это сможет ответить, какой мудрец?

— А каковы его соратники? Человек становится великим, когда он сумеет окружить себя преданными, способными людьми, настойчиво проводящими в жизнь его волю.

Старшина сказал:

— Конечно, Бату-хану помогают его соратники, но ведь их он сам же и выбрал. Войско слушается его беспрекословно, потому что оно ему верит и прозвало его «Саин-хан»— доблестный, щедрый, великодушный. Поэтому я думаю, что если Бату-хан пойдет на запад, на «вечерние страны», и не дрогнет, не поколеблется, то он разобьет и покорит все встречные народы и власть его разольется по всем землям до «последнего моря».

Абд ар-Рахман снова задал вопрос:

— Я должен сопровождать его в походе. Следует ли мне это делать?

— Следует! Следует!— воскликнули все присутствовавшие.— Так ты поможешь и нам распространить арабскую торговлю по всему пути, проложенному Бату-ханом. Не забудь нас!

Купцы показали широкую щедрость и радушие в угощении, приготовленном для высокого гостя. На ковре было расставлено столько блюд с разнообразными изысканными кушаньями, что ими можно было накормить десяток послов со всеми их слугами.

Соблюдая арабские обычаи, Абд ар-Рахман ел мало, но попробовал от каждого блюда, благодаря и все расхваливая.

---

[1] Пери — добрые, джинны — злые духи в восточных верованиях.

— Прости наши нескромные вопросы,— сказал старшина.— Но, только желая помочь тебе дружеским советом, мы бы хотели знать, какие подарки ты привез татарскому хану?

Абд ар-Рахман рассказал, что он передаст золотой перстень с редким камнем и надписью мудрого Сулеймана, меч дамасской гравированной стали, золотой кубок с талисманом, предохраняющим от отравы, и другие ценные подарки.

— Позволь мне дать тебе один полезный совет,— сказал старшина.— Ты знаешь, что арабы, кроме дамасских клинков, особенно славятся прекрасными благородными конями...

— Но где же я могу взять коня? Отправляя меня послом, святейший халиф мне его с собою не дал.

— Мы хотим помочь тебе. Ты поедешь на прием к Бату-хану на том самом чистокровном арабском коне, на котором приехал сюда к нам и с которым ты так умело справился. Не всякий может сесть на такого горячего жеребца. А тебе следует с честью подъехать к шатру Бату-хана. Все простые смертные должны приближаться к этому священному шатру пешком. Ты же объяснишь страже, что должен предстать перед светлые очи Саин-хана на коне, присланном халифом багдадским ему в подарок в знак дружбы. Если же хан татарский разгневается, то, увидев чудесного красавца коня, он тебя простит и полюбит.

Другие купцы добавили:

— Прими еще от нас куски разноцветного шелка для его жен, «украшений вселенной», и ожерелье из двадцати семи драгоценных жемчужин для его любимой молодой жены Юлдуз-хатун.

Абд ар-Рахман ответил:

— Я не имею слов, сил и уменья, чтобы отблагодарить вас, почтенные соотечественники. Среди вас я самый младший, а вы меня возносите, как старшего. Конечно, это сделано вами не в силу моих заслуг, а как знак вашего почтенья багдадскому халифу,— да возвеличится могущество его и да будет над ним мир!

Старшина купцов сказал, что сам позаботится о том, чтобы Абд ар-Рахман был принят татарским ханом, и предложил остановиться в его доме, пока не настанет торжественный день приема.



Часть третья

В СТАВКЕ БАТУ-ХАНА

Глава первая
«ЗОЛОТОЙ ДОМИК»

Тумен[1] «синих непобедимых» примчался к берегам великой реки Итиль близ ее впадения в Абескунское море и рассыпался по равнине, пустив разгоряченных коней щипать сухие метелки серебристого ковыля.

Первая сотня личной охраны джэхангира на молочно-белых конях, переплыв глубокий рукав, разбила свою стоянку на узком длинном островке. В верхнем, северном

[1] Тумен — отряд в десять тысяч воинов.

конце его, на каменистом бугре, переливался радостными яркими красками странного, необычайного вида небольшой домик-игрушка с легкой кружевной башенкой, весь выложенный цветными изразцами. Каждая плитка имела рисунок затейливого цветка с завитками и узорной каймой, и в каждом цветке был вплавлен тонкий лепесток червонного золота. В ярких лучах утреннего солнца весь домик сверкал и светился, точно сделанный из раскаленных углей.

Этот дом-игрушка, по приказу молодого владыки Бату-хана, был выстроен на развалинах древнего города в кратчайший срок замечательным китайским мастером, строителем и изобретателем, Ли Тун-по, вывезенным из Китая еще «потрясателем вселенной» Чингизханом. Сюда же сделали огромный путь китайские мастера рабы,— из трех тысяч мастеров до Итиля добрела только небольшая часть.

Ли Тун-по стоял у входа в сказочный домик, большой, толстый, в просторной черной шелковой одежде до пят, с маленькой шапочкой на затылке, с которой длинное павлинье перо ниспадало на его широкую пухлую спину. Безбородое одутловатое лицо Ли Тун-по, всегда невозмутимо спокойное, седые усы, свисавшие по краям рта, и заплывшие узкие глазки, казалось, говорили о каком-то странном несоответствии между философски-созерцательным настроением китайского строителя и сверкающим красотою, жизнью и фантастической сказкой, капризным созданием великого мечтателя.

Ли Тун-по застыл близ входа, выложенного плитками разноцветного рисунка. Сложив руки на толстом животе, строитель равнодушно посматривал на шумную, озлобленную ревущую толпу рабов, двумя тесными рядами стоявших вдоль дороги.

К китайцу подошел молодой татарский воин. Серебряный пояс стягивал его тонкий стан. На поясе висела кривая сабля в зеленых ножнах. Рукоять, украшенная бирюзой и алмазами, говорила о ханском благоволении. Он приблизился стремительной бесшумной походкой: что-то гибкое, кошачье чувствовалось во всех его движениях.

— Тысячу лет тебе еще жить, мудрый искусный Ли Тун-по!

Улыбка освещала загорелое юное лицо.

Ли Тун-по с трудом поклонился, коснувшись концами пальцев каменной плиты.

— Тебе тоже желаю прожить тысячу лет, достойный тайджи́[1] Мусук, и со славой умереть на поле битвы! «Ослепительный», кажется, уж близко?

— Еще до захода солнца он будет здесь!— сказал воин.— Ты, вероятно, теперь уже спокоен и счастлив, мудрый Ли Тун-по?

— Я был счастлив, пока выполнял приказание великого джэхангира,— грустно покачивая головой, простонал китаец.— Но чему я могу радоваться теперь? Счастливые дни труда над созданием моей мечты — чудесного дворца — прошли... А впереди — утомительный, залитый кровью поход. Мне опять прикажут сооружать камнеметы... приносить людям ужас и смерть... А ты покинешь меня?

— Джэхангир отправит меня вперед,— ответил Мусук,— с отрядом самых смелых разведчиков. Да и я сам буду просить об этом. Джэхангир не любит встречать меня в своей ставке.

— Он в тебе ценит бесстрашного находчивого нукера, поэтому и не держит в своей свите веселых рассказчиков, годных только для вечерних пиров.

Тайджи Мусук нахмурился и махнул безнадежно рукой:

— Может быть, не потому!.. Но больно говорить об этом! Вспомним лучше, как мы с тобой старались изо всех сил, чтобы выполнить в срок повеление джэхангира. Оценит ли он наши труды?..

Оба стали вспоминать время, проведенное на постройке «золотого домика». Лу Тун-по приказание выполнил: маленький чудесный походный дворец джэхангира вчерне был уже выстроен в девять месяцев — счастливое предзнаменование! Девять месяцев ушли на устройство гончарной мастерской, обжиг разноцветных изразцов с глазурью, поливной посуды, глиняных труб для водопровода, китайских узких печей «канов», проходящих из комнаты в комнату... А сколько времени ушло на поиски нужных сметливых рабочих! Много пленных, забитых плетьми, сложили свои кости вокруг сказочного домика. Их изможденные тела сбрасывались в великую

---

[1] Тайджи́ — титул монгольских царевичей.

реку. Она смывает всякое горе! И тела погибших, качаясь на волнах, сопровождаемые стаями крикливых чаек, были унесены рекой в бурное Абескунское море.

Теперь искусный строитель Ли Тун-по, возможно, получит высшую награду из рук самого джэхангира — право вернуться на родину!.. Конечно, благодарность получат и другие. Вот уже выстроились в ряд свирепые надсмотрщики рабов с треххвостыми плетьми на перевязи. Им немало пришлось потратить сил, чтобы заставить стонущих и ругающихся рабочих трудиться без отдыха над постройкой дворца и днем и ночью, при свете костров. Надсмотрщики уже получили подарки... Джэхангир щедр, он, конечно, наградит и рабочих. Чтобы не оскорбить светлого взора джэхангира своим грязным, жалким видом, на рабочих надели халаты всех цветов и размеров. Эти халаты были привезены из складов военной добычи, принадлежащей джэхангиру. Рабочие кутались в розовые, желтые, красные, полосатые халаты, из-под которых виднелись босые грязные ноги и концы рваных шаровар...

Где же, однако, Бату-хан? Его все нет. Уже вдали проехали запыленные сотни из тысячи телохранителей Бату-хана: одни на рыжих конях, другие на красно-пегих, третьи на темногнедых, и все они скрылись среди холмов.

Наконец прискакал монгольский всадник на взмыленном коне и, задыхаясь, крикнул:

— Хан тяжело болен! Разжигайте огни! Пусть всюду горят костры! Пусть молятся и поют шаманы! Джэхангира надо согреть — он уже остывает!..

Глава вторая

БАТУ-ХАН ГОВОРИТ...

Из степи приближался длинный караван верблюдов, охраняемый всадниками. Выделялось несколько особенно высоких верблюдов, желтых с цветными яркими паланкинами,— под их занавесками притаились «драгоценные жемчужины»: семь главных жен Бату-хана. Они кричали, требуя к себе хитрого упрямого строителя золотого дворца, китайца Ли Тун-по.

Он тотчас же переехал в лодке через проток. Опускался на колени перед каждым верблюдом с паланкином. Оттуда слышались крики:

— Мы приехали, чтобы поселиться в новом дворце! Кто смеет нас задерживать? Почему нас не перевозят на остров? Мы сами войдем в лодку и будем грести веслами и, может быть, утонем, если нас не перевезут!

Ли Тун-по на коленях клялся, что, под угрозой отсечения головы, получил самое строгое приказание Бату-хана: до его приезда и личного осмотра никого не пускать внутрь золотого дворца, особенно плачущих женщин! Кроме рабочих, никто и не видел внутреннего убранства чудесного домика и не увидит, пока джэхангир не объявит своего решения относительно новой постройки.

Одна из жен, откинув занавеску, кричала, пытаясь сползти с верблюда:

— Если джэхангир сейчас тяжело болен, то ни говорить, ни приказывать никто не может. Поэтому его заменяет старшая жена — это я! Теперь я повелеваю! И горе тому, кто меня ослушается! Молчи и не спорь, толстая черепаха, дерзкий китат[1], червяк, мокрица!

Военная охрана окружила бушующих жен. Всадники погнали плетьми верблюдов, и караван удалился обратно в степь, под звон бубенцов и крики погонщиков.

Приближался новый караван. Впереди двигалась охранная сотня на буланых конях, ставших бурыми от пота и насевшей пыли. Высокие тангутские верблюды тащили вьюки и разобранные шатры. Несколько жеребцов редкой красоты в тройных серебряных ошейниках и с серебряными цепями вместо поводьев плясали, сдерживаемые опытными конюхами. Впереди коней выделялся пятнистый, как барс, любимый конь Бату-хана.

Между двумя верблюдами была подвешена на длинных бамбуковых жердях узкая корзина... В ней лежало неподвижное тело татарского владыки, закутанного в собольи одеяла. Когда верблюды добрались до высокого берега, послышались возгласы:

— Вот она, великая река Итиль!

Тогда Бату-хан, сбросив одеяло, с юношеской ловкостью вскочил и поставил колено на спину верблюда. Он жадно всматривался в туманную даль и долго глядел на блиставший нарядными красками сказочный до-

---

[1] Китат — китаец.

мик на острове. На кружевной башенке дворца развевалось девятихвостое знамя джэхангира.

— Коня мне!— закричал Бату-хан.

Всех поразил желтый цвет его лица, блуждающие, как у безумного, беспокойные глаза. Два нукера подвели пятнистого коня.

Бату-хан устало поднялся в седло. Он указал на величественную, залитую солнцем равнину, прорезанную синей гладью медленно текущей реки, по которой плыл двухмачтовый корабль с раздутыми клетчатыми алыми парусами. Он говорил прерывающимся от волнения и приступа болезни голосом:

— Здесь будет стоять главный из моих походных дворцов, и здесь будет новая столица всех покоренных мною народов. Здесь вырастет до небес новое великое мое царство...

Силы оставили его. Бату-хан зашатался и упал на шею коня, вцепившись в его гриву.

Тургауды[1] подхватили Бату-хана, бережно сняли с седла и положили на расшитую богатым узором конскую попону.

Забегали нукеры и слуги, привели навьюченных походной кладью верблюдов и быстро над лежащим больным полководцем воздвигли золотистый шелковый шатер.

Глава третья

КРЫЛО СМЕРТИ

Бату-хан, с пожелтевшим, как померанец, лицом, вытянулся на ковре, закусив оскаленными зубами синий рукав собольей шубы. Один глаз закрылся, другой, болезненно прищуренный, неподвижно уставился в прорезь шатра, в которой виднелись далекие мигающие огни степных костров.

В ногах Бату-хана, сжавшись и подобрав колени, сидела младшая жена его Юлдуз-хатун, закутанная в черное с золотой каймой индийское шелковое покрывало. Иногда из складок протягивалась узкая белая рука с золотыми браслетами и осторожно касалась смуглой загорелой головы Бату-хана с давно не бритым щетинистым теменем и черными косами на висках. Лицо Бату-хана, суровое, с ястребиным носом, оставалось бесчувствен-

[1] Тургауды — охранные стражники ханской ставки.

ным, точно мысли больного улетели так далеко, что ничто земное не могло больше его тревожить.

Едва слышно было, как за дверным ковровым пологом тихим шепотом разговаривали сторожевые нукеры:

— Сорок дней его тело борется с вестником смерти. Сорок первый день будет днем милосердия или жертвы...

— Не подумать ли о заместителе?

— Остерегайся говорить такие слова! И стены имеют уши, земля повторяет сказанное... Говори всем: «Ему, могучему и единственному, достойного заместителя быть не может...»

Послышался конский топот... Только очень высокий гость, хан из ханов, осмелится на коне подъехать к шатру повелителя грозного татарского войска. Конь остановился, бряцая удилами.

Старый нукер откинул дверной полог. Большой грузный монгол, высоко подняв ногу, переступил порог. Он бесшумно, на коленях подполз к лежащему. Долго и пристально всматривался в безжизненное лицо.

Юлдуз-хатун, натянув на голову покрывало, пала ниц перед гостем и поцеловала землю между руками. Она выпрямилась, откинула за спину покрывало и подбросила пучок можжевеловых веток на потухавшие угли маленького костра посреди юрты. Вспышки огня озарили все красноватым светом.

— Привет тебе, Юлдуз-хатун! Что случилось с моим младшим братом? Я боюсь... Он, кажется, теряет последние силы... Почему у него желтое лицо? Какие злые духи терзают его тело?

— Ты нам привез надежду, пресветлый хан Орду[1]. Если сейчас не помочь джэхангиру—завтра будет поздно.

Хан Орду, ворча и сопя, направился к выходу, постоял в раздумье. Вернулся и снова сел около больного, заглядывая ему в лицо.

— Что делать? Говори. Кого призвать? Что принести в жертву подземным богам: по девять черных быков, коней и баранов? Или по девяносто девяти?

— Это все уже сделано...

---

[1] Хан Орду — старший брат Бату-хана, пользовался у него особым почетом и любовью. Орду добровольно уступил Батыю управление Золотой Ордой, однако в ярлыках (указах) великого кагана имя Орду ставилось впереди имени Бату.

— Что же придумать? Я сам сяду на коня и помчусь... Но куда, зачем?..

Юлдуз смотрела глазами, полными слез.

— Надо призвать опытного, знающего лекаря. Надо поднять тревогу во всем войске...— дрожащим, хриплым голосом говорил хан Орду.— Пусть мудрый строитель Ли Тун-по даст свои китайские лекарства: толченый жемчуг, сердце летучей мыши, сушеных морских червей...

— Великий хан! И это все уже делалось. Мудрый Ли Тун-по уже сидел здесь, испробовал все свои лекарства, но ничто не помогло. Ли Тун-по, извиваясь от страха, убежал в степь, и теперь его разыскивают. Он сказал, что разобьет себе голову о камни от горя... Он не знает, как можно помочь джэхангиру...

Орду неистовствовал: сорвал шапку и отбросил ее, колотил кулаками по коленям, бил себя ладонями по щекам:

— Что делать? Завтра будет поздно! Моего любимого брата не станет! Кто же начнет великий поход на «вечерние страны»? Никто, кроме него, не удержит в руках золотые поводья могучего войска! Что делать?

Юлдуз-хатун откинула покрывало, соединила ладони и прошептала:

— Еще есть одно, последнее средство: я его испробую.

Хан Орду затих и недоверчиво следил за маленькой подругой умирающего брата.

Она протянула вперед руки, подняла ясные блестящие глаза и певучим голосом, полным мольбы, произнесла:

— Старый праведный Хызр![1] Пожалей нас, беспомощных, щенков слепых, не знающих, что делать!

Точно отозвавшись на призыв, откуда-то послышался голос:

— Да... Это я! Пропустите!

Орду резко повернулся и уставился в изумлении на дверной ковровый полог. Вошел, низко склонившись, нукер. Он держал в руке меховой колпак, на шее висел пояс — знак того, что нукер сейчас молился.

---

[1] Хызр — по мусульманским поверьям, бродящий по дорогам праведник, всегда являющийся на помощь, если к нему мысленно обратятся с молитвой.

— Сотник Арапша привел неведомых людей. Говорит, что они нужны тебе, великий хан Орду.

— Пусть войдут!

Бату-хан заскрипел зубами и пошевелился, прошептав:

— Холодно...

Юлдуз-хатун прикрыла больного двумя шубами.

Неведомые люди вошли и опустились на колени близ входа. Мрачный, очень истощенный человек, с растрепанной рыжей бородой, с длинным крючковатым носом, смотрел сверкающими темными глазами из-под нахмуренных бровей. Костлявой рукой он прижимал к груди кожаную старую сумку. Рядом стояла на коленях молодая женщина в длинной светло-серой одежде странного покроя. На бледном, прозрачном, как воск, лице горели тревожным блеском зеленоватые глаза. Третий был мальчик-негритенок в полосатой рубашке. С веселым любопытством он вертел курчавой головой, стараясь все рассмотреть.

Приведший их сотник Арапша ждал, преклонив левое колено.

— Объясни, что это за люди? — приказал хан Орду.

— Внимание и повиновение! — сказал, приглушая голос, Арапша. — Сюда приплыл двухмачтовый парусник, полный ценных купеческих товаров. На нем я позволил воинам сторожевого поста немного подкормиться, — они давно уже голодали, и я оставил на корабле охрану, а этих людей приволок сюда. Эти двое — знахари. Краснобородый — арабский кятиб (писарь), ученый лекарь, резчик печатей-талисманов и звездочет. Он слуга молодого арабского шейха, который приехал, по его словам, как посол от святого и великого халифа багдадского...

— А эта желтая, как собачья кость, женщина?

— Она клянется, что родом из великого Рума[1], что она царского рода, излечивает самые трудные болезни, а терджуман еще слышал от владельца корабля, что эта румийка делает стариков молодыми.

— А негритенок тоже знахарь?

— Я притащил его на всякий случай, по просьбе нашего великого шамана Беки. Он сказал, что если другие

[1] Рум — в то время на Востоке так назывались г. Константинополь, Византия и Малая Азия.

лекарства не помогут, то надо вытопить жир из чернокожего мальчика и этим жиром растереть больного.

Негритенок, догадываясь, что речь идет о нем, стал жалобно всхлипывать. Рыжий лекарь вмешался:

— Не говори при ребенке того, что должны знать только обросшие бородой.

Хан Орду медленно и величественно повернулся к женщине. Он встретил ее смелый и уверенный взгляд.

— Кто ты?

— Я греческая царевна Дафни из Рума. Говори со мною почтительно: я из древнего рода царей Комненов...

— Садись ближе к огню, румийская царевна.

Подобрав длинное платье, Дафни грациозными движениями приблизилась к огню и опустилась на колени. Ее маленькие ноги, обутые в красные башмачки, были скованы тонкой серебряной цепочкой.

— Как же ты, румийская царевна, попала к нам сюда, в дикую степь? Где твои служанки, где евнухи и рабы и где военная охрана?

— Я ехала на корабле из Рума со свитой и охраной. Мой жених, грузинский царевич, должен был меня встретить, чтоб отвезти в свое царство. Буря разбила корабль, но святая матерь божья сохранила меня. Я спаслась, ухватившись за сломанную мачту, и была выброшена на берег волнами. Там меня захватили дикие, как звери, курды и увезли к себе. Но мои хозяева не захотели меня держать, потому что я, как царевна, не желала исполнять черной работы. Я кусалась и не боялась плетей. Курды привезли меня в город Казвин, на берегу Абескунского моря. Оттуда я бежала на корабле вместе с арабским послом Абд ар-Рахманом, который тоже приехал сюда, в твою ханскую ставку.

— Что же ты знаешь?

— Я понимаю книги мудрецов, в которых скрыто тайное. Мне известно учение Гиппократа[1] о болезнях человека и о способах их лечения...

Хан Орду передвинул на затылок меховой треух и приложил широкую ладонь к уху, чтобы лучше слышать. Но он не знал, как поступить. Можно ли довериться

[1] Гиппократ — древнегреческий врач (V в. до н. э.), «отец медицины»; оставил много сочинений.

румийской царевне?.. Он посмотрел на нее и снова встретил острый взгляд зеленых неморгающих глаз.

— Дзе-дзе! Чего бы ты хотела?

— Я устала от человеческой грубости. Я требую, чтобы со мной обращались достойно, как с царевной. Тогда я согласна остаться здесь, при дворе великого татарского полководца. Я буду лечить страдающих, залечивать раны... Но я могу сделать еще большее: я умею раскрывать прошлое и приподнимать завесу будущего.

— Это нам очень, очень нужно! —одобрительно кивал головой Орду. Он обратился к Арапше: — Эта полезная женщина останется здесь.— И, подумав, добавил:— Она будет жить около моего шатра.

Больной шевельнулся. Послышался стон.

Орду ткнул пальцем в сторону рыжебородого арабского лекаря:

— Можешь ли ты вылечить больного?

— Я не излечивал до сих пор только покойников.

— Если вылечишь, получишь большую награду, а если больной умрет — посажу на кол и сожгу на костре. Лечи! Начинай!

Осторожными движениями рыжий знахарь подполз к неподвижному Бату-хану. Юлдуз-хатун встрепенулась, готовая своей грудью охранять больного. Хан Орду вытащил из ножен тонкий блестящий кинжал и тоже приблизился.

Арабский знахарь коснулся рукой щетинистого смуглого темени Бату-хана. Он взял его исхудавшую руку — она была беспомощна, эта мускулистая рука, недавно натягивавшая могучие поводья всего татарского войска.

Знахарь покачал головой, приблизил ухо к оскаленным зубам больного, послушал биение сердца и резко отшатнулся. Снова прислушался, сделался мрачным и стал дрожать.

— Я боюсь!— прошептал он.

— Не смей отказываться! Лечи!— прохрипел, отдуваясь, Орду и ткнул в плечо знахаря острием кинжала.

— Я боюсь, что уже... Я боюсь... У меня нет с собой нужного целебного зелья мудреца Сулеймана, сына Дауда,— да будет над ними мир!

Дафни воскликнула:

— А византийская царевна Дафни лечить не боится! Я знаю эту страшную болезнь, когда лицо больного

покрывается золотисто-желтым налетом. Это —«золотая лихорадка».

— Он не мудрый табиб[1], а трусливый червяк!—пробормотал, отдувая губы, хан Орду.— Ты, румийская царевна, приступай к лечению. Но помни: если джэхангир умрет, то его погребальный костер будет полит твоей кровью. Если же мой младший брат встанет, то ты получишь девяносто девять подарков и косяк отборных кобылиц.

— И свободу?

Орду на мгновенье задумался и добавил:

— Клянусь девять раз вечным синим небом, ты получишь также свободу.

Загадочная улыбка скользнула по бледному лицу гречанки. Дафни легко поднялась, притянула к себе ковровый мешок и достала из него серебряную коробочку. Из нее она вынула девять темных шариков, зажала в ладони и, приблизившись к больному, опустилась перед ним на колени. Нежными, тонкими пальцами она отодвинула черную жесткую косу Бату-хана и слегка прикоснулась к неподвижным векам закрытых глаз... Затем резко повернулась к хану Орду:

— Теперь надо лечить быстро! Смерть надвигается! Пусть этот краснобородый знахарь тоже мне помогает.

Рыжий лекарь замахал руками:

— Невозможно! Ты взялась лечить, ну, сама и лечи!— Он поднял глаза кверху и стал бормотать заклинания на непонятном языке.

Орду, подняв руку с кинжалом, другой дернул знахаря за рыжую бороду и грозно закричал:

— Помогай, рыжая лисица!

Лекарь замолк и быстро подполз к гречанке. Он внимательно стал рассматривать темные шарики, лежавшие на узкой ладони.

— Что это?

— Будто бы ты не знаешь?— певучим голосом усмехнулась Дафни.

— С виду мускатные орехи... Но на каждом нарисован глаз мудреца Сулеймана. Он один знал скрытое.

— Ты сказал истину. Теперь ты будешь исполнять мои приказания. Поджарь в бронзовой чашке эти

[1] Т а б и б — врач, лекарь.

орешки. Истолки и разотри их в порошок. Разведи в чашке воды. Дай больному отпить три раза: сейчас, после полудня и под вечер. Мне, как дочери царского рода, не подобает заниматься простой работой, какую исполняют такие рабские лекаря, как ты. Но я буду сидеть около больного, неотступно следить и ждать. Скоро великий джэхангир будет здоров и силен, скоро сядет на боевого коня.

Дафни, подобрав под себя ноги, опустилась рядом с Юлдуз-хатун, сложила руки на коленях и скромно опустила глаза.

Лекарь принялся за работу. В бронзовой чашке, на углях костра, затрещали девять орешков. Они затем были растерты в маленькой медной ступке. Высыпаны в чашку с водой. Костяная ложечка долго размешивала лекарство.

— Это зелье ты сама попробуешь, первая!— свирепо прохрипел хан Орду.

— Но и ты попробуешь тоже, со мной вместе!— воркующим голосом пропела Дафни.

Лекарь дал отпить из чашки гречанке. Потом, сопя, отпил хан Орду. Причмокивая, он сказал:

— Очень горько!

Лекарь нагнулся к лежавшему неподвижно Бату-хану. Повернул его беспомощную голову с закатившимися полузакрытыми глазами. Долго бился он, пока удалось раздвинуть крепко сжатые зубы, а Дафни влила в рот лекарство, растекавшееся по щеке.

Все ждали, впиваясь взглядами в суровое лицо Бату-хана.

Дафни уверенно сказала:

— Теперь он будет спать. Блуждавшая в заоблачном мире душа джэхангира вернется в свое тело...

Гречанка метнула загадочный, чарующий взгляд зеленых глаз на хана Орду и, вздохнув, снова их опустила.

Орду завозился, оправляя пояс, и вложил в ножны блестящий кинжал.

Снаружи донеслись женские причитания и плач.

— Эй-вах! Беда! Какая великая беда!— простонал Орду, схватившись за голову.— Это идут «украшения вселенной», прекрасные жены джэхангира!.. Они своими жалобами и плачем снова погубят моего брата!..

Глава четвертая

«УКРАШЕНИЯ ВСЕЛЕННОЙ»

В шатер вошли три молодые женщины в пышных цветных шелковых одеждах, в златотканых шапочках, каждая из которых была украшена длинным драгоценным пером белой цапли. Они наполнили шатер громкими стонами, жалобным всхлипыванием и причитали, стараясь перекричать друг друга:

— Наш обожаемый повелитель умирает! Мы останемся сиротами! Кто станет о нас заботиться!.. Не покидай нас!

— Молчать!— заревел свирепо Орду.— Или сидите тихо, или я вас прикажу завернуть в ковры и отправить к вашим родителям.

Три жены затихли и, переглядываясь, уселись в стороне, изредка всхлипывая. Все молчали. Негритенок, обняв колени руками, уже спал. Царевна Дафни, грациозно облокотившись на свой ковровый мешок, как будто дремала. Изредка она приоткрывала один глаз и наблюдала, что происходит в шатре. Хан Орду лег на бок и захрапел. За ним, с тонким присвистом, захрапел арабский лекарь. Нукер у входа дремал стоя, опираясь на копье.

Тогда три жены стали подползать к Юлдуз-хатун. Слышались их голоса:

— Ты думаешь, что ты, Юлдуз-хатун (госпожа)? Ты тварь подлого происхождения и навсегда останешься Юлдуз-каракыз (черная девка)!

— Разве мы не знаем, что ты выделываешь тайком?

— Ты всегда делаешь подлости!

— Ты обманываешь нашего доблестного повелителя с обласканным и возвеличенным простым нукером по имени Мусук...

— Он так же подл и коварен, как кошка (мусук). Он не знает благодарности и преданности!

— Джэхангир болен потому, что ты его отравила!

Юлдуз-хатун, точно защищаясь от ударов, плотнее закуталась с головой в черное покрывало и молчала.

— Ты давно околдовала джэхангира, ты опасная змея!

— Уходи отсюда, пока мы тебя не задушили! Это наша забота, старших жен, находиться около повелителя.

— Мы его вылечим нашими молитвами, мы ему откроем правду!

Внезапно шубы отлетели в сторону. Бату-хан резко поднялся и выпрямился. Три жены припали к его ногам.

— Наконец ты очнулся, ослепительный! Ты будешь снова сверкать, наш алмазный, драгоценный повелитель, и теперь навсегда останешься с нами!

Бату-хан заговорил громко, твердым, звучным голосом:

— Нукер, кто из высоких темников этой ночью в дозоре?

Тот, очнувшись, ответил:

— Внимание и повиновение! Они в соседнем шатре: Бурунтай, Курмиши и старый Нарин-Кэхэн.

— Пришли их сюда. Скажи также Субэдай-багатуру, брату Шейбани и хану Мункэ, чтобы поспешили ко мне. Я созываю военный совет.

— Внимание и повиновение!— ответил нукер и вышел.

На его место встал другой вошедший нукер. Хан Орду очнулся и поводил налитыми кровью глазами, еще не соображая, что произошло.

Бату-хан, оттолкнув ногой цеплявшихся жен, шатаясь, подошел к Орду, сел рядом и обнял его.

— Мой почтенный старший брат, ты примчался издалека, чтобы спасти меня и отогнать злых духов болезни. Ты всегда был мудрым старшим братом, моим верным защитником и спасителем. Я твоя жертва, я твой нукер.

Неуклюжий толстый Орду прижимался к Бату-хану, лизал его щеки[1] и шептал в ухо:

— Я знаю, что тебе суждены великие победы... Я примчался, чтобы убрать камни с твоего пути и отогнать желтоухих, завистливых предателей!

Юлдуз-хатун подбросила сухих веток в костер. Тени забегали по стенам шатра.

Вошли три темника, еще заспанные, вытирая рукавами рты: высокий, тощий и желтый, как луковичная шелуха, Бурунтай; широкий, коренастый, с длинными

---

[1] Монголы не знали поцелуя.

лошадиными зубами Курмиши и старый, сморщенный, как гриб, Нарин-Кэхэн, с согнутой спиной и шаркающими слабыми ногами. За ними ввалился грузный, волочивший ногу, одноглазый полководец, знаменитый Субэдай-багатур.

Бату-хан выжидал, пока прибывшие пали ниц и выпрямились, сидя на пятках. Затем заговорил торжественным голосом:

— Мои верные слуги, темники Бурунтай, Курмиши и Нарин-Кэхэн! В походе на русов и в боях с кыпчакскими войсками вы оказали сотни услуг. Вы не знали отступлений, вы приносили победы. Я давно хотел наградить вас достойно. Храбрый темник Бурунтай, победитель в битве с русами при реке Сить, тебе я уступаю драгоценность, одну из моих семи блистающих звезд — жену Ерке-Хара-Нюдюн («Власть черных глаз»)! Тебе, верный сотник Курмиши, я дарю другое сокровище — Аля-Миндасун («Шаловливую нитку»). Я знаю, что ты будешь эту нитку крепко держать в зубах,— тебя на ласку не обманешь, на хитрость не возьмешь! А тебе, почтенный сподвижник моего деда, великого воителя, храбрый Нарин-Кэхэн,— тебе я дарю эту самую молодую красавицу Набчи («Сладость жизни»). Ты будешь с ней наслаждаться в благоденствии и радости...

Три темника пали ниц, а жены стали отчаянно плакать и молить:

— Не отдавай нас! Не отпускай нас от себя! Прости наши ошибки, вызванные любовью к тебе, наш светлый повелитель!

— Вы будете жить спокойно и счастливо у заботливых мужей. А здесь вы болтали, как сороки... Вы говорили слова нестираемые, как царапины соколиных когтей... Уходите!

— У нас не будет счастья без тебя! Верни нас! Не отдавай!

Бату-хан махнул рукой:

— Нельзя схватить рукой сказанное слово, нельзя метнуть утерянный аркан! Темники, уведите ваших жен! Сейчас здесь будет военный совет, а на нем не могут присутствовать жены темников. Скорее!

Три темника грубо ухватили женщин и поволокли из шатра. Хан Орду сказал:

— Нукер! Отведи рыжую лисицу и мальчика к бли-

жайшему юртчи[1]. Пусть он их допросит. Потом я сам буду говорить с ними. А ты, румийская царевна, получишь обещанный косяк отборных кобылиц.

— И свободу и девяносто девять подарков?— пристально глядя в глаза Орду, сказала Дафни.— Хан Орду двух слов не говорит.

— Свою судьбу ты узнаешь потом, а пока будешь жить в соседней юрте.

Нукер с гречанкой, рыжим лекарем и негритенком вышли. Бату-хан опустился на подушки и стал смеяться сухим, деревянным смехом. Его лицо, всегда суровое и непроницаемое, избороздилось складками. Довольный, он взглянул на маленькую жену Юлдуз-хатун, сидевшую у стенки. Она испуганно смотрела ясными, недоумевающими глазами на своего господина. Бату-хан снова нахмурился и сказал:

— Для того чтобы верно управлять, нужно все знать. За эти тяжелые дни моей болезни, когда все думали, что я ничего не слышу, я узнал многое и понял, как следует повести войска на запад, на «вечерние страны», до «последнего моря», где каждый день тает солнце, и на все земли опустить могучую лапу монгольского степного беркута...

Глава пятая

АРАБСКИЙ ПОСОЛ У ТАТАРСКОГО ХАНА

Когда Абд ар-Рахман вошел в просторный шатер, расшитый цветами, аистами и золотыми драконами, он остановился при входе, желая понять, кто из находившихся здесь был главный татарский хан.

Около десяти монгольских военачальников все в обыкновенных долгополых синих одеждах, перетянутых ременными поясами, сидели полукругом на большом персидском ковре.

Абд ар-Рахман боялся выразить почет не тому, кому следует, и показаться смешным. Он сделал шаг вперед, опустился на колени, сел на пятки и, смотря прямо перед собою, не обращаясь ни к кому, заговорил:

[1] Юртчи — лицо, ведавшее выбором места для кочевья и распределением в нем мест.

— Великий святейший халиф земель и народов ислама приветствует храброе татарское войско, его молодого владыку и желает ему здоровья и бесчисленных побед...

Сидевший в стороне на коленях престарелый толмач немедленно переводил, слово за словом, все сказанное с арабского языка на татарский.

— Халиф всех правоверных направил меня, последнего потомка славного арабского полководца Абд ар-Рахмана, разбившего некогда войска франков, к тебе, владыка всех татар, с просьбой разрешить мне участвовать в походе непобедимого татарского войска и посылать донесения о новых ослепительных победах и о завоеванных тобою вражеских землях...

Один из сидевших, толстый и одноглазый, с багровым шрамом через все лицо, сказал:

— Если на нас нападут враги, будешь ли ты, так же как и мы, защитой нашего владыки Саин-хана, внука «покорителя вселенной», или твой светлый меч останется дремать в ножнах?

— Я воин, и мой меч в этом походе будет послушен каждому слову татарского владыки.

Тогда заговорил молодой монгол. Казалось, он ничем не отличался от остальных, но в резком голосе и пристальном взгляде узких черных глаз чувствовалась привычка повелевать:

— Если ты потомок великого полководца арабов и прибыл сюда как друг, то можешь оставаться близ меня, когда я двину мои непобедимые тумены на «вечерние страны». Разрешаю тебе писать донесения халифу Багдада и посылать их с твоими гонцами, и я не буду спрашивать и проверять, что ты написал. Но ты должен говорить мне правду обо всем, что увидишь...

— Слава твоему мудрому решению!— сказал Абд ар-Рахман, поняв, что говоривший с ним и есть монгольский владыка Бату-хан.

Бату-хан продолжал:

— А сейчас расскажи нам о твоем славном предке и его битве с франками.

— Прежде чем начать рассказ, позволь мне положить к твоим ногам присланные моим повелителем дары.— Он слегка обернулся назад.

— Я здесь!— прошептал стоявший близ входа Дуда

Праведный. На коленях он подполз к Абд ар-Рахману и передал завернутые в пеструю шелковую ткань подарки.

Тот развернул и положил перед Бату-ханом: саблю в бархатных зеленых ножнах, украшенную драгоценными камнями, золотой кубок, небольшую книгу корана в кожаном переплете, искусно покрытом золотым узором, два кинжала с рукоятками из слоновой кости и много других драгоценностей.

Бату-хан равнодушно смотрел на разложенные подарки и вдруг протянул руку к простому золотому перстню с темным камнем, казавшимся то зеленым, то темно-красным.

— Я вижу на этом перстне надпись. Какую она имеет силу?

Абд ар-Рахман сказал:

— Это перстень величайшего мудреца Сулеймана, сына Дауда, знавшего тайное. Этот перстень приносит счастье, исполняя желания того, кто его носит. На нем вырезаны слова аллаха: «Да будет так!»

Бату-хан показал перстень толстому, сидевшему рядом с ним монголу с рассеченным лицом. Тот одобрительно кивнул головой и надел его на указательный палец Бату-хана, сказав:

— Это достойный подарок!— И, повернувшись к Абд ар-Рахману, прибавил:— Мой владыка тебя благодарит. Когда он одержит девятьсот девяносто девять побед, то посмотрит на этот перстень и скажет: «Да, случилось так, как захотел аллах!» А теперь он ждет твоего рассказа...

Глава шестая

РОЖДЕНИЕ «НЕБЕСНОЙ» СТОЛИЦЫ

Налетевший холодный вихрь ворвался, откинул дверную занавеску внутрь шатра, разметал тлевший огонек костра и окутал дымом всех сидящих.

Великий военный советник Субэдай-багатур сказал:

— Это прилетел бог войны Сульдэ проверить, скоро ли войско выступит? Не променял ли джэхангир свою благородную воинскую славу на мирную постройку сво-

ей столицы и просторных складов для заморских купцов?

Все льстецы остолбенели. Только один Субэдай-багатур, старый воспитатель (аталык) Бату-хана, мог говорить таким независимым голосом, как бы с осуждением. Бату-хан обвел собравшихся пытливым колючим взглядом и спросил:

— А кто мне ответит: что такое слава?

Полукругом сидели, повернув голову в сторону Бату-хана, несколько главных военачальников, арабский посол Абд ар-Рахман и несколько льстецов-ханов, умевших шутить и рассказывать веселые случаи из жизни людей. Субэдай-багатур ответил первый:

— Слава — это одержанная победа. Чем больше побед, тем ослепительнее слава.

Строитель ханского золотого дворца, искусный китайский архитектор Ли Тун-по, почтительно заметил:

— Слава не только победа на поле брани. Если правитель заботится о благе народа, строит новые города, справедлив к подданным, не облагает население непосильными налогами, дарит благополучие всем шатрам своего племени,— его называют доблестным, справедливым, Саин-ханом, и он пользуется любовью подданных и немеркнущей славой. Истинная любовь народа — это слава!

Арабский посол Абд ар-Рахман сказал:

— Слава — это то, к чему мы все стремимся. И мы ее добудем с помощью нашего светлого меча! Слава — это власть над другими покоренными народами.

Саин-хан, как все привыкли называть Бату-хана, обратился к своему летописцу и звездочету Хаджи-Рахиму:

— Мой мудрый учитель! Ты знаешь многое. Почему Искендер Двурогий до сих пор пользуется немеркнущей славой среди народов всех наших земель?

— В старой книге написано: «Искендер Великий, покорив всех, кто становился на его пути, в то же время оставался милостивым к новым, вошедшим в его царство народам. Он их не притеснял, а делал своими равноправными детьми. Поэтому слава Искендера Двурогого — истинная, вечная слава!»

— Нет, это неверно!— сказал Бату-хан.— Разве создал Искендер Двурогий нечто такое, что несокрушимо

стояло бы после его смерти? Его царство развалилось... Его молодая прекрасная жена, персианка Роушанак, вместе с единственным сыном, наследником царства, созданного Искендером, была брошена в тюрьму и затем задушена его же друзьями, товарищами боевых походов. Они, объявив себя новыми царями, растерзали его владения на части, постепенно растаявшие, как лед на солнце.

Все сидевшие переглянулись, послышались тихие возгласы восхищения, а Бату-хан продолжал:

— Владыка, стремящийся к славе, должен воздвигнуть сооружения, которые возвещали бы его славу и после смерти много лет, сотни лет!

— Верно! Как это мудро сказано!

— Вы сейчас присутствуете при рождении небывалого великого дела, при возникновении нового, чудесного государства, вырастающего в бывших пустынных степях... Вы стоите возле колыбели, где лежит только что родившийся младенец... Он подрастет и станет могучим богатырем, который сорвет с солнца сияющий венец...

Бату-хан замолк. Послышались вопросы:

— Скажи имя этого богатыря? О каком новом небывалом сооружении ты говоришь? Разве мы не идем завоевывать другие народы, громить их и бросать под копыта наших лошадей? Вероятно, это и будет новое невиданное монгольское царство, или, может быть, кыпчакское?

— Нет!— сверкнув глазами, воскликнул Бату-хан.— Оно не может быть названо монгольским потому, что такое уже существует — монгольское царство великого кагана и его столица Кара-Корум и прославляется как создание моего деда «потрясателя вселенной». А у меня в моем большом войске монголов очень мало, всего четыре тысячи воинов моей охраны!.. Это царство не может быть также названо кыпчакским, потому что в него входит много всяких других народов. Кыпчаки могли бы возгордиться, а гордиться им нечем: они боролись против меня, а я их покорил и заставил служить мне.

Мудрый Ли Тун-по спросил:

— Как же ты назовешь это блистающее, как солнце, невиданное царство?

Бату-хан спокойно, косясь на внимательно слушавших его ханов, сказал:

— Могучее царство Бату-хана — Синяя Орда. Это небесное царство призвано небом повелевать народами всех стран вечно, десять тысяч лет. Это и будет немеркнущая слава моя — повелителя вселенной!





Часть четвертая

НОВГОРОДСКИЙ ПОСОЛ У БАТУ-ХАНА

Глава первая
ДОПРОС РУССКИХ ПЛЕННЫХ

В многолюдном лагере Бату-хана в небольшой войлочной юрте сидел на ковре Хаджи-Рахим, придворный летописец грозного татарского владыки, и, склонившись над «Путевой книгой», при слабом мерцании глиняного светильника, старательно выводил арабской вязью свои ежедневные записи.

Вот что он писал:

«Я не раз слушал речи Саин-хана и убеждался, что

он очень встревожен известиями с севера, из богатого русского торгового города, имеющего гордое название: «Господин Великий Новгород».

Это, кажется, самый свободолюбивый, а потому и опасный город русов. Он не испытал еще на себе тяжести могучей, властной монгольской руки. Когда Бату-хан, два года назад, двинулся с войском на север, он, несмотря на все усилия, не смог дойти до Новгорода и, едва не утонув в болотах, повернул обратно.

Может быть, поэтому вольнолюбивые новгородцы, считая себя непобедимыми и недоступными для врагов, обращаются со всеми гордо и заносчиво, не боясь своих воинственных соседей.

Я слышал, что Бату-хан давно хочет послать в Новгород войско, и помню его слова: «Когда Субэдай-багатур весь новгородский край обратит в золу и пепел, а жителей его погонит для продажи в неволю, только тогда на северной границе моей Орды воцарится спокойствие назарестана (кладбища)».

Утром, во время приема гостей, в шатре Бату-хана произошло следующее: пришел любимый телохранитель Бату-хана Арапша и сказал:

— Саин-хан! Твое приказание исполнено. Ты пожелал увидеть пленных русов, которые раньше бывали на севере и видели богатый город Новгород. Среди находящихся у нас пленных я выбрал двух, особенно толковых. Они могут рассказать тебе многое.

— Приведи их ко мне. И пусть Субэдай-багатур тоже придет сюда, а всем находящимся здесь я передаю мой «салям».

Бывшие на приеме гости тотчас вышли, кланяясь и шепча молитвы и пожелания. Остались только Хаджи-Рахим и вскоре пришедший Субэдай-багатур.

Арапша вернулся с двумя пленными русскими. Один был высокий, очень тощий старик, с длинными белыми, как серебро, волосами. Багровый шрам пересекал его лицо. Другой молодой, с живыми, сметливыми глазами, широкоплечий, почти такого же роста, как старик. Обычно пленные ходили босые, в отрепьях, но для того чтобы явиться перед владыкой татарской орды, их приодели в малопоношенные халаты и кожаные кавуши. Из предосторожности руки обоих были туго закручены ремнями.

Опираясь на короткое копье, Арапша стоял близ русских, следя, чтобы они не сделали чего-либо недозволенного. Он понимал русскую речь и стал переводить ответы пленных.

Батый сперва расспросил: откуда они родом, где были захвачены, знают ли Новгород?

Старик отвечал не колеблясь и, по-видимому, правдиво.

— Зовусь я Савва Бобровник. Жил прежде в лесу, выслеживая бобров и охотясь также на других зверей. Часто ездил в Переяславль, отвозил дичину и всякие меха князю нашему Ярославу Всеволодовичу. А этого молодца зовут Кожемяка. У него руки сильные, и он при выделке может хорошо мять конские и бычьи кожи. Два года назад захватил нас татарский разъезд в верховьях Волги. Отбивались мы тогда, да не удалось уйти: целый десяток на нас двоих навалился.

— Был ли ты в Новгороде? Кто там правит?

— Бывал много раз за свою долгую жизнь и даже живал там по году и более. Правили в Новгороде бояре, да между собой плохо они ладят. Когда же наступает тяжелая година или сами бояре договориться не могут, а на нашу землю напирают немцы да шведы...

— Это кто же такие?

— Это те народы, что живут по соседству с Новгородом, жадные до чужой земли,— быстро ответил молодой пленный.

— Постой, Кожемяка, дай я доскажу,— продолжал старик.— Как увидят новгородские бояре-спорщики, что им беда грозит,— посылают они тогда своих послов к переяславльскому князю Ярославу Всеволодовичу просить, чтобы поспешил он выручить Новгород из беды. Князь сейчас же приходит в Новгород со своей дружиной и наводит порядок и тишину.

— А какие у него полки, у этого князя?— спросил Бату-хан.

— Князь Ярослав своими полками славится,— сказал с гордостью Савва.— Каждый ратник у него — точно песня! Как въезжают в город его полки на холеных конях, ощетинясь копьями и сверкая серебряной броней, народ на улицы выбегает, славу поет переяславльским ратникам.

Бату-хан нахмурился.

— Серебряная броня на воинах — это еще не все. А показал ли коназ Ярослав свою смелость и удачу в бою с врагами?

— Показал, да еще как! — ответил Савва.— Года четыре назад я вместе с новгородскими охотниками вступил в дружину, которую призвал себе на помощь князь Ярослав, чтобы отбросить напиравшие немецкие отряды. Они рвались захватить и покорить Новгород. Бились мы на реке Омовже[1], где князь разметал врагов и половину утопил подо льдом.

— А кто был у коназа Ярослава помощником?

— Славные были воеводы. А самым верным помощником был его сынок, княжич Александр. На то не гляди, что ему тогда было годов пятнадцать. Князь Ярослав дал ему отдельную сотню, и княжич смело бился против врагов, как заправский воин.

— Я об этом Искендере уже слышал,— сказал Бату-хан.— Мне доносили, что он теперь правит Новгородом, дружина его растет и он становится опасным. Великие полководцы, как Искендер Двурогий и другие, уже в юности проявляли дерзость и отвагу в воинских делах. Мне надо больше знать об Искендере Новгородском. Может быть, мне еще придется встретиться с этим подрастающим беркутом, выкормленным в снегах северной земли. Нукеры! Уведите пленных!

Тотчас же явились два нукера и сделали знак русским удалиться. Пятясь и кланяясь, оба пленных уже почти достигли выхода, когда Бату-хан неожиданно крикнул:

— Стойте! Скажите мне еще, сколько войска у новгородского коназа?

Старик замялся. В это мгновение Кожемяка, будто зацепившись за ковер, навалился на него и шепнул:

— Придержи язык-то!

— Хан милостивый,— медленно сказал Савва,— неведомо нам это. Я из дружины в та поры ушел и в лесу жил. Кто ж его знает, сколько войска у князя стало!

Бату-хан сдвинул брови:

---

[1] Омовжа (Эмбах, Эмайнги) — река, впадающая в Чудское озеро. В устье ее в 1234 году произошла битва между новгородским войском и германскими рыцарями, окончившаяся победой новгородцев.

— Ступайте вон!

Пленные еще раз поклонились и исчезли за дверной занавеской.

— А мне нравится этот молодой коназ Искендер,— заметил Субэдай-багатур.— Видно, что он прирожденный смелый воин. Я бы назначил его тысячником, начальником отряда пленных русов, который пойдет с тобой на «вечерние страны».

— Пока я пошлю проверить, что замышляет этот коназ,— сказал Бату, пристально глядя на Арапшу.— Тебе поручаю я это важное дело.

— Внимание и повиновение!— ответил Арапша.

— Ты поедешь в Переяславль, а может быть, и дальше в Новгород. Там ты разузнаешь, что теперь делает и что замышляет беспокойный молодой коназ Искендер. Возьмешь с собой десяток самых надежных нукеров. Через них ты будешь присылать мне донесения. Отправиться должен сегодня же.

— Будет сделано, великий,— ответил Арапша и стремительно вышел.

Глава вторая

ИДУТ РУССКИЕ ПЛОТЫ

Бату-хан со своими приближенными находился на верхней площадке «золотого домика». Он получил тревожные известия с южного побережья Абескунского моря, что там один из его родичей хан Хулагу собирает войско, посылая отдельные отряды на север, к реке Куре на границе Синей Орды, и что эти отряды затевают стычки, стараясь захватить пленных и разведать от них все, что возможно, о войске Бату-хана.

Приехавший с этим донесением сотник, старый и опытный монгол, еще помнивший Чингиз-хана, на вопросы темников отвечал убежденно, что с юга надвигается война: хан чингизид Хулагу хочет напасть на ставку Саин-хана.

Все посматривали на Бату-хана — как он отнесется к этому известию?

Ничто не изменилось на сухом холодном лице Бату-хана. Он, как обычно, внимательно выслушал сотника, но свое мнение затаил про себя.

Быстро поднявшийся на площадку нукер доложил, что с севера, из кыпчакской степи, прибыл на взмылен-

ном коне второй вестник и тоже просит лично сообщить «непобедимому» важные новости.

— Приведи его!

Вошел молодой кыпчакский воин в хорезмском полосатом халате и желтом кожаном малахае с лисьими отворотами. Он бросился Бату в ноги, поцеловал ковер между руками и отцепил от серебряного пояса чернобурую лисицу с длинным пушистым хвостом, разостлав ее перед троном.

— Берегись, великий хан!— воскликнул он, оставаясь на коленях.— На тебя по реке плывет войско русов. Я прискакал, чтобы сказать: готовься к битве!

Слегка сдвинулись брови у Бату-хана, сейчас же лицо его снова приняло обычное невозмутимое выражение. Он встал и подошел к решетке, окружавшей площадку. В лучах яркого солнца широко раскинулся беспорядочно строящийся город, где наспех слепленные домишки терялись в кольцах кочевых юрт. На север уходила бесконечная даль серебряной широкой реки. Солнечные блики сверкали на ней, как прыгающие золотые рыбки.

Гонец, указывая рукою вдаль, повторял:

— Гляди туда! Видишь, вниз по реке к нам плывут русы. Они замыслили недоброе.

— Но где же их корабли? Я не вижу ни мачт, ни парусов.

— Их нет. Это связанные длинные бревна, на которых поставлены маленькие соломенные юрты, в них прячутся русы. Такие связанные бревна русы называют «плоты». Их плывет много: я сам насчитал пятьдесят или больше...

— Слушайте, смотрящие мне в глаза!— воскликнул Бату-хан необычно звенящим, радостным голосом.— Этот новгородский коназ Искендер оказался мне верным: он выполнил, то, что обещал. Это он мне посылает бревна для постройки дворцов в моей будущей столице Мира. А тебя я хочу отблагодарить, кыпчакский воин, за твой зоркий глаз, за радостную весть. Тургауд, принеси для доброго вестника самаркандский халат!

Русские плоты, связанные из вековых огромных стволов, приплыли не без труда из глубины муромских лесов до Нижнего-Новгорода, чтобы плыть дальше по широкому раздолью великой реки. Пристав к берегу, они по-

дождали обоз, собранный князем Александром. Плоты сопровождали длинные лодки «дубовики». В них сидели гребцы, направлявшие плоты и следившие, чтобы на поворотах реки они не налетели на берег.

Всем гребцам и плотовщикам были обещаны большие награды хана и свобода их родичам, томящимся в татарской неволе. И плоты, наконец, двинулись по широкому раздолью великой реки в понизовье к татарам немилостивым.

Почти весь путь погода стояла тихая...

— Это заступничество матери божией. Она, милосердная, нас оберегает на добром начале!— говорили плотовщики.

Только раза два надвигались тучи, неистово хлестал дождь и принимался бушевать ветер, поднимая большие серые волны. Тогда главный «вата́ман» каравана Авксентий приказывал приставать к берегу и выжидать, пока уляжется непогода и успокоится своенравная река.

Наконец вдали показались золотая точка и несколько стройных тонких башенок над бесчисленными войлочными юртами и домишками, сооруженными из глины, камыша и камней. Плотовщики поняли, что татарская ставка близко. У берега поднимались мачты небольших кораблей. Все голоса затихли, и только Волга ласково плескала волны на скрипучие древесные кряжи, связанные рядами с помощью липового крепкого лыка.

И вдруг откуда-то издалека донеслась протяжная, заунывная песня:

Уж как пал туман на сине́ море,
А злодей-тоска на ретиво́ сердце...

А ведь это наши поют! Вот где довелось услышать родную песню!

Навстречу плотам уже быстро приближались лодки с русскими гребцами. В лодках сидели вооруженные монголы в пестрых ярких одеждах. Причалив к плотам, гребцы закричали:

— Откуда, православные, вас бог принес?

— Новгородские мы! Плывем по приказу нашего князя Александра Ярославича. Надумали выручать вас из неволи.

Монголы, зацепившись баграми за плоты, хотели взобраться, чтоб посмотреть соломенные и деревянные

шалаши, но строгий старший плотовщик приказал никого на плоты не пускать:

— Надо стеречь новгородские дары! Не допускайте никого, иначе ироды все растащат!

Авксентий приказал отвязать собак, и огромные псы забегали по лесинам, перескакивая с плота на плот, злобно и оглушительно лая на всех подплывавших близко.

Плоты пристали к берегу верстах в трех выше татарского становища, и возле них сейчас же выросла Батыева стража. Узнав о прибытии земляков, русские пленники отовсюду бегом кинулись к берегу реки. Худые, изможденные, обросшие длинными волосами, в жалких отрепьях, они, в чем были, бросались в воду, взбирались на бревна и расспрашивали: кто и откуда родом, надеясь среди прибывших найти родное, близкое лицо, узнать что-либо о своих земляках.

Глава третья

МЕДВЕЖЬЯ ПОТЕХА

Бату-хан приказал самые ценные подарки, привезенные из Новгорода русским послом, собрать во дворе «золотого домика» и пригласил Гаврилу Олексича прийти туда на утро следующего дня. «Пусть не забудет о медведях»,— напомнил он через своего векиля.

Гаврила Олексич сам внимательно следил, чтобы все подводы в порядке, одна за другой, подъезжали к «золотому домику», где помещалась со своими служанками любимая жена Бату-хана Юлдуз-хатун—«Звездочка, удивление вызывающая».

По два вооруженных дружинника стояли на страже около каждой подводы, не подпуская копьями любопытных монголов. Посреди двора был вкопан прочный столб; к нему привязали цепями одного из медведей: был он страшен, свирепо ревел, рыл лапами землю и пробовал своротить столб.

Другой медведь, привязанный к подводе, лежал в обнимку с небольшим окованным сундуком, в котором хранились серебряные сосуды и драгоценности, присланные новгородцами для выкупа пленных.

А с той стороны дворца, где обычно привязывались кони приезжавших к Бату-хану гостей, красовался уди-

вительный конь-великан, присланный князем Александром Бату-хану. Все поражало в этом красавце: и седло иноземного образца, просторное, как кресло, и широкие стремена, и чепрак с вышитым на нем золотым львом с поднятым мечом в когтистой лапе. Это был конь, отнятый у побежденного противника, шведского воеводы.

Длинные кожаные трубы-«карнаи» хрипло заревели, когда на крыльцо дворца вышел Бату-хан в парчовом халате, с мечом у пояса, украшенным драгоценными камнями. Хан уселся на низком широком троне с золочеными драконами по сторонам. Этот трон, вывезенный из китайского дворца, принадлежал еще деду, «потрясателю вселенной» Чингиз-хану, и Бату-хан берег его как символ власти грозного завоевателя.

Рядом с троном, слева на ковре, на шелковых подушках, расшитых золотыми узорами, поместился молодой посол багдадского халифа Абд ар-Рахман, присланный к Бату-хану, чтобы сопровождать его в походе на «вечерние страны». Далее расположились военачальники. Справа от трона сидел непобедимый угрюмый Субэдай-багатур, воспитатель и военный советник Бату-хана, сверкая своим единственным глазом.

Плоская крыша дома вдруг расцветилась, будто сказочными птицами,— это жены Бату-хана и некоторых его приближенных вышли полюбоваться невиданным зрелищем и расположились на коврах вдоль узорчатой решетки.

После второго призыва карнаев раскрылись ворота и показался молодой новгородский посол Гаврила Олексич. Он был в серебряной кольчуге, в блистающем шлеме и в таких же перстатицах и налокотниках. Всех поразило его юношеское лицо, смелый, открытый взгляд светлых глаз. Он был намного выше сопровождавшего его рослого монгола-переводчика и всей своей могучей фигурой напоминал сказочного богатыря.

Подойдя к трону Бату-хана, Олексич, сняв шлем, опустился на колени, снял с шеи и положил перед собой небольшой серебряный складень, сделанный из трех иконок, поцеловал его и тихо прошептал обычную молитву, которая начиналась: «Да сохранит господь бог нашу родную землю...» Но в шуме толпы дальнейших слов не было слышно.

Бату-хан милостиво указал Олексичу на лежащую у его ног ковровую подушку, приглашая сесть.

В это время конюхи Бату-хана провели взад и вперед диковинного шведского коня и поставили его перед троном. Слуга подал на золотом подносе несколько лепешек, которыми Бату-хан сам кормил коня, гладил и трепал его по крутой шее.

— Как вам нравится этот красавец?— обратился Бату-хан к своим женам, глядевшим с верхней площадки.

— Это конь из сказки, изумительный и невиданный!— воскликнули женщины.— Но мы хотим, чтобы новгородский гость показал нам также своих ученых медведей.

Толмач перевел просьбу женщин. Олексич встал.

— Передай царевнам, что сейчас я покажу им моих питомцев.

Женщины радостно зашумели.

Гаврила Олексич взглянул вверх. Рядом с любимой женой Бату-хана, Юлдуз-хатун, он увидел девушку, в которой все было необычайно: продолговатые черные сверкающие глаза казались драгоценными камнями. Над ними крыльями бабочки трепетали длинные ресницы. Подрисованные темные брови изогнутой линией тянулись от уха до уха. Маленький алый рот загадочно улыбался. Заметив пристальный взгляд Олексича, она протянула гибкую руку с ярко накрашенными ногтями к серебряной вазе, выдернула оттуда розу на длинном стебле и бросила ее со смехом молодому русскому послу.

Схватив на лету розу, Олексич прошептал, нагибаясь к толмачу:

— Что это еще за чаровница?

— Это одна из любимых танцовщиц повелителя, Зербиэт-ханум. Она не только танцовщица, но и соловей. Если джэхангир отдаст ее тебе, не вздумай отказываться,— голову потеряешь!

— Вот еще беда нежданная!— прошептал Олексич. Он приказал своим дружинникам привести медведей и их расшевелить.

— А это не опасно?— спросил Бату-хан.

— В жизни многое опасно,— ответил Гаврила Олексич.— Но если бояться опасности, то и победы не будет, да и жить не стоит!

— Хорошо сказал!

Старый одноглазый Субэдай недовольно замотал головой и крикнул:

— Прислать сюда десять наших пехлеванов[1], пусть стоят наготове!

Два русских дружинника расшевелили медведя, лежавшего на подводе. Он сполз на землю, подхватил небольшое бревно и, держа его на плече, подошел на задних лапах к тому месту, где находился Бату-хан. Он осторожно опустил бревно на землю, затем сел, размахивая передней лапой, как бы прося подачки.

Бату-хан через нукера передал медведю лепешку. Олексич сказал:

— Сейчас, великий хан, этот медведь будет бороться с твоими воинами. Прикажи, чтобы несколько твоих лучших силачей попробовали свалить его на землю.

Гаврила Олексич сделал знак одному из своих дружинников. Тот подошел.

— Кирша, постой около Мишки и проследи, чтобы он вел себя пристойно.

По приказанию Субэдая подошли к медведю три коренастых монгольских нукера. Рядом стоял настороже дружинник Кирша и держал в руке конец цепи, прикрепленный к ошейнику медведя.

Он добродушно сказал медведю:

— А ну-ка, Мишенька, покажи, как у нас в Новгороде козлы бодаются.

Медведь вскочил и с такой неожиданной стремительностью бросился к монголам, что они со всех ног пустились бежать по двору, а зверь погнался за ними, звеня вырванной цепью, под улюлюкание и хохот зрителей.

— Эй, Мишка! — закричал ратник.— Постой! Ступай ко мне! Покажи теперь, как ты любишь свою хозяйку!

Медведь остановился, повернулся и вперевалку подошел к Кирше. Став на задние лапы, он передние положил ему на плечи и розовым языком облизал лицо.

Толмач громко переводил слова дружинника. Монголы приседали от восторга, кричали «кху, кху!», а женщины на площадке хлопали в ладоши, заливаясь звонким смехом.

Олексич сделал знак дружинникам, и они увели мед-

---

[1] Пехлеван — силач, герой, витязь.

ведя обратно к телеге. Жены Бату-хана сверху закричали: «Могут ли русские багатуры бороться с привязанным к столбу большим медведем?»

— Отчего не попробовать! А что получится — увидим! — сказал Олексич.— Эй, дружинники, отвяжите-ка Лешего и приведите сюда.

Вскоре огромный медведь неохотно приблизился к трону Бату-хана. Он был на двух цепях: одна прикована к ошейнику, другая — к широкому кожаному поясу. Шесть дружинников держали натянутые цепи, чтобы медведь не подошел к татарскому владыке слишком близко.

Леший сел, мотая головой и сильно сопя, вдыхая незнакомые запахи, и недоверчиво поглядывал на толпу маленькими злыми глазками.

Кирша подошел к медведю, ударил его по плечу и отступил на шаг.

— Эй, Леший! — сказал, ударяя медведя еще раз.— Зачем ты вчера моего барана задрал? Давай обратно!

Зверь недовольно зарычал.

— Ты зачем прошлый год обидел мою бабку? Зачем задрал ее петуха?

Медведь еще сильнее стал мотать головой, как бы отрицая возводимую на него вину.

— Ты что головой мотаешь, ровно отнекиваешься? — шутливо дразнил его Кирша.— Разве я не дело говорю? Давай бороться: кто победит — тот и прав. Покажи свою силушку, ведь ты нынче к новому хозяину переходишь. А ну-ка, вставай! — И ратник ткнул медведя концом сапога.

Медведь обхватил лапами ногу Кирши; тот схватил его за уши, и зверь оставил ногу. Он ловко поднялся на задние лапы и пошел, покачиваясь, на отступавшего ратника.

Вдруг он стремительно бросился на медведя и обхватил ремень на поясе. Страшным напряжением Кирша слегка приподнял медведя и, поддев плечом, сбросил на землю.

Медведь проворно вскочил и с диким ревом снова кинулся на Киршу. Толпа замерла.

— Еще хочешь бороться? — сказал Кирша.— Ну, теперь будем в обнимку.

Человек и медведь схватились крест-накрест и стали, раскачиваясь, топтаться на месте. Ратник наступал на

медведя и вдруг быстрым неожиданным движением, сделав «подножку», опрокинул его на землю.

По толпе пронесся крик ликования. Вытирая катившийся пот, ратник спокойно отошел в сторону. Олексич тихо сказал дружинникам, державшим концы цепей:

— Теперь привязывайте его к столбу, а то он и впрямь задерет Киршу. Чую: серчать начал!

Дружинники оттянули цепи и намотали их вокруг столба. Медведь, упираясь и задрав морду кверху, недовольно ворчал. Оказавшись возле столба, он стал его царапать и трясти.

Бату-хан подозвал переводчика и что-то тихо спросил у него.

Толмач наклонился к уху Гаврилы Олексича.

— Наш великий джэхангир очень доволен и хочет оказать милость тебе и твоим нукерам. Он спрашивает, чего жаждет твое сердце.— И еще тише добавил:— Проси прекраснейшую розу его сада, и он тебе ее отдаст.

Гаврила Олексич ему не ответил. Он быстро встал и, обратившись к Бату-хану, горячо заговорил:

— Великий хан! Я видел твою столицу, которая начинает расти и расцветать, как сказочный цветок. Здесь люди богатеют, а отъезжающие гости разносят по свету рассказы о величии и славе твоего имени. Но здесь же я увидел моих несчастных русских братьев. Они высохли от голода и непосильных трудов. Многие из них доживают последние дни. Ты можешь всех их сделать счастливыми, и они будут до конца дней молиться о твоем благополучии.

— Какие твои братья? О ком ты говоришь?— спросил Бату-хан, и брови его сдвинулись.

— Это наши русские пленные, которых твои храбрые войска пригнали из наших разоренных городов и селений. Отпусти их на родину!

Бату-хан молчал. Вдруг нежный голос прошептал:

— Исполни просьбу гостя, Саин-хан. Это принесет тебе счастье.

Гаврила Олексич поднял глаза. Возле Бату-хана садилась на широкий трон, расправляя пестрое шелковое платье, его маленькая жена Юлдуз-хатун, а за нею стояла красавица половчанка с цветком в зубах. Она теперь не смотрела на Олексича, а, опустив длинные ресницы, только слегка улыбалась.

— Хорошо!— сказал Бату-хан.— Разрешаю тебе собрать часть русских пленных. Ты сам же позаботишься, чтобы они спокойно добрались до своей родины.

— Великий джэхангир!— прервал его одноглазый Субэдай.— Вспоминаю твои слова: не ты ли хотел сделать особый полк из пленных?

— Я не забыл об этом,— ответил Бату-хан.— Но ты, храбрый батыр, обещай мне опрашивать каждого пленного: не хочет ли он вступить в особый тумен, который пойдет вместе с моими войсками на завоевание «вечерних стран». Каждый воин получит от меня и оружие, и одежду, и коня, а в битвах разделит славу и добычу наравне с моими батырами.

— Сегодня, великий джэхангир, ты принес счастье не только многим моим русским братьям, но и мне.

— Ты будешь дважды счастлив,— ответил Бату-хан.—Вскоре поблизости от моего дворца для тебя будет поставлен шатер, в котором ты найдешь лучший цветок моего сада — Зербиэт-ханум. Вот она!— И он указал рукой на стоявшую неподалеку половецкую красавицу.

По окончании торжественного приема Гаврила Олексич подошел к молодому приветливому Абд ар-Рахману и спросил его:

— Не знаешь ли ты, пресветлый хан, что сталось с нашим старым воеводой Ратшей? Не вижу я его нигде.

Арабский посол не ответил и отвернулся.

— Князь новгородский Александр заранее послал его сюда,— продолжал Гаврила Олексич,— чтобы обрадовать наших пленных братьев, рассказать, что их не забывают, о них думают и шлют Бату-хану дары для их выкупа.

— Плохое я слышал, очень плохое!— прошептал Абд ар-Рахман.— Твой Ратша отказался выполнить волю Бату-хана, и за это джэхангир повелел заковать его, и я даже не знаю, жив ли он еще.

Глава четвертая

НАЗОЙЛИВЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ

Гаврила Олексич долго не мог добиться следующего приема у грозного повелителя золотоордынцев. Наконец однажды, поздно вечером, к нему в походный шатер, где он временно поместился, явились два запыхавшихся Ба-

тыевых сановника со своим писарем. Облаченные в парчовые халаты, они старались сохранить благообразный, степенный вид, перебирая янтарные четки. Долго не могли они отдышаться, сидя на пятках и вытирая лица концами скрученных матерчатых поясов. Видно было, что присланные выполняли какое-то ответственное поручение своего повелителя.

Олексич приказал распечатать сулею крепкого сладкого меда и гостеприимно потчевал назойливых гостей: он сам наполнял большие серебряные кубки, желая проникнуть в замыслы гостей и еще более в те мысли, которые руководили их повелителем, приславшим этих доверенных сановников.

Опытный толмач, побывавший прежде в плену у кыпчаков, изучивший кыпчакскую речь и обхождение с татарами, сидел у входа и старательно переводил все то, что говорили гости и что отвечал им Гаврила Олексич, и все записывал. Он, как и они, не подозревал, что Олексич, воспитанный при дворе Мстислава Удалого половецкими нянюшками-рабынями, понимал кыпчакскую речь[1].

Оба сановника сперва спрашивали:

— Здоровы ли кони, на которых русский посол приехал? Сколько дней он провел в дороге? Какие города проездом он посетил? Разрушены ли эти города? Долго ли он там оставался? Здоров ли скот, оставленный дома? Правда ли, что черно-бурые лисицы и бобры бегают в русских городах по улицам и их ловят сетями? Сколько жен у новгородского князя Александра и как зовут его самую любимую жену? Сколько у князя детей и как зовут каждого из них?

Олексич отвечал на все вопросы немедленно, как бы не задумываясь, но сам был настороже и подмигивал дружиннику, чтобы тот не забывал подливать хмельного вина в кубки гостей.

Писарь-толмач отцепил от пояса медную чернильницу, поставил ее перед собой и, переспрашивая, стал записывать камышовым пером имена князей и бояр, названия городов, а также число шведов и их кораблей, участвовавших в битве на Неве.

---

[1] Во владениях Бату-хана общий разговорный язык был преимущественно половецкий (кыпчакский, тюркского корня). Коренных монголов у Бату-хана было немного.

Один из золотоордынцев, более молодой, то ли вскоре захмелев, то ли притворяясь захмелевшим, начал беспричинно смеяться и задавать неожиданные вопросы:

— Водится ли в русских лесах большой страшный зверь с одним длинным рогом на носу? Хотел бы новгородский князь иметь женой еще монголку и не за этим ли приехал сюда северный витязь? Знает ли что-либо высокий гость про город Кыюв[1]? Хан Менгу рассказывал, что там крыши «домов бога» из чистого золота. А в Новгороде они тоже золотые? Сколько конских переходов до Новгорода? Имеются ли по пути заставы для сменных коней?

Гавриле Олексичу надоели все эти вопросы, и, не отвечая на два последних, он резко сказал:

— Если ваш владыка захочет узнать больше, то это я расскажу только ему одному.

Затем, прищурив глаз, он спросил:

— А можете ли вы мне ответить всего на три вопроса?

— Ответим, конечно, ответим, если это окажется в наших силах.

— Правда ли, что великий Бату-хан может попасть каленой стрелой из лука на расстоянии ста шагов в золотой перстень, который держит маленькая ручка его любимой жены?

— Кха! Кха!— воскликнули пораженные сановники, смотря друг на друга.

— Правда ли, что великий и мудрый Бату-хан ночью, во сне, улетает за облака к «священному правителю», своему деду Чингиз-хану, беседует с ним и получает от него указания, как завоевать всю вселенную, а сам в свою очередь тоже дает почтительные советы покойному деду, живущему в небесах: как управлять всеми заоблачными полчищами, состоящими из душ храбрых воинов, павших на поле брани. Я слышал, священная тень Чингиз-хана каждый раз благодарит за мудрые слова и привет любимейшего из своих внуков.

Последние слова Олексич проговорил шепотом, наклонившись к собеседникам.

---

[1] Кыюв — Киев.

Оба сановника, с раскрытыми ртами, остолбенели, посмотрели друг на друга и быстро допили свои чаши. Старший, взяв у писаря свиток, спрятал его за пазуху, а второй, заикаясь, сказал тоже шепотом:

— Мы не получили указаний, что ответить на такие важные и трудные вопросы. Мы придем еще раз объявить, когда наш великий Саин-хан тебя примет, и тогда объясним все то, что ты хотел узнать.

Оба с поклонами вышли, по обычаю засунув за пазуху серебряные кубки, из которых пили, сели на коней и умчались обратно к тому, кто их прислал.

Утром, когда первые розовые лучи восходящего солнца пронизали ветви прибрежных деревьев, возле шатра Гаврилы Олексича дружинники уже разводили костер под большим медным котлом, подвешенным на растопырках, и резали на части барана, раскладывая куски на бараньей шкуре, положенной на траве шерстью вниз. Несколько вооруженных всадников подъехали к шатру. Шагах в десяти от него они сошли с коней. Гаврила Олексич спокойно сидел у входа в шатер на складном ременчатом стуле и равнодушно наблюдал, как оба вчерашних гостя и с ними молодой статный воин с великолепной украшенной ценными камнями саблей на золотом поясе приближались к нему. Они низко склонились, затем молодой воин сказал, а толмач, появившийся близ Олексича, стал переводить:

— Наш великий повелитель, доблестный и могучий Бату-хан...

При этих словах Гаврила Олексич быстро встал, выпрямился и снял свою бобровую шапку. Прибывшие переглянулись, а молодой воин продолжал:

— ...повелел передать тебе, благородный и храбрый посол новгородский, что, занятый неотложными делами своего государства, его царское могущество не был в состоянии уделить тебе должное внимание и только теперь нашел время, чтобы принять тебя для беседы. Он разрешает тебе, почтенный боярин, прибыть в его царский шатер завтра в полдень. Утром тебе будут присланы ханские конюхи с жеребцами для тебя и для твоей свиты. На этих конях ты приедешь туда, где наш повелитель соблаговолит принять тебя.

Гаврила Олексич, продолжая держать шапку в руках, сказал:

— Благодарю его царское могущество за милостивое разрешение. Передай, что его верный слуга прибудет в назначенное время. Могу ли я также привезти некоторые скромные подарки?

— Насчет подарков я не получил никаких распоряжений, и о них тебе будет объявлено после, если в беседе наш великий Саин-хан отнесется к тебе милостиво.

Татарский воин, не сгибаясь, сделал величавый жест, слегка коснувшись пальцами правой руки сердца, губ и лба. Затем, резко повернувшись, он направился к своему рыжему коню, грызущему удила. Воин легко поднялся в седле и, покосившись еще раз на провожавшего его Олексича, придержал тронувшегося с места коня.

— Ты что-то еще хотел спросить меня, почтенный русский посол?

— Ты угадал, доблестный воин. Я хотел узнать твое славное имя.

— Мое имя Му́сук, личный телохранитель моего великого государя.

Конь, сдерживаемый поводом, роняя пену, заплясал и двинулся вперед. Всадник, не торопясь, статный и гордый, в блеске солнечных лучей, игравших на его парчовой красной одежде и серебряных пряжках сбруи, повторил свой величественный привет и скрылся за деревьями.

Всю ночь Олексич пролежал без сна на конской попоне, расстегнув ворот синей шелковой рубахи, заложив руки за голову. Мысли его неслись причудливым потоком. То он вспоминал дубовые стены Переяславля, отраженные в тихом озере, то тусклые огоньки засыпанных снегом деревень, растянувшихся вдоль оврагов, то белые величественные храмы богатого вольного Новгорода, праздничный перезвон церковных колоколов и настойчивый тревожный звук вечевого колокола, сзывающего шумную толпу на вече, где он много раз стоял рядом с другом детских лет, горячим и смелым князем Александром.

Мысли возвращали снова к предстоящему свиданию с грозным татарским ханом, свиданию, которое для многих бывало последним... Что скажет ему обычно молчаливый повелитель, владыка беспредельных степных равнин? Чего потребует? И что можно будет ему ответить?

Да и дойдет ли он до шелкового Батыева шатра, охраняемого безмолвными монгольскими воинами и крикливыми ведунами-шаманами, которые перед приемом требуют поклонения кустам и священному огню. Смирится ли гордость и воля русского витязя, согнется ли его спина? Или придется ему испить горькую чашу русских пленников, замученных, с переломанными костями, брошенных под доски, на которых после победы при Калке Чингизовых орд пировали татарские ханы? Не задумал ли злопамятный Батыга снова отправить свои дикие стремительные полчища в Залесье, на Суздальскую Русь, уже однажды им разгромленную, и на буйный вольный Новгород? И кто для Новгорода страшнее: надменные немцы и шведы, напирающие на Русь, или до времени затаившийся Батыга?

Глава пятая

СКОРБНЫЙ ПУТЬ

Когда прибыли воины с обещанными конями, Гаврила Олексич был уже готов к приему. Он надел блестящую кольчугу, подпоясался широким серебряным поясом с золотыми бляшками. На нем слева на перевязи висел меч в зеленых ножнах, отделанных серебром, с рукоятью из «рыбьего зуба»— моржовых клыков. На голове сверкал шлем с узорчатой насечкой, из-под которого виднелись слегка вьющиеся светло-русые волосы. На ногах были расшитые узорами красные сафьяновые сапоги с загнутыми кверху носками.

Дружинник подошел к Олексичу, остававшемуся в шатре, и, заикаясь, с тревогой сказал:

— Там кони ханские пришли, только... не серчай... никудышные они! Не гоже тебе будет садиться на такую скотину! Сами же татары засмеют!— И дружинник отогнул ковер, прикрывавший вход.

Перед шатром действительно стояла чалая, полуседая кобыла с отвисшей нижней губой, показывая желтые стертые зубы. Седло было ханское, но крайне ветхое, с красным бархатным чепраком; вся сбруя тоже старая, выцветшая; хвост лошади полуоблезлый, а ноги она держала растопырив, того и гляди свалится. Присланные другие два коня были такие же,— не к чести удалого всадника, хотя этих коней торжественно

держали под уздцы нарядно одетые молчаливые татарские воины.

Гаврила Олексич опустил полог шатра. Он снял шлем и в гневе сорвал кольчугу. Приказал дружиннику стянуть сафьяновые сапоги. Он переоделся и вышел из шатра в голубой шелковой рубашке, обшитой по воротнику мелким жемчугом, гладком синем суконном охабне, подпоясанном кожаным ремнем. На ногах были простые булгарские сапоги. Никакого оружия он с собой не взял.

— Позвать сюда Никодима!

— Я здесь, мой господине!— отозвался и подошел степенный казначей, спутник Олексича.

— Слушай, Никодим, внимательно и сделай, как я скажу: ты покроешь кобылу лучшим куском заморского аксамиту, перетянешь, как подпругой, золотым поясом,— выбери, какой понарядней. Морду кобыле перевьешь жемчужными нитями. Другого коня покрой двумя куньими женскими шубами и перевяжи нарядными поясками, чтобы по пути не растерять.

Никодим вскинул глаза на Гаврилу Олексича, но перечить не посмел.

— Будет сделано, господине! Повремени немного, пока распорю дорожные сумы.

Олексич увидел в стороне прибывшего в Орду вместе с ним княжеского летописца и книжника отца Варсонофия.

— Послушай, отче! Одень на себя благообразную рясу получше, захвати кадило. Ты сейчас пойдешь со мной. Может быть, придется нам испытать с тобой часы тяжелые, судьбу горькую и даже домой не вернуться.

— Слушаю, сын мой! Только я возьму еще с собой глиняный горшочек с горящими углями, чтобы раздувать кадило.

Монгольские воины стояли, словно каменные, лишь брови их то поднимались, то опускались, пока Никодим с дружинниками украшал приведенных коней. Гаврила Олексич вернулся в шатер, но вошедший к нему без доклада Батыев толмач сейчас же вылетел обратно, с трудом удержавшись на ногах. Наконец казначей приподнял полог шатра и сказал:

— Все сделано, как ты повелел!

Тогда Гаврила Олексич вышел и, надвинув на лоб бобровую шапку, сказал монголам:

— Эти кобылы присланы мне по ошибке. Я знаю, что ханы татарские и русские князья ездят только на жеребцах. А на таких кобылах ездят женщины и перевозятся вьюки. Поэтому отведите этих кобылиц к почтенной и мудрой матери светлейшего владыки татарского,— при этих словах он снял бобровую шапку,— и скажите ей, что по скудости моей лучших подарков я прислать не смог. Прошу-де принять их от ее преданного слуги, посла новгородского.

Оба Батыевых сановника стали что-то возражать, но Олексич ответил им сурово:

— Хан двух слов не говорит, русский витязь — тоже! Как я сказал, так и будет сделано!— И он пошел медленно и задумчиво к своей новой, загадочной судьбине. Он шел не оглядываясь, тяжелой поступью, а за ним потянулись люди, кони и повозки с дарами, которым задолго было приказано быть наготове, в случае если Бату-хан вызовет своего северного гостя.

Идти пришлось берегом, неровной дорогой, мимо строившихся домиков и лавчонок, где продавалась жареная рыба, копченая вобла, ржаные и пшеничные лепешки. Всюду работали толпы крайне изможденных русских пленных.

Затем дорога стала подниматься в гору, и шедший близ Олексича толмач указал рукою вдаль:

— Там, за холмом, ты увидишь лагерь и маленький золотой дворец повелителя монголов.

Вот показался «золотой домик» с высокой башенкой из пестрых изразцов, горевший, как пламя, на солнце. Дорога повернула в сторону, и Гаврила Олексич увидел странное зрелище, от которого холод побежал по спине. Вдоль дороги, на расстоянии нескольких шагов один от другого, тянулись колья вышиной в рост человека. На каждом из них была воткнута человеческая голова. Гаврила Олексич замедлил шаг и, наконец, остановился. Следовавшие за ним спутники тоже остановились.

— Отец Варсонофий! Где же ты?

Старый монах подошел, сжимая в дрожащих руках серебряное кадило и качавшийся на веревочке глиняный котелок с углями.

— Что же, отче, давай помолимся!

— Все готово...

— Ведь это наши... те, кому хан Батый должен был дать волю и отпустить со мной на родину...

Порывистый ветер трепал русые, полуседые и черные бороды и длинные кудри отрубленных голов. Их было много. Колья тянулись вдоль дороги, покуда хватал глаз.

Вороны и крикливые сороки сидели на дальних головах и, ссорясь, клевали застывшие очи.

Варсонофий читал молитвы нараспев, размахивая кадилом, и голубоватый дым легким облачком поднимался к мертвому лицу, точно, лаская, дарил прощальный привет.

Гаврила Олексич медленно двинулся дальше, осеняя себя крестным знаменем, и вдруг остановился перед одной головой. Полузакрытые, еще не выклеванные глаза, казалось, пристально глядели из-под густых, черных, сросшихся на переносье бровей. Бороды не было, и длинные седые усы шевелились на ветру. Полуоткрытый рот как будто не договорил последних слов.

— Ратша! Дедушка, родимый!..

Олексич покачнулся, закрыл лицо рукой, потом еще раз посмотрел на голову и твердыми шагами, не останавливаясь и не оглядываясь, пошел вперед.

Отец Варсонофий шептал заупокойные молитвы, размахивая кадилом, и слезы медленно катились по его старческому лицу.

Глава шестая

МИЛОСТЬ БАТЫЕВА

С того дня, когда Бату-хан захотел обласкать своего гостя, жизнь Гаврилы Олексича пошла по-новому. Степенные слуги в длинных цветных халатах провели русского витязя в пестрый шатер, стоявший среди рощицы на высоком берегу. Виднелось там поблизости много и других переносных юрт, около которых ходили и сидели монгольские женщины в ярких одеждах с белыми тюрбанами на головах. Гаврила шел, закусив губу, стараясь сохранить беспечный вид, но в то же время ничто не ускользало от его внимательного и зоркого взгляда.

Шатер, предназначенный для жилья Олексича, был выше и роскошнее остальных. Возле входа, завешенного шелковым ковром, выстроились монголы и пели хвалебную славу по случаю прихода пресветлого гостя.

В нескольких шагах от большого шатра Гаврила остановился, решив выполнить все татарские обычаи и причуды, помня, что на чужом пиру надо покоряться хозяину. Слуги разостлали на дорожке, ведущей к шатру, полосы шелковой розовой ткани, незримая рука отодвинула ковер, и вдруг из шатра выскользнула гибким движением пантеры молодая женщина и замерла настороженная. На ярком солнце сверкали золотые и серебряные запястья и браслеты, украшавшие тонкие руки и щиколотки стройных ног. Легкими шагами она подбежала к Олексичу и, опустившись на колени, обняла его узорчатые сафьяновые сапоги. Стоявший рядом, почтительно склонившийся рыжебородый толмач тихо подсказывал Олексичу, что тот должен делать.

— Обними прекрасную невесту! Поцелуй ее звездоподобные глаза! Возьми на руки и отнеси в твой шатер!

Гавриле Олексичу стало весело. Он смотрел на все происходящее, как на диковинный сон, как на невиданную забаву. И он легко поднял свою новую суженую, а она, собравшись в комочек, прижалась к его богатырской груди.

— Целуй! Целуй! — шептал рыжий толмач.

— Не учи! Сам знаю! — И он шагнул внутрь шатра, помня, что нельзя зацепить каблуком порога.

Посреди шатра тлел небольшой костер. Обойдя его, Олексич опустил девушку на груду шелковых подушек. Решительно и властно он откинул покрывало, опущенное на лицо, и бережно и нежно поцеловал черные, вспыхнувшие радостью глаза и красиво изогнутые алые губы.

Толмач что-то шептал, но Гаврила нетерпеливо махнул ему рукой.

Кругом слышалось пение, удары в бубны и медные тарелки. Девушка оттолкнула Олексича, выскользнула из его объятий и, подобрав под себя ноги, уселась у задней стенки шатра.

— Сядь рядом! — прошептал переводчик, опустившись на колени неподалеку от Олексича. — Принимай

подарки! Великий Саин-хан хочет оказать тебе высокую милость.

В шатер стали входить старые и молодые монголы и кыпчаки. Каждый, произнеся несколько пышных приветствий, клал на ковер серебряные и бронзовые кувшины, чаши, куски шелка, цветные одежды и, пожелав долгой и счастливой жизни, пятясь спиной, выходил из шатра. Для всех приходивших в соседних юртах были разостланы ковры и на больших бронзовых подносах стояло обильное угощение.

Последними в шатер Олексича вошли лихого вида два молодых воина и громко прокричали:

— Блистающий Бату-хан,— да живет он тысячу лет!— тебе прислал в дар самого быстроного коня в мире.

Толмач прошептал:

— Ты должен выйти, взять коня за повод и сам привязать его около своей юрты.

Услышав о коне, Олексич вскочил и, полный радости, вышел из шатра. Перед входом, на розовой шелковой ткани, стоял, нетерпеливо перебирая ногами, пятнистый могучий жеребец, грызя удила и разбрасывая клочья пены. Два конюха, вцепившись в поводья с золотыми бляшками, оглаживали коня, стараясь успокоить. Олексич подошел. Он не стал брать повода, а только протянул руку к ноздрям коня. Тот ударил ногой по разостланному шелку и фыркнул. Олексич велел принести большой медовый пряник и протянул его коню. Конь недоверчиво скосил глаз и мягкими теплыми губами взял пряник с ладони.

На следующий день Олексича навестили разные люди, также подносившие подарки: шелковые ковры, серебряные кумганы и другие замысловатые серебряные вещи, с которыми Гаврила не знал, что делать... Он в свою очередь всех одаривал ответными подарками, думая только об одном: как бы поскорее вырваться из Батыевой ставки, чтобы вернуться на север.

Одним из первых среди гостей Олексича навестил молодой арабский посол Абд ар-Рахман. Он долго говорил о том о сем, видимо, крутил вокруг да около, желая что-то сообщить, но не решаясь приступить прямо к разговору.

Гаврила, заметив это, сам его спросил:

— Объясни мне, преславный эмир, одно страшное дело, о котором здесь, может быть, все и знают, но никто мне не говорит...

— Не о старом ли русском воеводе Ратше ты спрашиваешь?

— Да. Не могу я понять, чем дед мой, Ратша, такой опытный и осторожный, мог навлечь на себя беспощадный гнев великого владыки?

— Сейчас я тебе все расскажу. Бату-хан знал, что Ратша прославленный русский воевода, и он захотел выказать ему особый почет. Самый высший почет в этом войске, когда Бату-хан назначает кого-либо из иноземных воинов начальником монгольского отряда.

Однажды Бату-хан призвал Ратшу к себе и предложил ему: выкажи свою доблесть и вступи в мое войско.

— А потом?— спросил Ратша.

— Ты соберешь полк из пленных русов. Сделай этот полк надежным, чтобы я мог раздать воинам оружие и посадить на коней.

— Против кого ты хочешь послать нас?

— Вместе со мной вы пойдете покорять упрямые города русов.

Ратша даже не задумался, а прямо ответил:

— И сам не пойду и других не стану уговаривать!

Разгневанный Бату-хан приказал посадить Ратшу в яму, чтобы он там одумался, но когда через несколько дней вызвал его снова — ответ старого воина был все тот же. Тогда были отрублены головы сотне русских пленных, и первым, кого казнили, был Ратша...

— Да,— тихо сказал Олексич,— ничего другого я от бесстрашного деда своего и не ожидал.

Начались у Олексича дни, полные тревоги и беспокойства. Он собирал пленных партиями, по двадцать— тридцать человек, давал им вьючных коней, нагруженных мукой, житом, сушеной рыбой, караваями хлеба, и посылал одну за другой сперва вверх по Волге, а затем через степь на Рязань. На некоторых конях сидели, согнувшись, больные и крайне истощенные пленные.

— Скорей, ребятушки, уходите, добирайтесь до родных мест!— торопил Олексич.— Татарский хан может

передумать и всех нас задержать для новых своих построек или для дальнего похода.

Иногда Бату-хан призывал Гаврилу Олексича на свои военные советы, где обсуждались планы похода на «вечерние страны». Тяжело было Олексичу слышать, как Бату-хан и его соратники готовятся напасть на Киев, Чернигов и другие города западные русские... Поход был близок, передовые татарские войска уже начинали уходить на запад через половецкие степи. Олексич боялся, что Бату-хан и ему прикажет быть в походе около него.

Проходили дни... Олексич с рассветом покидал шатер, спускался к реке, где вдоль берега горели костры. Вокруг них сидели знакомые плотовщики и, склонивши взлохмаченные головы над глиняными горшками, степенно хлебали деревянными ложками свое незатейливое варево.

— Ушицей подкармливаетесь?— спросил Олексич, присев на бревне близ старика в изодранном до крайности бараньем полушубке. Сквозь дыры местами просвечивало загорелое тело.

— А то чем же? Здесь рыбки вволю, сама на берег лезет. Только вот соли нет.

Гаврила свистнул и повернулся. За его спиной вырос угрюмый татарский слуга, повсюду неотступно сопровождавший гостя.

— Есть ли у тебя соль, Шакир?— спросил Олексич. Он уже немного научился говорить на языке ханского окружения.

— Все есть, что ты ни прикажешь, мой хан! А нет, так достану!— И он пошарил в ковровом мешке, который носил за Олексичем. Оттуда он достал кожаную коробку. Гаврила взял из нее горсть соли и хотел высыпать в горшок с ухой, но старик задержал руку:

— Стой, стой, добрый молодец! Соль-то у нас теперь дороже золота. Я ее приберегу в моем рукаве, посолонить краюшку.

Старик вытащил из-за пазухи оторванный рукав, завязал узлом конец, и Гаврила всыпал в него несколько горстей соли.

— А где же твоя рубаха?

— Да поистлела вся. Один рукав и остался. Вот вернусь домой, старуха мне новую сошьет.

— Шакир, доставай новую рубаху!

Слуга, метнув недоверчивый взгляд, вполголоса ответил:

— Есть, мой хан! Только не для такого оборванца.

— Что я тебе приказал?

Шакир, с обиженным лицом, вытащил малиновую шелковую рубаху и, поставив мешок на землю, встряхнул ее и подал Олексичу.

Старик вскочил и замахал руками:

— Что ты, что ты, Гаврила Олексич! Не по купцу товар даешь! Такую богатую рубаху носить бы именитому боярину, а с меня хватит и дерюги.

— А коли тебе рубаха не по нраву, так ты ее обменяй.

— Да мне за такой товар пять холстинных рубах дадут... Только стану ли я твой подарочек менять? Вернусь домой, в шелковой рубахе в избу войду, то-то моя старуха начнет причитать да диvоваться!

Другие плотовщики, сидевшие у костров, вскочили и, подойдя, осторожно щупали огрубелыми пальцами добротность ткани.

— Ладно! — сказал Олексич. — Рубаха твоя, что хочешь, то с ней и делай!

И он отошел к другим кострам. Подсаживался к плотовщикам и всех расспрашивал об их житье-бытье... У всех на уме были только родная сторонка, седой Волхов, суровое, угрюмое Ильмень-озеро.

— Маленько еще потерпите! Достройте Батыевы хоромы, а там вместе двинемся домой.

Одарив особенно сноровистых и усердных в работе, опустошив свой мешок, Олексич отходил на бугор. Оттуда он подолгу смотрел в туманную даль. Где-то слышалась переливчатая, заунывная песня, доносились стуки топоров, надрывные стоны и рев верблюдов, ржание коней и знакомые, родные, русские напевы.

И опять проходили дни...

Каждый вечер в шатре Олексича собирались гости: соратники и друзья Бату-хана. Слуги подавали сладкие вина в запечатанных смолой глиняных кувшинах, сушеный виноград, лепешки и жирные палочки сладкого печеного теста.

Охмелевшие, лежа на подушках, они любили слушать непонятные, чуждые перезвоны струн и песни прибывших с Олексичем двух новгородских гусляров. Иногда Гаври-

ла сам начинал петь, и голос его, низкий и звучный, казалось, заполнял собой шатер.

Когда гости расходились, появлялись бесшумные рабыни, прибирали все вокруг, а старшая из них, с медными кольцами в ушах, шептала хмельному Гавриле:

— Моя прекрасная госпожа давно ждет своего обожаемого повелителя.

Олексич выходил, останавливался на краю обрывистого берега, долго любовался переливами воды, игрой отблесков лунного света. Кое-где мерцали огни костров. Уже лагерь грозного хана погружался в глубокий сон, только слышалась изредка перекличка часовых, взвизгивания неукротимых жеребцов и далекий лай собак. Насладившись красотой тихой ночи, Гаврила шел в шатер своей восточной красавицы. Он находил Зербиэт-ханум сидящей на небольшом коврике. С кошачьей гибкостью она бросалась на шею Олексичу, под тихий перезвон золотых и серебряных браслетов.

Яркий лунный свет, падая в прорези шатра, освещал ее черные зовущие глаза, тонкие подрисованные брови...

Она заботливо спрашивала:

— Что задержало тебя так долго? Кого ты видел? С кем говорил? Какие вести получил от твоего преславного князя? Расскажи мне! Я так терпеливо ждала тебя.

— Потом, в другой раз! Сейчас я устал. Лучше расскажи мне сказку...

Олексич уносил ее на шелковые подушки и в полудремоте слушал удивительные рассказы о нежной прекрасной царевне, грустящей в роскошном дворце о своем суженом, уехавшем далеко на войну, или о злом волшебнике, обратившем царевну в птицу, или о том, как царевна, переодевшись в мужское платье, отправилась бродить по бесконечным дорогам Азии в поисках своего любимого, которого заточили в подвале старой крепости, откуда царевна, после многих приключений, его выручила...

Гаврила засыпал под журчание мелодичного голоса, но тревога не стихала, и в полусне ему казалось, что перед ним клубятся грозовые тучи и вереницей проносятся над серебристой ковыльной степью...

И вдруг точно острой стрелой кольнуло сердце: он вспомнил «их», страшных недругов, отлично вооруженных, в железных доспехах, на добрых конях, немецких всадников... Домой, скорей домой!

Глава седьмая

«ЖИВУЛИ»[1]

Однажды к шатру Гаврилы Олексича подошел седобородый странник с берестяным коробом за плечами. На нем был выгоревший на солнце зипун и обычный новгородский поярковый колпак. На поясе висели новые лапти — на обратную дорогу после длинного пути. Татарский часовой отталкивал старика, не подпуская к шатру.

— Боярин родимый! Гаврила Олексич! Где твоя милость? Услышь меня! Эти нехристи не пущают меня перед твои ясные очи. Весточку я тебе принес с родной сторонки.

Гаврила бросился из шатра, подбежал к страннику, обнял его за плечи:

— Знакомо мне твое лицо, а где видел — не помню...

— Да на торгу в нашем Новгороде. Я всегда там возле блинника стою, что насупротив Мирона-жбанника. Охотницкими силками занимаюсь: плету сети и на соболя, и на белок, и на тетеревов.

— Ну, пойдем ко мне. Посидим, поговорим. Порадовал ты меня.

— И еще порадую,—сказал странник, следуя за Гаврилой Олексичем в шатер и садясь возле тлеющих углей костра.

Он скинул потертый зипун, бережно сложил его, поставил перед собой берестяной короб и, став на колени, принялся в нем шарить.

— Как же ты сюда-то попал?

— Постой, постой, все расскажу кряду. Услышал я, боярин, что ты с плотовщиками и струговщиками пустился в далекие края на волжское понизовье. И погоревал, что к вам не присуседился. Давно я задумал одно дело и пошел как-то на твой боярский двор посоветоваться со сватом моим Оксеном Осиповичем...

— Знаю хорошо,— подтвердил Гаврила Олексич.— Добрый и верный сторож он у меня.

— Нашел я свата, а он около крыльца стрелочки из щепок стругает. Обговорили мы с ним то да се, а тут

[1] «Живули» — игрушки: фигурки людей и зверей.

хозяйка твоя, боярыня, на крыльцо вышла. «Опоздал ты, дедушка, говорит, хозяин мой давно уже уехал в низовье Волги к царю татарскому Батыге наших пленников из неволи выкупать. И сколько еще раз черемуха зацветет, пока он домой вернется, не знаю. Только святителям молюсь, чтобы живым и невредимым его сохранили. А сам ты не согласился бы поехать его проведать? Запаса на дорогу, говорит, я прикажу тебе выдать...» — «Можно! — отвечаю. — Волга мне река родная, знакомая. Сколько раз я когда-то по ней с молодчиками нашими ушкуи гонял!» Тут она позвала меня к себе в светелку и плакала, скажу без утайки, слезами обливалась. И вот что тебе передать велела... — Старик вынул из короба и протянул Гавриле Олексичу большой комок седого мха.

Тот жадно схватил его и стал осторожно разворачивать. Внутри оказались так хорошо знакомые, обсосанные и потертые ребятками две искусно вырезанные из липовых чурбашек детские игрушки: одна изображала медведя на задних лапах, другая — мужика в поярковом колпаке, играющего на балалайке.

— И в мох этот сама боярыня игрушки детские завернула. «Пусть, говорит, от седого лесного мха на моего Гаврилу Олексича родным русским духом повеет, а то еще, упаси господи, дом родной позабыл, татарскую веру принял...»

Гаврила прижал мох к лицу и долго молчал, вдыхая знакомый запах хвои векового соснового бора. Глубокая тоска и нежность охватили его. Перед глазами, как живой, всплыл широкий двор родного дома, заросший буйной травой, где ходила его Любава с малюткой на руках, а старший, в белой рубашонке, ухватившись за материнский подол, был еле виден в высокой траве. Вспомнились веселый смех жены, ямочки на румяных щеках и стук подковок сафьяновых полусапожек... Перед ним стали проплывать зубчатые стены старого Новгорода, величавое течение Волхова, шумное, беспокойное вече... Каким далеким и вместе дорогим и близким все это было! Скоро ли, наконец, его отпустит домой коварный татарский владыка?

Глава восьмая

ТРИ СЛОВА

Рано утром, еще в сумерках, к Олексичу явился знающий много языков толмач в пестрой чалме и полосатом халате. Он почтительно прошептал:

— Великий владыка Саин-хан требует к себе немедленно новгородского посла.

— Ты не проведал, для чего меня призывает великий хан?— спросил Олексич, быстро одеваясь.— Для того ли, чтобы выказать мне свою милость, или чтобы излить на меня свой гнев?

— Что я могу сказать? Я только передаю то, что мне приказывают. Больше этого знает один аллах.

Гаврила вложил в руку толмача золотую монету. Тот смущенно повел плечами.

— Одно я подслушал: сегодня разговор будет о чем-то весьма значительном, большом, как гора или небесная буря. Но я буду тебя сопровождать к великому и стану тихо предупреждать обо всем, что тебе следует делать.

— Меня не о чем предупреждать! Я и сам знаю, что мне надо сделать или сказать!

— Не гневайся на меня, господин, я твой слуга!— прошептал толмач.— Оставь только здесь твой меч.

Оставив в шатре все свое оружие и даже неизменный нож на поясе, Олексич последовал за толмачом.

Было раннее утро. Легкий туман плыл над еще не проснувшейся боевой ставкой золотоордынского хана. Вдали повсюду светились огоньки костров.

Вскоре Гаврила Олексич увидел площадку с широким кольцом обычных кыпчакских черных войлочных юрт. Посреди них одиноко стояла большая белая юрта. К ней вела дорожка, на которой пылали три ярких костра. За ними, ближе к юрте, росли три густых, колючих куста.

Толмач объяснил, что это степные растения, через которые не сможет переступить человек, имеющий злые умыслы против великого хана.

Олексич остановился, задумавшись на мгновение, но двинулся дальше, решив выполнить все те требования, которые обычно предъявлялись всем приходящим на поклон к Бату-хану. Поэтому он прошел через колючие кусты, перепрыгнул через три пылающих костра, возле

которых завывали и гукали, как совы, монгольские жрецы-шаманы. Они ударяли в большие бубны и кидали в огонь сушеные травы, вызывающие одуряющий дым.

Здесь Олексича встретил арабский посол. Приветливо улыбаясь, он сказал:

— Ты явился очень своевременно, преславный воин, так как «великий и единственный» уже спрашивал о тебе.

Перед входом в шатер Олексич остановился. Два рослых монгольских нукера в шлемах и железных латах, скрестив руки на груди, застыли неподвижными истуканами, закрывая небольшую створчатую дверцу, украшенную искусной резьбой.

Абд ар-Рахман протяжно возглашал условное приветствие. Вскоре из шатра послышался тихий ответ. Оба нукера расступились, и Гаврила Олексич вслед за Абд ар-Рахманом протиснулся в низкую дверцу.

Посреди юрты тлел небольшой костер. Дымок от него, завиваясь, уходил вверх, к круглому отверстию в середине крыши.

Позади костра, у стенки, на небольшой связке из девяти войлоков, сидел, поджавши ноги, сам повелитель бесчисленного монгольского войска. Он выбирал ветки из груды степного вереска и подбрасывал их в костер.

В стороне сидел придворный летописец Хаджи-Рахим. Опустившись на ковер возле него, толмач начал вполголоса бормотать приветствия и молитвы.

Гаврила Олексич, вспоминая все наставления, которые ему накануне настойчиво твердил Абд ар-Рахман, решил их выполнить. Мысли вихрем крутились в его голове, но он заставлял себя думать только об одном: как бы не накликать новой беды на далеких родных русских людей, ожидающих, что, вернувшись из Орды, он привезет им мир и спокойствие.

Бату-хан жестом предложил гостю сесть.

Тут начался обычный обмен приветствий и вопросов: о здоровье, о любимом коне, об удобствах жизни. Бату-хан, по-видимому, еще кого-то ожидал.

Вскоре ожидаемый явился — одноглазый военный советник Бату-хана Субэдай-багатур. Он тихо сказал что-то Бату-хану и опустился на ковер близ него. Потом, повернувшись к Гавриле Олексичу, отрывисто, как бы с упреком прохрипел загадочные слова:

— Пора! Давно пора!

Тогда Бату-хан, соединив концы пальцев, тяжело вздохнул и сказал:

— Я пригласил тебя, чтобы поговорить об очень важном. И я хочу, чтобы ты отвечал мне с открытым сердцем.

— Слушаю тебя и обещаю говорить правдиво, великий хан.

Бату-хан, прищурив глаза так, что они обратились в узкие черные щелки, впился колючим взглядом в спокойное лицо русского витязя. Он начал говорить медленно и вкрадчиво, давая время толмачу переводить его слова.

Олексич, сдвинув брови, вдумывался в сказанное Бату-ханом, рассуждая про себя: «Только бы не поторопиться! Не поспешить с неосторожным ответом и в то же время сохранить почтительность».

— Хотя ты еще и молод, но, как мне рассказывали, ты уже встречал боевые опасности, выказывая каждый раз смелый замысел, и вместе с коназом Искендером всегда одерживал победы. Удача сопровождает тебя.

— Я очень благодарю тебя, великий хан, за приветливые слова.

Бату-хан продолжал:

— Теперь я жду, что ты захочешь проявить свою боевую удачу не только в северной стороне, но и в том великом походе, который я задумал и о котором не раз говорил тебе. Как ты намерен помогать мне?

У Олексича мелькнула мысль: «Он хочет, чтобы я, не колеблясь, дал ему обещание выполнить всякое его приказание. И тогда я буду связан данным словом и, возможно, буду вынужден поступить бесчестно. Поэтому надо быть особенно осторожным». И он сказал:

— Что я могу тебе ответить? Ты, как могучий степной орел-беркут, взлетев к облакам, озираешь оттуда зорким оком далекие просторы. Я же, как медведь, затерянный в новгородских лесах, люблю и оберегаю свою берлогу...

Бату-хан укоризненно покачал головой:

— Дзе-дзе! Ты уже выказал себя как смелый воин. Такие воины у нас называются багатурами. Но зачем ты говоришь уклончиво? В нашем великом царстве все смелые багатуры сами рвутся туда, где слышен звон мечей. Неужели ты останешься спокойным и захочешь вернуть-

ся в свои медвежьи трущобы, когда мое войско двинется вперед и победоносно пройдет по всей вселенной? Могу ли я этому поверить?

Взгляд Бату-хана, казалось, старался проникнуть в мысли задумавшегося витязя.

— Я оказываю тебе великую честь — тебе поручается взять Кыюв!

У Гаврилы Олексича захватило дыхание. Как ответить? Ему казалось, что пристальный взгляд Бату-хана видит, как под тонкой шелковой рубашкой вдруг бурными толчками забилось сердце, но он постарался овладеть собой и молча ждал, что еще скажет татарский владыка.

Бату-хан продолжал, и голос его стал нежным и мурлыкающим:

— Я оказываю тебе самую высокую честь, какую только может получить иноземный воин: ты станешь начальником тысячи, а может быть, и целого тумена, с которым ты покоришь для меня Кыюв. Вступай в ряды моего войска и после Кыюва ты вместе со мной пронесешься через «вечерние страны». Мой славный дед, «потрясатель вселенной», не колебался делать начальниками монгольских отрядов бывших своих противников, и они, как Джэбэ-нойон, становились преданными его помощниками.

Гаврила Олексич сказал:

— Прости меня, великий хан, что я назвал мою родную новгородскую землю лесными трущобами. Но мы не прятались в этих трущобах, как медведи, а все время были на границе, сражаясь и ожидая новых битв, новых кровавых встреч с врагами нашего народа. Могу ли я, честный воин моего князя, в эти бурные дни оставить беззащитной мою родную землю?

Олексич прямо и смело смотрел в глаза Бату-хану, ожидая его рокового решения.

— Дзе-дзе!— проворчал Бату-хан и повернулся к Субэдай-багатуру.— Что ты скажешь на это, мой дальновидный и мудрый учитель?

Старый полководец подумал и сказал:

— Я отвечу тебе, Саин-хан, тоже вопросом. Разреши мне спросить твоего летописца Хаджи-Рахима: что было написано в том послании, спрятанном внутри его дорожного посоха, которое отправил когда-то посол

Махмуд Ялавач в Ургенч твоему отцу, несравненному, блистательному Джучи-хану?

Погруженный в свои записи, Хаджи-Рахим, вздрогнув от неожиданности вопроса, почтительно прижал руки к груди и прошептал:

— В этом письме, спрятанном в моем выдолбленном посохе, было написано только три слова: «Этому человеку верь».

Бату-хан, зажмурив глаза, засмеялся тихими шипящими звуками. Затем обратился к безмолвному, полному внутренней тревоги Олексичу:

— И я тоже скажу тебе только три слова: «Твоему обещанию верю». Теперь возвращайся в твой далекий Новгород и верно служи твоему коназу Искендеру.

Мой верный эмир Арапша там, и он будет присылать мне вести о ваших новых тревогах и победах. Хоть я уйду далеко, но не перестану думать о Новгороде. Разрешаю удалиться. Красавицу Зербиэт-ханум ты возьмешь с собой.

Когда Олексич вышел из шатра, Бату-хан с необычайным проворством вскочил и стал метаться, как зверь в клетке. Задыхаясь, он весь отдавался налетевшей на него ярости. Глотая слова, он заговорил быстро и неразборчиво, с раздувающимися ноздрями, и то подпрыгивал, то приседал.

— Я вижу впереди бои... Пылающие города... Близкие схватки тысяч и тысяч всадников. Я вижу, как испуганно летят кони, прыгают через овраги, роняя своих всадников. Я вижу ряды упрямо наступающих пеших воинов в иноземных одеждах... Они рубятся с моими несравненными багатурами. Я пройду через самую гущу боя и опрокину всех встречных... Я напою кровью врагов своих коней, я прикажу убивать каждого сопротивляющегося, женщин, стариков, детей. Копытами моих несравненных монгольских коней я вытопчу луга и посевы, чтобы после того, как пройдет мое войско, не осталось ни одной травинки, ни одного зерна... Я позвал в этот великий поход Искендера и его соратников. Я рассчитывал на них, а они вдруг оказались равнодушными и не захотели принять участие в моих ослепительных победах. Близорукие! Будущие дни великих сражений скоро покажут, кто из нас прав: они или я. И тогда они пожалеют, что не пошли вместе со

мной через превращенные в золу и пепел «вечерние страны»...

Бату-хан вдруг успокоился, помрачнел и, медленно пройдя к своему месту, стал опять задумчиво подбрасывать в костер ветки душистого вереска. Он сделал знак толмачу приблизиться и, обняв за шею, стал шептать ему в ухо:

— Отныне ты должен удвоить твои наблюдения за этим русским воином. Проникать во все его думы и замыслы. Разведывать, кто его друзья и враги. Тебе известен мой гнев и моя милость...

— Постараюсь,— ответил, дрожа, перепуганный толмач,— но разгадать мысли русского гостя очень трудно: никогда никому он не говорит, что думает, что готовит.

Бату-хан еще более тихо прошептал:

— Тебе поможет в этом Зербиэт-ханум. Она до сих пор усердно извещала меня обо всем. Разрешаем тебе отправиться в путь вместе с Олексичем. Буду ждать твоих писем. Ступай!

Всякая сказка, каждая «бывальщина» имеет свой «зачин», имеет и свой конец, нежданный, негаданный...

В этот счастливый день, когда Гавриле Олексичу удалось, наконец, уговорить Бату-хана отпустить его домой в Новгород, радостный подходил он к своему шатру. Его поразило, что на этот раз хозяина не встречают приставленные для охраны слуги. У шатра татарской красавицы тоже никого не было. Что за чудо?

Обойдя рощицу, Олексич вдруг заметил между кустами несколько слуг и женщин из шатра Зербиэт-ханум. Они стояли на коленях, закрыв лицо руками, и, раскачиваясь из стороны в сторону, жалобно стонали.

— Что случилось? Говорите!

— Не гневайся на нас! Прости наш недосмотр, эмир великодушный! Мы не ждали, что такая беда свалится и на тебя и на нас! О-о-о!

— Да говорите же толком, какая беда?

— Наш драгоценный цветок, наш соловей, Зербиэт-ханум похищена!

Переводчик, неотступно следовавший за Олексичем, расспросил слуг и потом объяснил:

— Есть такой молодой знатный хан Иесун-Нóхай. То он на охоте, то бражничает с молодыми ханами, и

никакого другого дела у него нет. Он приезжал сюда в твое отсутствие раза два и с коня, подыгрывая на дутаре, пел песни, восхваляя красоту Зербиэт-ханум.

— Знаю такого,— всегда озорной и на полудиком коне.

— Сегодня утром он прискакал сюда и осадил коня перед шатром Зербиэт-ханум. Он пел о том, что красавица томится в тяжком плену у страшного медведя и что он приехал ее освободить. Зербиэт-ханум, услыша песню, вышла из шатра и неосторожно приблизилась к всаднику. А тот схватил ее, положил поперек седла и умчался. Слуги не успели задержать. Не казни их!

И все снова упали на колени и завыли.

— Наказывать я вас не стану, но и хвалить тоже не буду.

Гаврила Олексич строго приказал слугам пока никому не говорить о похищении, дивясь и радуясь неожиданному случаю, который избавил его от опасного ханского подарка. Он стал готовиться спешно к отъезду, еще опасаясь новой вспышки милости либо гнева монгольского владыки.

Глава девятая

НАКОНЕЦ ДОМА!

Ее глаза все время светились перед ним, вспыхивая искрами то радости, то укоризны. В тот последний далекий день, когда она, вся запорошенная снегом, стояла на высоком крыльце родного дома, накинув на плечи малиновую шубку, опушенную темным соболем, и махнула ему узорчатым платочком, а он обернулся в воротах, сдержал коня, и, не утерпев, помчался обратно к крыльцу, сжал маленькую руку, горячую и крепкую, и, выхватив ее платочек, понесся вскачь, вздымая снежную пыль. Этот день он вспоминал потом много, много раз, доставал тайком заветный платочек, расшитый по краям алыми шелками, и вдыхал нежный, чуть заметный аромат весенних цветов.

Не забыл он ее, свою Любаву, но, помимо воли, одурманила голову прекрасная татарка, зачаровала своей грустной песней, знойной пляской, змеиной гибкостью тела, и он проводил в ее шатре дни и ночи, все

забывая, слушая ее бархатный голос, заливая свою кручину крепким янтарным вином.

И как хорошо все же, что теперь ему не придется, как приказал Батый, везти ее с собой в Новгород. Он снова один, свободен, и гибельного дурмана как не бывало.

Теперь впереди дальняя дорога, такая же бесконечная и томительная, как щемящая сердце тоска. Его дружинники и слуги, все на лохматых взъерошенных конях, растянулись по узкому бечевнику вдоль застывшей бескрайней реки и делали короткие остановки в редких селениях, утонувших в снежных сугробах.

Наконец наступил желанный день, и путь окончен. Знакомые ворота с медным складнем на поперечной балке. Высокие шапки снега венчают боковые столбы. Мощный стук кулака разбудил дворовых псов, и они, гремя цепями, отозвались яростным лаем.

Узнав зычный голос хозяина, заохали, забегали слуги, распахивая створки тесовых ворот.

Гаврила Олексич медленно въехал во двор, окидывая зорким взглядом и блистающие на утреннем солнце слюдяные окошки с зелеными резными ставенками, и сани, и крытый возок под навесом, и свисающие, готовые рухнуть глыбы снега на крыше, и ледяные сосульки, и крыльцо с красными витыми столбиками.

Крыльцо, видимо, старательно подметено и, так же, как тогда, запорошено легким снегом, но лапушки еще нет... На ступеньках видны чьи-то следы. Гаврила Олексич придержал коня, ожидая, что вот-вот распахнется тяжелая дверь и выбежит его хозяюшка, простоволосая, не успев по-замужнему заложить тяжелые шелковистые косы... А из дому уже стали доноситься визги и радостные крики женских голосов.

Отворилась знакомая с детства дверь, и в ней показался седой сторож, Оксен Осипович, в синем охабне. Он спускался по ступенькам медленно и, сняв меховую шапку, низко поклонился боярину. А где же лапушка?

— Здравствуй, друже родной!— сказал Гаврила Олексич.— Где же моя хозяюшка? Или занемогла?— сходя с коня и отдавая поводья подбежавшему челядинцу, спрашивал он.

А во двор уже въезжали веселые дружинники, и все кругом наполнилось шумом, звоном оружия и громкими приветствиями.

Оксен Осипович бросился к Олексичу и припал к его плечу:

— Нету боярыни нашей, Любавушки твоей! Нянюшки тебе все расскажут. Мне невмоготу. Эх!—И старик, махнув безнадежно рукой, быстро засеменил к воротам, пробираясь между шумевшими всадниками.

Из дверей выбежала старая кормилица. Одной рукой она придерживала накинутую на плечи шубейку, другой поправляла съехавший на сторону платок на седой голове. Семеня слабыми ногами, она опустилась на колени и стала причитать:

— Зачем долго не приезжал? Зачем в Орде гулял, женушку-лапушку свою позабыл?

Гаврила Олексич наклонился, нежно поцеловал старушку в голову, сильными руками поднял ее и сказал тихо:

— Да говори толком всю правду, что случилось с моей боярыней?

Кормилица, всхлипывая и вытирая широким рукавом глаза, принялась рассказывать:

— Она много плакала и мне так говорила: «Узнала я, что мой хозяин в Орде себе другую жену завел, меня, бедную, позабыл. Жить больше не хочу. Руки бы на себя наложила, да боюсь гнева божьего...» И два дня назад обняла она меня крепко, так горячо, будто прощалась, просила детей беречь и к вечеру на коне уехала из дому, никому ничего не сказав.

Пока старушка объясняла, на крыльце уже собрались другие нянюшки и служанки, прибежали и дети его: мальчик и девочка. Все говорили, перебивая друг друга, некоторые утирали слезы. Гаврила Олексич, схватив на руки обоих детей, закричал:

— Эй, хватит! Довольно охать и кудахтать! Я знаю, куда уехала боярыня. Завтра я ее домой привезу на тройке с бубенцами. А сейчас ступайте обратно в хоромы. Принимайте гостей долгожданных. Накормите моих дружинников.

Все бросились в дом. А перед Гаврилой Олексичем остановилась высокая и дородная главная домовница

Фекла Никаноровна и, удерживая его за рукав, вкрадчиво сказала:

— Я тебе открою, свет наш ненаглядный, где ты найдешь своюу боярыню. Я уже все разведала. Она побывала у бабок вещих, и те наговорили ей бог весть чего. Вот и уехала она в женский скит. Постриг хочет принять, монахиней сделаться. Молодая женская кровь играет,— чего с досады не придумаешь!.. Постриг! Шуточное ли дело! Вот какой узел скрутился. А ты его сумей распутать...

Глава десятая

НЕЗАДАЧА

В день приезда Гаврила Олексич вел себя необычно, дружинники косились на него, но спрашивать не решались.

— Затуманился наш сокол!.. Вестимо дело: сколько дён ехал, подарков сколько на вьючных конях вез, а лапушка дома его и не встретила.

— Сидит теперь туча тучей за столом и прямо из ендовы романею пьет.

— Куда же боярыня уехала?

— Да не уехала, говорят тебе... Сбежала.

— Ой ли! Может, ее какой лихой молодец чернобровый силой увез?

— Тише ты! Не смей такого слова молвить!

— Не я говорю. От боярских поварих слышал.

— Поварихи же мне иное сказывали: в скит боярыня на богомолье уехала, а домовница обмолвилась, будто решила она постриг принять. Надоело без сроку Гаврилу Олексича ждать, а он, говорят, в Орде завел себе другую жену, татарку. Вот боярыня и затужила. Кровь-то у нее молодая, горячая, кипит,— вестимо, дурман-то в голову и кинется.

— Верно! А может, ее опоили. У боярина недругов немало.

— Зачем! Это она от обиды. Такую умницу-красавицу, как наша боярыня, и вдруг на басурманку сменить.

— Где же она, басурманка-то? Может, ее и не было?

— Нет, была! Пленные сами видели. Вот они и обмолвились...

— Все же сам подумай: по́стриг! Шуточное ли дело, ведь опосля оттуда возврата нет...

Все разговоры, однако, сразу оборвались, когда забегали слуги и стали сзывать некоторых близких дружинников в гридницу на беседу к боярину.

Не всех удалось собрать: одни ушли по своим дворам, других не могли добудиться,— спали крепким сном после тяжелой дороги.

Оправляя кафтаны, приглаживая длинные кудри, туже затягивая пояса, дружинники поднимались по скрипевшим ступеням в знакомую издавна гридницу. Все, казалось, на месте, как раньше бывало: и большие образа в углу в серебряных ризах, и скамьи, крытые червленым аксамитом. Так же сквозь обледенелые слюдяные оконца пробивались солнечные лучи и веселыми пятнами играли на широкой скатерти, расшитой мудреным узором.

Еще утром, повидав всех домашних, Гаврила Олексич собрался пойти к Александру Ярославичу, чтобы подробно рассказать ему о своей поездке к Батыю, но узнал, что князь на охоте и вернется в Новгород только дня через два. Значит, тем временем можно было заняться своими делами и отдохнуть.

Сейчас, без кафтана, в расстегнутой рубашке, с голой грудью, на которой виднелась серебряная цепочка с иконкой и ладанкой, он сидел, откинувшись назад, в красном углу, широко расставив на медвежьей шкуре длинные босые ноги. Татарские пестрые сафьяновые сапоги небрежно валялись под скамьей.

Он тяжело дышал и обводил угрюмым взглядом входивших, которые ему низко кланялись и становились кучкой близ двери. Возле Гаврилы Олексича, на краю стола, красовалась большая деревянная ендова и чеканной работы ковшик.

— Здравствуй на многие лета, Гаврила Олексич,— сказал старший из дружинников, высокий и степенный, поглаживая густую рыжеватую бороду и пытливо всматриваясь в побледневшее, но по-прежнему красивое лицо Гаврилы, то и дело облизывавшего сухие, воспаленные губы.

— Здравствуйте, ребятушки!— воскликнул тот, буд-

то очнувшись от забытья.— Садитесь поближе. Сейчас потолкуем. Эй, челядь! Подайте новый жбан с медом и чаши, да не малые, а побольше.

Слуги забегали, доставая с деревянных резных полок, тянувшихся вдоль стен, серебряные кубки и узорчатые заморские чаши.

Олексич подождал, пока слуга, стоя на коленях, обернул ему ноги цветными онучами, и сам натянул сапоги. Он встал, слегка покачиваясь, пока другой слуга помог ему одеть кафтан и опоясаться серебряным поясом. Поведя плечами, он провел рукой по волосам и сел в старое резное кресло. Держался он прямо, глядел зорко, и только воспаленные, покрасневшие глаза говорили о долгих часах раздумья, проведенных в одиночестве возле жбана с заморской романеей.

— А где Кузьма Шолох? Эй, Кузя!— крикнул Гаврила Олексич так громко, что, казалось, на дворе его услышали.

— Здесь я, здесь,— ответил весело Кузьма, входя в двери и застегивая кафтан.— Едва меня отлили ледяной водой Теперь я в полной справе.— Он улыбнулся задорно, низко поклонился и скромно уселся на скамье возле двери, всматриваясь в боярина, стараясь разгадать, что он надумал.

Тот выждал, пока слуги не расставили посуду и не налили в кубки и чаши темного меду или заморского густого вина

— Ну, живо поворачивайтесь и уходите отсюда,— сказал он челядинцам.— Да прикройте двери. А здесь, кто помоложе, пусть подливает ковшиком из жбана.

Все взяли в руки чаши и кубки и ждали.

— Я вас призвал к себе, други,— сказал Олексич и замолчал, прикрывая глаза большой крепкой ладонью.

— Верно, немец опять зашевелился?— осторожно прервал воцарившуюся тишину старший дружинник.

— Это дело нам не новое,— ответил, медленно опуская руку, Гаврила Олексич.— Немцы всегда против нас зубы точат, и с ними счеты мы сведем очень скоро.

— То-то мы разгуляемся!— весело воскликнул Кузьма Шолох.

— Погуляем!— поддержали другие голоса.

— Нет!.. Сейчас у меня другое дело. На это нужна ваша хитрость...— Он задумался на мгновение и, тряхнув головой, добавил:— Нужна еще... малая толика озорства. Недаром же мы все Васьки Буслаева внучата.

— Верно, верно,— загудели дружинники.— С тобой мы не прочь и поозорничать... Только пока нам невдомек, куда ты речь клонишь.

— Так и не угадали? А ты как смекаешь, Кузя?

— Мне думается: не на охоту ли ты нас зовешь? Бурнастая лисичка сбежала, да не простая, а с серебристой спинкой.

— Верно, Кузя, верно! И вот что нам нужно сделать. Тут главное — мешкать нельзя. Кое-кто уже норовит захватить драгоценную лисичку. А вот как надо этих охотников перехитрить...

— Поймаем, непременно поймаем!— воскликнули дружинники и переглянулись, сообразив, к чему клонит речь Гаврила Олексич.

— И медведя мы ловили и на волков ходили. Нам ли не освободить лисичку.

Гаврила Олексич встал и, опираясь руками на стол, вполголоса начал объяснять свой план:

— Смотрите, сейчас домой к своим женам да сестрам не отлучаться! Там если вы обмолвитесь одним словом, завтра уже будет знать весь Новгород. Берите из моих конюшен свежих коней, седлайте, и мы тотчас же выезжаем.

Глава одиннадцатая

ЗАМУТИЛА ТУГА-ТОСКА

Верстах в двадцати от Новгорода вниз по течению седого пенистого Волхова, на правом его берегу, среди березовых перелесков, затаилась женская обитель святой Параскевы-Пятницы. Купцы-кожевники братья Ноздрилины сперва возвели каменную церковь в память усопшей бабки своей Прасковьи Дормидонтовны, прозванной «Кремень», положившей начало богатству семьи Ноздрилиных, которые развернули большую торговлю с заморскими городами, поставляя им кожи, волос, щетину и шерсть, а главное — всевозможные меха.

В эту церковь с тех пор потекло паломничество главным образом женщин, приходивших со всех концов

новгородской земли. В народе укрепилось поверие, что горячая молитва святой Параскеве-Пятнице помогает и в бабьих болестях и во всяких женских печалях. Сведущие странницы-богомолки объясняли, что сама святая Параскева в жизни много претерпела от изверга мужа и от тринадцати детей, рождавшихся с великой трудностью. И после смерти великомученица продолжала жалеть всех, кто приходит к ней изливать в слезах и молитвах свою тяжелую бабью долю.

Братья Ноздрилины не ограничились постройкой церкви, а срубили целый скит из еловых и сосновых бревен, со всеми службами, общежитиями, конюшнями, складами, баней, погребом, коптильней для рыбы и пристанью для монастырских рыбачьих лодок.

Игуменьи избирались с высокого благословения новгородского архиепископа особо суровые, неулыбчивые, которые сумели бы держать в страхе божьем и повиновении всех монахинь и послушниц, прибывавших из ближних и дальних новгородских пятин. Игуменьи должны были строго и неусыпно блюсти монастырский порядок и добро, не допускать расточительности и наказывать нерадивых, зорко присматривая за мастерскими — ткацкой, вышивальной, иконописной, златошвейной, за пасекой и монастырским садом, где зрели яблоки, вишни и тянулись гряды кустов крыжовника и смородины.

Однажды после благовеста к заутрени в покои игуменьи, матери Евфимии, прибежала юная Феклуша, «послушница на побегушках», и, запыхавшись, рассказала:

— Сегодня, только что сторож Михеич пошел ворота отпирать,— глянь, а к скиту кто подъехал-то! Боярыня, настоящая боярыня, молодая, с жемчужными подвесками в ушах. Сама видела, как она платок с головы сдернула и, простоволосая, пошла к воротам. А Михеич чего-то перепугался и перед ней ворота снова запер. И говорит, что боярыне не иначе как грозит большая беда, наверное, старый муж убить хочет. Почему, говорит, она руки все ломает и тайком слезы смахивает, а сама пригожая да нарядная... И с нею две чернавки. Все трое на конях верхами, точно из татарской неволи прискакали.

— Да где же они? Сюда, что ли, идут?

— Нет, нет, мати Евфимия! Михеич их не пускает и никак не хочет отпереть ворота.

— Экой старый корень!

— Не хочет, ей-ей не хочет! Я говорю ему: «Отворяй, Михеич, пущай боярыню. Видишь, как устала с дороги». А он все одно отмахивается: «Может, за ней вдогонку сейчас боярин прискочит с молодцами и первому мне накладет по загривку. Знаю мужей обманутых!» Так и сказал: «Коли ежели мать-игуменья прикажет, то пусть и примают гостью послушницы. А я от беды ухожу подальше на Волхов сигов ловить».

— Вот неуёмный старик, путаник! Беги к матери Павле, скажи, что я велела ворота отворить, а боярыню у себя в келье принять. Да чтобы сейчас же затопили баньку.

Феклуша помчалась со всех ног, а мать-игуменья стала облачаться, чтобы показаться прибывшей во всем своем великолепии.

Прибывшую молодую боярыню поместили в келье ключницы, матери Павлы, и та сама с ней сходила в жарко натопленную баньку, где они обе мылись и обливались квасом. Мать Павла потом шептала на ухо игуменье, что у молодой боярыни все исправно, никаких бесовских знаков или синяков не видно. Сама мочалкой ей терла и спину и живот. Тоже неприметно, чтобы она была на сносях,— хоть небольшая, но складная и в юном теле. Жить бы ей и поживать в любви и радости, а вот заладила одно: «Примите меня в скит, хочу пóстриг принять».

— Мать честная!— воскликнула игуменья.— Да ведь если она к нам в обитель вступит, то вклад богатейший внесет и казной и угодьями. Какие земли, пашни и покосы наш скит сможет от нее заполучить в вечное владенье! Надо немедленно свершить над боярыней постриг, пока она не одумалась и назад домой не уехала. Феклуша, попроси ко мне отца Досифея. Мы с ним все обсудим.

Глава двенадцатая

В СКИТУ

Любава стояла на коленях на подложенной черной бархатной подушке посреди храма, перед аналоем с образом пресвятой богородицы. Рядом с ней старая монахиня бережно держала на руках длинную черную одеж-

ду и черный же куколь. В эту одежду будет облачена после пострига молодая боярыня. Ее длинные белокурые распущенные волосы ниспадали по спине. Сегодня, после пострига, шелковистые волосы будут отхвачены резаками и упадут на холодный каменный пол.

Пока еще только послушница, Любава крепко сжимала маленькие руки. Полубезумным взглядом она уставилась на большой образ богоматери с младенцем на руках и сухими дрожащими губами тихо шептала то слова молитвы, то какие-то бессвязные жалобы: «Господи, укрепи веру мою! Помоги, мати божия, исполнить волю господню! Изгони мою слабость!»

Позади молившейся стояла величавая и суровая игуменья Евфимия. Строго сдвинув черные брови, она опиралась на высокий посох с золотым набалдашником. Игуменья зорким, как бы скорбным, а иногда хмурым взглядом посматривала то на маленькую боярыню, то на лицо Досифея, иеромонаха, стоявшего возле боярыни и тихо твердившего, склоняясь к ее уху:

— Молись, чадо мое... и повторяй слова, издревле реченные: «Аз, раба божия, грешная...»

Но боярыня как будто его не слышала, и совсем другие слова слетали с ее бледных дрожащих губ.

Игуменья сделала глазами строгий знак монашке, стоявшей поблизости с небольшим медным подносом, на котором был серебряный ковшик с теплым вином, подносимым причастникам. Монашка подошла ближе. Стоявший рядом с Досифеем громоздкий, краснолицый, с рыжей бородой диакон взял ковшик, поднес к устам Любавы и пробасил:

— Испей, дочь моя, теплоты на поддержание сил телесных.

Хор монахинь на клиросе пел необычайно скорбный псалом, говоривший о бренности земной жизни, о тщете и суетности всех мирских стремлений и радостей.

— «Свете тихий святые славы, пришедый на запад солнца, видеста свет вечерний...» — жалобно выводили нежные женские голоса, и делались более грустными лица стоявших рядами монахинь, старых и молодых, в черных рясах, истово крестившихся и одновременно опускавшихся на колени или бесшумно встававших.

«Послушница для побегушек» Феклуша мышью пробралась среди стоявших монахинь и проскользнула к

самой игуменье. Та сурово скосила на нее глаз, но, увидев встревоженное лицо черницы, величаво склонилась и подставила ухо.

— Приехали! Много молодцов... На лихих конях... Одни ворота ломают, другие поскакали в обход скита. Там теперь у ворот мать Павла с ними бранится и прочь гонит. Послала спросить, святая мать игуменья, что ей делать?

— Скажи, чтобы крепилась во славу божию. Только господь нам поможет, и беси окаяния вси отринутся.

Точно порыв ветра и шорох пронеслись по рядам безмолвно стоящих монахинь, которые слегка зашевелились и потом снова застыли в благоговейной тишине. Феклуша исчезла. Игуменья, качнув утвердительно головой, посмотрела многозначительно на Досифея:

— Поспешай!— и, повернувшись к пышнотелой монахине, сестре «на ключах», прошипела:— Свечи!

Две черницы пошли по рядам, раздавая молящимся тонкие восковые свечи. Все зажгли одна от другой, и храм озарился множеством огоньков. Хор стал разливаться еще более скорбным антифоном, какие обычно слышатся при отпевании покойников: ведь раба божия уходит добровольно из мира, отказываясь от всех житейских радостей, и становится верной «рабою Христа».

Отец Досифей снова склонился к стоящей на коленях Любаве и продолжал настойчиво внушать:

— Повторяй, чадо мое, что аз тебе реку: «Добровольно хочу чин ангельский принять...»

Черница вставила в сжатые руки боярыни толстую зажженную свечу, и в дрожащем ее свете уже можно было яснее различить нежные черты бледного лица и крупные слезы, катившиеся из-под опущенных ресниц.

Тщетно отец Досифей склонял свое волосатое ухо к устам Любавы, он не мог уловить ни одного ее слова. А игуменья продолжала твердить, будто не замечая молчания Любавы:

— Она уже говорит... Говорит все, что положено. Продолжай, отец Досифей. Свершай постриг! Где резаки?

— Здесь, у меня резаки!— прогудел дьякон, держа в руках большие полузаржавевшие ножницы.

— Чего ждете?— торопила игуменья.— Отрезай четыре пряди крестообразно на голове и выстригай поскорее гуменцо...

Боярыня, зажмурив глаза и крепко сжав губы, больше не произносила ни слова. Вдруг ее маленький рот полуоткрылся и засияли удивлением и радостью глаза: она услышала такой знакомый, такой родной голос:

— Любава! Любушка моя! Цветочек вешний! Каким злым ветром тебя сюда занесло? Ты зачем здесь, моя ласочка?

Любава, точно очнувшись, вскочила на ноги и уронила свечу. Перед ней, в полумраке храма, в сизом дыме душистого ладана стоял он, ее любимый, долгожданный муж и смотрел на нее веселым, ласковым взглядом.

Она покачнулась и, протянув вперед руки, бросилась к Гавриле Олексичу, но, потеряв последние силы, упала плашмя на каменный холодный пол.

— Ты откуда, бесстыжий басурман, взялся?— визгливо закричала, забыв свой сан, игуменья.— Какая тебе здесь надоба в женской святой обители? Вон отсюда, охальник, нечестивый татарский перевертыш!

Все монахини, смешав ряды, бросились в стороны и столпились в углах. А в храм, стуча сапогами и копьями, входили дружинники и громко переговаривались. С гневным, оскорбленным видом, замахиваясь посохом, игуменья направилась к Гавриле Олексичу, а он, как бы ее не замечая, бережно подхватил на руки потерявшую сознание Любаву и быстро пошел к выходу. За ним и дружинники с шумом стали покидать храм, поглядывая на оторопелых монашек.

Пение на клиросе прервалось. Все певчие застыли в изумлении. Лишь одна игуменья продолжала стучать посохом о пол и кричала:

— Окаянный безбожник! Владыке пожалуюсь! В Киев к самому митрополиту поеду! Он на тебя нашлет и грозу, и страх, и трепет!





Часть пятая

ГРОЗОВЫЕ ТУЧИ СГУЩАЮТСЯ

Глава первая
ДЖИНН ПРЕДОСТЕРЕГАЕТ

(Из «Путевой книги» Хаджи-Рахима)

Вчера мне приснился такой необычайный сон. Будто бы я шел пустынной степью, погружаясь в воспоминания, спотыкаясь о камни, по которым скользили зеленые ящерицы, иногда извивалась золотистая змейка.

Вдруг раздался короткий свист ветра и оборвался. Точно большая темная птица промчалась мимо и скрылась в туманных сумерках.

На перекрестке извилистых пыльных дорог, на заросшей дикими травами «Могиле неизвестного дервиша» задумчиво сидел мой Джинн.

Много лет я не видел его, но сразу узнал по смуглому прекрасному лицу, по бирюзовым светящимся, пронизывающим глазам, по его темно-лиловой легкой одежде, расшитой золотыми узорами с алмазными блестками. Когда я подошел ближе, глаза его потемнели от гнева и стали черными.

Он заговорил... И слова его, тихие и мелодичные, бархатными переливами долетали до меня, как обрывки древней дивной песни:

— Ты забывал меня? Ты уходил от вечности? Ты шатался по шумным базарам, в беспокойной толпе, и пропадал в трущобах, где враждуют завистники и неверные? Месяцы проплывали бесследно, а ты забывал восторги творчества и полеты по синему эфиру к сверкающим созвездиям...

Затаив дыхание, я молчал, стараясь не пропустить ни одного слова моего могучего, своенравного покровителя, надолго меня покидавшего.

— Я сегодня являюсь перед тобой в последний раз. И если я увижу, что ты отвернулся от бессмертной мысли и от бесед с великими тенями прошлого, борцами за ослепительные дали,— ты меня никогда больше не увидишь.

Я ответил:

— Долго я скитался по свету, разыскивая тебя, свободный неукротимый гений, и не мог заметить хотя бы мимолетную тень, хотя бы какие-либо полустертые твои следы...

Он пошевельнулся, и светлый отблеск его заколебался на серой земле, как жемчужное пятно лунного света.

— Где твоя неистовая подруга Мысль? Где она, уводившая тебя в необычайное? Почему я не вижу ее рядом с тобой? Разве и она от тебя отвернулась?

— Нет! Ничтожные, не сумевшие погубить меня, по безумию и злобе убили мою легкокрылую, доверчивую подругу. С тех пор я скитаюсь, я ранен, я одинок и не нужен людям...

— Ты бредишь! Сделайся им необходимым! Добьешься ты этого только своей волей... Человек умирает, но Мысль его остается бессмертной... Я уже вижу легкую

тень твоей стремительной подруги снова рядом с тобой...

Джинн выпрямился. Его стройный силуэт четко вырисовался на вечернем небе, где вдали вспыхивали яркие бесшумные зарницы. Он указал на запад:

— Твой путь направь туда! Там на необозримой равнине будут страшные бои. Ты увидишь там и великое мужество защитников своей родины, и неодолимую волю завоевателя. И те и другие сильнее железа и огня. Будь среди смелых, и ты о них расскажешь другим...

Величественный облик Джинна становился все прозрачнее и, наконец, исчез.

Налетевший холодный ветер шелестел полузасохшими стеблями растений. Могила была пуста и печальна. И я решил направиться на запад, в сторону загоравшихся и потухавших зарниц.

Такой странный сон я увидел. Сбудется ли он?..»

Глава вторая

В БАГРОВЫХ ЛУЧАХ

Когда кончились теплые дни, осень подула холодными ветрами и морозные утренники заставили вспомнить о меховых шубах, Юлдуз-хатун впервые услышала точные сроки, когда хан великой татарской орды решил броситься в стремительный набег на «вечерние страны»...

К этому времени веселые певучие ручьи затянулись ледяной корой, реки по берегам обросли наледью, обещая скоро замерзнуть совсем. Тогда все пути окажутся удобнопроходимыми не только для многотысячной конницы, но и для верблюжьих караванов и обозов, скрипучих арб, увлекаемых откормившимися за лето могучими круторогими волами.

Тихая Юлдуз-хатун вместе со своей верной рабыней китаянкой И Ля-хэ все время проводила в небольшом саду, устроенном вокруг золотого домика за высокой каменной оградой. Китаянка И Ля-хэ еще ранней весной уезжала на маленькой лошадке в степь, отыскивала там любимые на ее далекой родине растения и привозила ирисы, тюльпаны и другие красивые цветы, а также целебные травы. Все они были старательно рассажены на грядках, вдоль дорожек, искусно переплетавшихся по хитроумному рисунку строителя дворца Ли Тун-по. Он

же устроил легкую, точно кружевную, беседку, какие на его родине обычно ставятся над дворцовыми прудами. Через сад проходила канавка, выведенная из родника, находившегося выше города Сарая. Большой арык прорезал всю новую столицу и ниспадал несколькими каскадами. Он вращал колеса небольшой водяной мельницы, где перемалывалась самая тонкая пшеничная мука на надобности дворцового стола.

Посреди сада находился бассейн, обложенный цветными камешками. В нем плавали маленькие краснoперые рыбки. Юлдуз-хатун любила кормить их, когда при звоне ее колокольчика они всплывали веселыми стайками.

Этой осенью Бату-хан по многу дней не навещал Юлдуз-хатун, все время был в разъездах, проверял отдельные части своего огромного войска или совещался с темниками, подготовляя поход на запад. Он должен был начаться внезапно и стремительно.

Однажды Бату-хан приехал к Юлдуз-хатун под вечер. Они сидели одни в кружевной беседке, и тут у них впервые произошел спор. Юлдуз-хатун сказала, опустив глаза:

— Прости, что я коснусь задуманного тобой, но о чем я знаю только понаслышке. Я хочу высказать то, что томит мое сердце. Ведь я люблю тебя не за то, что ты непобедимый полководец и великий правитель народа. Я впервые затрепетала, увидев тебя еще тогда, когда ты был гоним и когда, как лихой джигит, ускользнул от убийц на захваченном тобой чужом белоснежном коне. С тех пор мое маленькое сердце лежит в твоей ладони и мысли мои вьются постоянно вокруг тебя...

Юлдуз-хатун замолкла и с тревогой наблюдала, как последние лучи заходящего солнца, пробившись сквозь пожелтевшую листву деревьев, багровыми пятнами упали на смуглое суровое лицо, такое близкое и родное. От порывов ветра эти красные пятна шевелились, и она подумала о потоках алой крови, всегда проливавшейся по мановению жестокой руки этого, сейчас так тихо и мирно сидящего рядом с ней человека.

— Скоро мы с тобой расстанемся,— сказал он.— Впервые я поеду без тебя.

— Это в твоей воле!— И Юлдуз-хатун закрыла глаза узорчатым рукавом.

— Ты плачешь?

— Как всегда, когда ты хочешь меня покинуть... Я хочу тебя спросить. Можно?

— Говори.

— Для чего ты начинаешь еще один поход?

Она увидела, как брови удивленно поднялись и глаз скосился, недоверчивый и пытливый.

— Почему ты это спрашиваешь? Ты давно знаешь, что я должен выполнять завет «священного правителя». Он приказал, чтобы непобедимое войско монголов дошло до «последнего моря».

— А для чего тебе надо выполнять то, что завещал этот...— она боялась сказать, но все-таки, пересилив себя, сказала:— страшный старик?..

При этих словах Бату-хан вздрогнул.

— Он же ненавидел и боялся твоего отца, Джучи-хана. Поэтому теперь он бы ненавидел и тебя, завидуя твоим победам.

Один глаз Бату-хана прищурился, и легкая улыбка скользнула по губам.

— Ты, Юлдуз-хатун, самая смелая во всей моей Синей Орде. Ты одна сказала мне то, что не решился бы прошептать ни один из самых храбрых воинов.

— Моя любовь к тебе сильнее страха. Поэтому я скажу тебе еще кое-что. Ты необычайно раздвинул границы своего царства. Укрепи и сбереги его... И еще скажу... Не разрушай столицы русов Кыюва, а сделай ее своей второй столицей и передовой крепостью против «вечерних стран»...

Бату-хан в гневе вскочил:

— Кто тебя научил так говорить? Сама ты не смогла бы это придумать. Твой совет — это женские гаремные разговоры и страхи! Я не могу нарушить данное слово. Я обещал моим воинам, что каждый, кто ворвется в Кыюв, сможет отломить кусок золотой крыши с дома бога. Довольно и того, что три года назад я обещал войску, что будет разграблен богатый город русов Новгород. Но я не дошел до него, застряв с войском в непроходимом болоте. Мои багатуры скажут, что я хвастун и не выполняю своих обещаний.

Юлдуз-хатун завернулась с головой в свое легкое черное покрывало.

— Опять слезы?

— Долго ли ты будешь в походе?

— Двенадцать лун.

Уже уходивший Бату быстро повернулся, подошел к Юлдуз и жесткой рукой схватил ее за нежное плечо. Он быстро стал шептать:

— Подари мне сына! У меня много сыновей, но я с горечью вижу, что среди них нет полководца. Нет похожего на солнце! Нет у меня достойного наследника! Все мои сыновья между собой дерутся и ссорятся, готовые отравить друг друга. Наследником может стать только тот, кто умеет повелевать. А такого нет!

Юлдуз-хатун стыдливо закрыла лицо руками и сказала:

— Потому я и хочу, чтобы ты никуда больше не отправлялся, довольствовался твоим блистающим, как солнце, царством Синей небесной Орды, чтобы ты оставался всегда в Сарае.

— Почему?

— Потому что я уже надеюсь и даже уверена, что скоро я тебе подарю сына, и у него будут твои зоркие глаза, твоя смелость и твое уменье повелевать...

Бату-хан стоял задумчивый, озаренный багровыми лучами заходящего солнца:

— Для меня смелый, доблестный сын будет высшей радостью. Весь поход я буду думать о тебе и ожидать твоего драгоценного для меня дара. Но я отправлюсь в поход в назначенный мною день... Чтобы оставаться могучим, я должен раздавить моих соседей, или они раздавят меня.

Глава третья

ГНЕВ БАТУ-ХАНА

Бату-хана редко кто видел разгневанным. Смуглое сухое лицо его, точно выточенное из старого ореха, всегда казалось спокойным и невозмутимым в самых потрясающих обстоятельствах, хотя в сердце его, может быть бушевали вихри. Так в разгар боя, отчаянной атаки «бешеных» или штурма города вся сила воли, напряженной мысли полудикого ума, злорадства или досады — все достигало высшей силы, сжатое, словно в клещах, в несокрушимый алмаз, который все может разрезать, вспыхивая холодными искрами сухих коротких приказаний.

В таких случаях особенно сверкал прищуренный глаз и левый уголок рта с изогнутым разрезом сухих губ слегка приподнимался, показывая оскал хищных зубов. Его смуглое холодное лицо освещалось мимолетной усмешкой, самоуверенной, убежденной в своем могуществе и неизменной боевой удаче.

При этом Бату-хан не раз говорил:

— Могучий бог войны Сульдэ еще от меня не отвернулся!

Но в этот роковой день Саин-хан почувствовал угрозу возможной опасности. Всегда полагаясь только на себя, считая, что для него нет ничего невозможного, в этот день он почуял веяние черного крыла беды, и ему представилось вдруг страшное крушение задуманного похода, развал величественного плана завоевания вселенной, плана волнующего, задуманного его более счастливым, но ненавистным дедом.

Чтобы проверить свои опасения, Бату-хан созвал «малый совет» из семи высших, умудренных опытом чингизидов и багатуров. Однако, из гордости решив пока не раскрывать перед ними возникших тревог, он надеялся в разговоре навести своих собеседников на те же мысли, но сделать так, чтобы эти опасения исходили как будто от них самих.

В назначенный час все входили, скрестив руки на животе в комнату, украшенную при входе двумя позолоченными китайскими «драконами счастья». Комната «великого приема» небольшая, квадратная. Пол затянут хорезмским красным ковром. У задней стены разложен, поверх первого, другой небольшой шелковый персидский ковер с причудливым рисунком. Здесь посередине лежит стопка квадратных выделанных до нежности замши кусков толстой верблюжьей кожи. На стене, над этим священным местом, прикреплены два «туга»— знамена правого и левого крыла монгольского войска. Между ними — девятихвостый «туг» джэхангира, повелителя вселенной и начальника всех монгольских сил. Среди восьми густых черных хвостов яка посредине выделялся длинный рыжий хвост знаменитого Чингизханова жеребца.

Эта стопка из двадцати семи (три счастливых девятки!) верблюжьих кож, заведенная «потрясателем вселенной», являлась священным походным троном

внука его — Бату-хана. Все монголы помнили однажды сказанные Бату-ханом слова: «Полководец не должен возить с собой золотой трон. Он должен отбирать золотые троны у покоренных владык и переливать их в кубки для веселых пиров с верными соратниками. Троном великого смелого завоевателя должен быть подседельник его коня».

По правую сторону от трона обычно садились великие начальники отдельных орд, кюряганы[1]-чингизиды: Орду, Шейбани, Гуюк и Менгу. В этот вечер Орду еще не явился. Гуюк (как обычно) тоже прислал гонца с известием, что он заболел. По левую сторону поместились грозные темники: Пайдар, Кадан, Бурунтай и великий аталык, воспитатель и военный советник Бату-хана, Субэдай-багатур, сверлящий каждого своим единственным глазом.

Бату-хан поднялся по витой лестнице и вошел бесшумной походкой тигра.

— Да сохранит тебя вечное небо на тысячу лет! — склонившись, воскликнули все ожидавшие.

Гибкими движениями хищного зверя Бату-хан уселся на желтой стопке верблюжьих кож и обвел всех внимательным взглядом: никакой тревоги или озабоченности ни у кого на лице он не заметил.

Все подходили к Бату-хану и совершали положенные выражения верности и почтения, целуя ковер между руками. Затем медленно и с достоинством садились вдоль стен. Ловко проскользнувший в комнату негритенок Саид принес ворох ковровых подушек и подложил каждому под руку. Осталось пустым только место справа от Бату-хана, где обычно сидел его старший и любимый брат Орду.

Общее молчание прервал хан Менгу, сказав с приветливой улыбкой:

— Кажется, мы уже накануне «счастливого дня», начала долгожданного похода? Как ты здравствуешь, наш любимый Саин-хан? Силен ли ты? Как дышит твоя грудь? Как могучи твои руки?

Бату-хан равнодушно отвечал, смотря прямо перед собой:

---

[1] Кюряган — царевич.

— Благодарение вечному небу! Я здоров. Все благополучно. Ты здоров ли?

Менгу пробормотал обычную благодарность.

Все затихли, ожидая, что скажет Бату-хан. Он начал отрывисто:

— Верно сказал мой почтенный кюряган Менгу. Впереди «счастливый день». Он уже близок. Но... поведайте мне, что вы думаете, все ли у вас благополучно?— Бату-хан обвел всех угрюмым взглядом и остановился на крайнем слева хане Шейбани. Тот поправил колпак из пушистой черной лисы, передернул плечом и сказал:

— Как будто все даже очень благополучно. Батыры наши рвутся в поход. Кони сыты, отдохнув за лето. Могучий победоносный бог войны незримо витает над нами и ждет с нетерпением, когда запылит конница. Поход будет так же славен, как все предыдущие походы нашего непобедимого Саин-хана, хотя мы и рассчитывали на большую подмогу, которой, к сожалению, теперь лишились.

Все сидевшие воскликнули:

— Да живет и будет всегда озарен блеском победы великий Саин-хан! Он справится со всеми противниками! Горе тем, кто встанет на его пути!

Бату-хан тихо процедил сквозь зубы, но все расслышали загадочные слова:

— Шейбани-хан что-то знает, но предпочитает умолчать.— Бату-хан перевел свой взгляд на задумавшегося Менгу-хана:— А ты что скажешь, мой всегда правдивый советник?

Общий любимец, всегда беспечный и чуждый коварства, Менгу-хан развел руками:

— Что я могу сказать? Я никогда не боюсь опасности. Если возникает препятствие или угрожает бедствие, надо только удвоить свою осторожность, свое старание и смелость. Но пусть лучше скажет Шейбани-хан то, о чем он умалчивает.

Шейбани посмотрел на всех, потом строго прикрикнул на негритенка, который стоял у входа, раскрыв рот, внимательно слушая разговор:

— Проваливай отсюда, черный змееныш!— И Шейбани подождал, пока Саид убежал, затем спросил шепотом:— А кто там за занавеской?

— Там находится Юлдуз-хатун,— сказал спокойно Бату-хан.— Она моя тень и может знать все мои думы. Откликнись, маленькая госпожа этого дворца! Я хочу, чтобы ты лучше слышала нашу беседу.

Нежный голос ответил:

— Я повинуюсь, мой властелин!

Отодвинулась черная шелковая занавеска, расшитая большими золотыми драконами. В глубине небольшой комнаты с низкими диванами вокруг стен сидели две женщины. Их знали все близкие Бату-хана. Это была его маленькая любимая жена Юлдуз-хатун и преданная ей рабыня, раньше знатная китаянка И Ля-хэ. В раскрытые двери, выходившие на балкон, виднелись низко плывущие облака и багровый закат потухающего солнца.

Шейбани-хан заговорил медленно, растягивая слова:

— Мне думается... что мы начинаем... поход... не вовремя... и даже с большой неудачей...

Все, вздрогнув, замерли, удивленно смотря на хана Шейбани. Слова его показались дерзкими.

— Какой неудачей?— холодно спросил Бату-хан. Но лицо его оставалось непроницаемым.

— Конечно, неудачей! Наше войско сразу уменьшилось на четверть, а может быть, и на две.

— Почему?— так же невозмутимо протянул Бату-хан.

— Мы давно ждем посольства от кыпчакских беков. Но напрасно. Все кыпчакские отряды были нами беспощадно разгромлены, и хотя они рассыпались по степи, но упрямо продолжали воевать с нами. Кыпчаки храбрые и выносливые противники. К ним не раз подсылались наши послы. Они соблазняли кыпчаков, предлагая присоединиться к победоносному монгольскому войску. Если бы они на это согласились, то могли бы принять участие в разгроме «вечерних стран» и набить свои седельные сумы несметными богатствами. Но у кыпчаков вместо голов на плечах пустые тыквы с длинными усами и пучком волос на затылке. Отчего они бегут и куда? Кыпчаков не менее шестидесяти тысяч кибиток. Они могли бы свободно выставить союзное нам войско в шесть туменов лихих всадников. Но кыпчаки бессмысленно убивали наших послов. И теперь, как только наши лазутчики прибывают к ним в кочевья и передают

дружеские письма от нашего мудрого советника Субэдай-багатура, кыпчаки, точно в ужасе, поспешно складывают шатры, вьючат их на верблюдов и уходят на заход солнца.

Все молчали, посматривая на Бату-хана. Тот равнодушно отчеканил:

— В чем же вторая неудача для нас?

— Вторая неудача,— продолжал Шейбани,— это упрямые, упорные русы. Они тоже могли бы выставить войско не менее ста тысяч пеших и конных воинов. Разве устояли бы «вечерние страны» против такого вторжения грозных воинов востока?

— Для чего еще вспоминать о русах и жалеть, что их нет! — возразил хан Менгу.— Мы достаточно их узнали. Эти бородатые силачи любят свои медвежьи берлоги и не хотят вылезать из них. Они хорошо дерутся только тогда, когда защищают свою родную землю, и не любят вторгаться в чужие. Нечего надеяться на их помощь! Медведям не угнаться за нашей стремительной конницей, все равно они от нас отстали бы по дороге.

— Никто их помощи и не просит,— сказал хан Пайдар.— Кыпчаков нет с нами. Подумаешь, какая беда! Фью!— свистнул он.— Они теперь уже далеко и будут бежать без оглядки все дальше, пока не перекинутся через Карпатские хребты. Как союзники кыпчаки для нас потеряны, а как враги? Что за противники, которые убегают!

— Но ни забывать, ни прощать кыпчаков нельзя!— прохрипел ржавым голосом Субэдай-багатур.— Мы их должны ненавидеть как изменников, как подлых шакалов. Если они воюют против нас и вредят нам как предатели, то нет и не будет им пощады! Если и мадьяры тоже станут воевать против нас, то и их мы накажем строже, чем обыкновенных противников. Наш проницательный владыка уже много раз посылал через верных людей письма к мадьярскому королю Беле, напоминая, что он должен встретить нас гостеприимно, как единокровных братьев, и соединиться с нами для дальнейшего похода на «вечерние страны», скрепив союз булатной цепью дружбы.

— А если Бела притворно согласится, а потом изменит нам?— тихо спросил Шейбани.

Участники «тайного совета девяти» впервые увидели всегда невозмутимого Бату-хана вдруг охваченного яростным гневом. Он внезапно упал вперед на руки, оттолкнув ногой замшевое сиденье, и, несколько мгновений стоя на четвереньках, с оскаленными зубами и сверкающими глазами, был похож на огрызающегося от собак разъяренного волка:

— Вздор! Болтовня! Пустые страхи! Недостойно,— сказал Шейбани-хан.

Бату-хан вскочил на ноги и в бешенстве продолжал:

— Жалок, ничтожен тот полководец, который, отправляясь в поход, озирается по сторонам, подыскивая союзников... А я думаю, что все то, что для Шейбани кажется несчастьем, на самом деле наша большая удача. Скрытый враг опаснее явного. Какая польза от таких союзников, которые колеблются и которых нам же еще пришлось бы спасать! В гнилое болото их, к злым духам — мангусам! Если наше войско стало меньше, как говорит Шейбани-хан, а врагов стало больше,— то вот как я думаю, и со мной так же думает Субэдай-багатур, мой мудрый учитель. Ведь он же меня наставлял в правилах войны, когда мы вторгались в великое царство Цзин[1]. «Если нас мало,— говорил он,— то мы должны нападать, как дикие звери бешеной стаей. Там, где другое войско идет десять дней, мы должны пронестись ураганом в два дня. Тиходумы, тяжкостопы мне не нужны. С ними победы не добиться!» Верно ли я сказал? Так ли ты учил?

— Верно, все верно!— прохрипел Субэдай-багатур.

— И мы выступаем немедленно!— горячо продолжал Бату-хан.— Бросаемся на «вечерние страны»! Мы сметем с лица земли всех, кого встретим на пути. Правое крыло нашего непобедимого войска разгромит город русов Чернигов, затем Переяславль[2] и двинется на поляков и далее на угров[3] или мадьяр. А левое крыло переправится через Днепр и обрушится на Кыюв, сдерет золотые крыши с домов их бога и обратит в золу и пепел эту древнюю столицу руссов. Это будет последний

---

[1] Царство Цзин — Китай.
[2] Имеется в виду южный Переяславль-Хмельницкий.
[3] Угры — венгры.

смертельный удар копьем в спину поверженного навсегда в прах когда-то сильного народа...

— Ай, хорошо! Ай, как хорошо!— воскликнули ханы.

— Останавливаться в Кыюве я не буду!— продолжал, задыхаясь, Бату.— Впереди много новой добычи... Очень много! Надо сперва пронестись через страну польского короля, разметать его войско, чтобы оно не затаилось в крепостях и лесах и не поджидало удобного случая напасть на нас сзади. Все войска поляков и их союзников германов, хвастунов с белыми крестами на спине, и других их союзников мы растопчем нашими чудесными конями и смешаем их с пылью дорог... И тогда я займусь сладостной местью! Я нападу на предателей кыпчаков и мадьяр и раздеру их в клочки, как барс, вскочивший на спину ревущего от ужаса быка. Там, на равнинах плодоносной угорской степи, я дам передышку нашим смелым воинам и нашим дивным неутомимым коням...

Все замерли, с удивлением глядя на обычно молчаливого Бату-хана. Поднявшись, он стоял, сжав кулаки, бурно дыша, ноздри его раздувались, губы вздрагивали. Он продолжал с злобной усмешкой:

— Я клянусь, что поймаю мадьярского короля Белу и сам перекушу ему горло и напьюсь его крови... Тогда я буду, наконец, свободен и померяюсь силами с другими войсками «вечерних стран». Тогда Шейбани-хан увидит, кто сильнее: быстрая, как ветер, непобедимая монгольская конница или их прославленная медлительная конница, спрятанная под железными латами и прикрывшаяся тяжелыми щитами...

— Ты удалец! Ты настоящий багатур, мой младший брат!— прозвучал низкий голос. В дверях стоял грузный хан Орду.— Я узнаю в твоих речах могучий голос нашего деда, священного правителя, потрясателя вселенной!

При этих словах все монголы подняли руки кверху и несколько раз наклонились, произнося тихо заклинания.

Орду подошел к Бату-хану, обнял его и слизал языком с его щек капли пота. Он сам подобрал и сложил в стопку рассыпавшиеся верблюжьи кожи и усадил на них побледневшего, нахмуренного Бату-хана. Тот указал Орду на место рядом с собой и спросил:

— Отчего ты запоздал? Здоров ли ты? Силен ли ты?

Орду отмахнулся и стал скрести пятерней толстую шею.

— Какое горе! Какая потеря!— притворно застонал он.

— Догадываюсь: твоя греческая царевна!— невозмутимо произнес ледяным голосом Бату-хан.

Глава четвертая

ДЕРЗОСТЬ ХАНА НОХАЯ

Все участники «великого совета» с веселыми улыбками переглянулись. Орду засопел и развел руками:

— Она моя и уже не моя! Ее у меня похитили. Или, может быть, она сама убежала... Но только, как я узнал, она теперь скрывается у твоего, Саин-хан, любимца, молодого буяна Нохая, беспутного сына почтенных родителей.

Раздались удивленные голоса:

— Как? У достойного Татар-хана сын буян и сорванец? Да может ли это быть?

— Вы этого не знаете, потому что последнее время, почти целый год, юный хан Нохай кочевал в степи, охотясь на сайгаков, лисиц и волков. А недавно его отец вызвал его домой, сюда, в нашу ставку, вследствие слухов о предстоящем походе. В этом походе должен участвовать каждый чингизид. Поэтому отец надеется, что в походе Нохай остепенится и покажет себя доблестным воином. И что же! Здесь, в ставке, он снова буянит, никому не дает покоя, затевает драки, устраивает попойки. На своем вороном коне с дутаром в руках он подъезжает пьяный к юртам разных достойных ханов и поет песни, прославляющие их жен и наложниц...

— Дзе-дзе!— воскликнули сидящие, укоризненно покачивая головой.

— Полоумные женщины, услышав песни Нохая, как зачарованные, выходят к нему, а он их хватает, перекидывает поперек седла и вскачь увозит в свое становище. Говорят, что там у него уже образовался целый гарем из похищенных жен, и первой была Зербиэт-ханум, подаренная тобой новгородскому послу...

— А первой распутницей в этом гареме — твоя греческая царевна?— равнодушно спросил Бату-хан.— Почему же ты не зарубил и ее и хана Нохая?

Орду обратился к китаянке И Ля-хэ, сидевшей у ног молчаливой Юлдуз-хатун:

— Почтенная китатка! Не можешь ли ты мне уступить сюда пару подушек? Мне трудно сидеть на этом ханском священном троне.

И Ля-хэ бесшумно принесла и положила ковровые подушки, на которых Орду удобно уселся и продолжал:

— Да, я не зарубил Нохая. Моя вина! Наоборот: я обнял его, когда он через день прискакал ко мне, как безумный, держа в руках лисий колпак и повесив пояс на шею[1]. Он просил меня его зарезать и взять пленницу-гречанку обратно, обещал дать впридачу отборного коня, персидский ковер и двадцать рабов. Он поклялся, что будто бы в тот вечер похищения гречанки был совершенно пьян. Но это все неверно. Он снова шутил. Это меня развеселило. Я даже обнял его и сказал, что охотно дарю ему эту ядовитую змею, колючую фалангу, неукротимую дочь скорпиона. Я пожелал им обоим всяких утех. Так, мы вместе, обнявшись, просидели долго до утра. Я подливал ему вина, радуясь, что благополучно мог избавиться от этой, всегда беспокойной, всем недовольной и требующей невозможного румийки. Нохай тоже был доволен и всю ночь пел песни.

— А все же думаешь ли ты, что Нохай принесет пользу в предстоящем походе?

— Хан Нохай, несмотря на юность, обладает острым умом полководца. Вот что он говорил, вот что предлагал... Да что это такое? Этот дерзкий мальчишка уже тут!.. Он ничего не боится и каждый день придумывает что-либо новое.

Все остолбенели. С улицы донеслась песня. Чистый задорный мужской голос пел:

Хороши стройные девушки монгольские,
Их глаза сияют, как ночные светлячки,
Летающие весною над нашей степью.
Счастлив тот удалец, который не боится
Держать на ладони такого светлячка...

Все ханы шептали:

— Верно! Верно! Прекрасны наши ночные светлячки! Прекрасны наши монгольские девушки!

---

[1] Знак раскаяния и просьбы о прощении.

А голос издалека продолжал:

Чудесную птицу Симург хранил в своем шатре
Хан Орду, прославленный бесстрашный багатур.
У этой птицы глаза изумрудные
Вспыхивают, как вечерние звезды,
Но ее похитил пьяница и бродяга,
Вольный охотник и удалец Нохай.
Он ее за лодыжку приковал
Серебряной цепью к столбу
Близ своей юрты, рядом с любимым конем.

Все ханы посмотрели друг на друга, покачивая головами, и следили, что будет делать хан Орду. А тот, по привычке соединив концы коротких толстых пальцев, шептал:

— Какое счастье! Какую радость послало мне вечное небо! Теперь я могу, наконец, отдохнуть от забот и тревог, которые мне доставляла эта беспокойная женщина из румского царского рода. Занозы и колючки в моей юрте больше нет!

Голос из темноты снова запел:

Прекрасный цветок лилия хранится в золотом дворце.
Сто волкодавов и тысяча воинов ее стерегут.
Ни один отважный сокол не проникнет
В этот кружевной дворец,
Но дерзкая песня бродяги донесется
И до прекрасной белой лилии,
Воспевая красоту ее глаз, стройность бедер
И походку пугливой лани.

Задумчивое лицо Бату-хана осветилось загадочной улыбкой. Прищурив глаза, он пристально стал вглядываться в лицо Юлдуз-хатун. Та сбросила черное шелковое покрывало, вскочила и ответила ему прямым смелым взглядом черных глаз. Ее бледное лицо, всегда кроткое и покорное, теперь пылало гневом. Она стояла напряженная, подобно натянутой струне, сжав маленькие кулачки.

— Спой ему ответную песню! — тихо и медленно сказал Бату-хан.

— Ему? Такому наглецу и разбойнику? Никогда!

— Спой! Спой и призови его сюда! — настойчиво приказал Бату-хан. — Я хочу его увидеть! Перед собой, здесь!

Высокая китаянка И Ля-хэ склонилась к уху маленькой Юлдуз и что-то стала настойчиво шептать. Юлдуз утвердительно кивнула головой и, взяв дутар, вышла на балкон. Она запела нежным, трогательным голосом. Слова песни отчетливо разносились в тишине заснувшего города:

Усталый путник — гость желанный,
Войди спокойно в этот дом!
Ты повидал иные страны,
Ты нам расскажешь обо всем.

Вдруг Юлдуз-хатун вскрикнула, отбежала обратно в комнату и кинулась на грудь И Ля-хэ.

На балкон быстро вскарабкался юноша в хорезмском бархатном колпаке, опушенном лисьим мехом, и в полосатом кафтане, подпоясанном серебряным кушаком. В его лице, очень смуглом, поражал самоуверенный взгляд блестящих черных глаз, высокий лоб и задорная улыбка.

Он стремительно упал на колени, подполз к Бату-хану и почтительно склонился к его ногам. Бату-хан от неожиданности откинулся назад. Все повскакивали с мест. Юноша воскликнул:

— За мою дерзость прошу казнить меня, но сперва выслушай, великодушный, милостивый Саин-хан! Я привык разъезжать, имея притороченными к седлу аркан и шелковую лестницу с крюком. Я взобрался к тебе самым прямым и скорым путем только потому, что я услышал ласковый призыв. Без таких нежных слов разве я осмелился бы пройти по священным коврам твоего дома? Однако ты оказался в тысячу раз мудрее и проницательнее меня: этой песней, как опытный охотник, ты сам заманил меня сюда, чтобы я понял свой долг...

— Какой?

— Долг монгольского воина — в час великого похода быть в первых рядах твоего войска!

Бату-хан поднял правую бровь и смотрел на юношу недоверчивым взглядом. Нохай четко проговорил:

— Зачисли меня простым воином в самый передовой отряд и прикажи сделать невозможное! — Нохай снова припал лицом к ковру и остался неподвижным.

Бату-хан обратился к хану Орду:

— Почтенный брат, отдаю тебе этого безрассудного. Делай с ним что хочешь.

Орду подошел к юноше, легко поднял его своими, как медвежьи лапы, сильными руками и погладил по щеке:

— Чудак! Шутишь со смертью! Садись здесь в угол и жди, и слушай, что дальше решит сделать с тобой наш любимый Саин-хан.

Бату-хан обратился к своему воспитателю и советнику:

— Мудрый Субэдай-багатур! Я уже много раз беседовал с тобой, и вместе мы обдумывали предстоящий поход. И я знаю и помню твои советы. Другие же еще их не знают. Не скажешь ли ты что-либо важное пришедшим сюда моим верным соратникам?

Субэдай заговорил кратко, отрывисто, голосом хриплым, как рычанье волкодава:

— Мы должны вспомнить заветы и походы «единственного»... По ним учиться... Вспомним, что объявленное им вторжение в Китай нашим степным ханам показалось сперва безумием. Царство Цзиней имело тогда народ в триста тридцать три раза более многочисленный, чем монголы всех родов и племен нашей степи. Войско Цзиней казалось беспредельным лесом. Но сквозь него, по приказу единственного, стала прорубаться наша бесстрашная конница... города китатов имели высокие каменные стены... Неприступные... За ними прятались испуганные жители... Они издали грозили нам большими топорами и мечами и высовывали сделанные из глины и соломы чучела своих страшных богов... И они сами же нам покорно сдавались... Так будет и теперь... Сколько впереди русов, румийцев, мадьяр, кыпчаков, латинцев, франков и других племен? Даже вечно синее небо сразу этого не скажет... Но мы должны помнить и не забывать строгих заветов «священного правителя», и мы победим. Столицы «вечерних стран» будут опрокидываться, как наши войлочные юрты во время урагана... Наш удар должен быть внезапным и неотразимым... и в том месте, где враг не ожидает... Врага надо обмануть, показать, будто мы его боимся. Крикнуть: «Гар-гар!» (назад, обратно!) и отступить. Затем ударить снова, еще более стремительно и бешено, когда он в глупой радости погонится за нами и расстроит свои ряды... Но зачем я это повторяю? Разве вы сами этого не знаете?

Субэдай закрыл свой единственный глаз. Он похрюкивал, как кабан. Казалось, что он спит.

— Скажи нам еще что-нибудь, наш почтенный учитель! — обратился к нему хан Орду.

Субэдай ткнул пальцем в сторону сидевшего с покорным видом Нохая.

— Твоего племянника назначь тысячником... в отряде самых «буйных»! Там он либо сейчас же сломает себе шею, сцепившись с таким же, как он, смельчаком, либо заставит его покориться. Но думаю, что через год после того как он покажет себя настоящим чингизидом... и сделает невозможное, он уже станет твоим грозным темником. Испытай его.

В общей тишине Бату-хан сказал:

— Иесу́н-Но́хай...[1] Ты докажешь, что у тебя собачий нюх и железная смелость. Возьми с собой в поход свою шелковую лестницу. С ее помощью ты первым влезешь на стену Кыюва, столицы русов. Сейчас возвращайся через эту дверь в свою юрту. К тебе придет тургауд и объявит мою волю. Разрешаем удалиться.

Нохай подхватил красную шелковую лестницу и, пятясь мелкими шажками, вышел из зала великого совета.

Глава пятая

В ЛАГЕРЕ «БУЙНЫХ»

Они сломали печати еще с одного кувшина с янтарным мазандеранским вином. Они распили его до последней капли, вылитой согласно обычаю себе на голову. Бату-хан водил рукой по воздуху, точно желая схватить летающего мотылька.

— Я должен их увидеть, этих свирепых безудержных воинов... Услышать их дикий рев, песни и споры.

— Тебе не подобает идти в это сборище буйных пьяниц и драчунов! — сказал Субэдай-багатур. Он оставался спокоен, с каменным лицом, только его шрамы, пересекавшие правый глаз и щеку, после попойки стали багровыми. Он продолжал:

— «Буйные» не знают правил почета. Они недостойны встретить тебя и высоких почтенных людей...

---

[1] Иесу́н-Но́хай — «железный пес», впоследствии обычная кличка хана Нохая.

— Почет мне надоел!.. Я хочу увидеть ссору, когда двое хватаются за ножи, и пройти между ними незамеченным, в одежде странника.

— Твоя священная нога, о великий, должна опускаться только на ковер отдыха или вдеваться в стремя похода.

— А сегодня мои ноги будут ступать по тропинке новых испытаний. Пусть меня сопровождает только один безумец Нохай. Принесите мне другие одежды.

Субэдай-багатур, сопя, встал, подошел, ковыляя, к стоявшему за дверью дозорному тургауду и, вцепившись в его плечо, зашептал ему в ухо:

— Принеси пять самых грязных простых плащей! Пусть десят тургаудов на конях следуют за нами в нескольких шагах и пусть будут готовы к нашей защите.

— Внимание и повиновение!— сказал тургауд и вышел из шатра.

Бату-хан, никого не слушая, продолжал что-то бормотать и ловить мотылька. К нему подполз на коленях дервиш-летописец Хаджи-Рахим:

— Ослепительный, позволь и мне идти с тобой. Там «буйные», непокорные воины девяноста девяти племен. Я помогу тебе понимать их ругань, песни и речи...

— Иди и в темноте не упади в яму бедствия. Кто тогда будет писать о моих походах?

Вскоре пять человек, закутанных в старые плащи, вышли из шатра в безмолвие ночи.

Через несколько мгновений застучали копыта коней: несколько всадников последовали за ушедшими...

На равнине среди невысоких холмов горели бесчисленные костры. Посреди, на торговой площадке, лежали верблюды и возле них спали купцы и погонщики, обнимая тюки с товарами. Повсюду, вокруг багровых огней, лежали и сидели разноязычные воины, собравшиеся сюда из отдаленных земель. У них еще не было порядка, начальников, сковавших воинов единой волей. «Буйным» была указана для их лагеря эта равнина неподалеку от реки Итиль. Все ждали похода на закат солнца и собирались группами вокруг тех костров, где слышалась знакомая речь — тюркская, персидская, белуджей, курдов, адыгеев, лезгин и других равнинных и горных племен.

Всюду виднелись небольшие походные шатры, сшитые из войлоков или простых полотнищ, подпертых и растянутых на шестах. Слышались крики и хмельные песни.

Некоторые племена сидели правильными кругами, где посредине пылали большие костры. Воины, тесно прижимаясь друг к другу, слушали рассказы опытных в походах «батыров», или бывалых стариков, или переливчатую поэму-песню, длинную и тягучую. Певец тонким горловым звуком выводил старинную песню, сопровождая ее бренчанием на хуре[1], про подвиги дедов, степных славных багатуров.

Пять путников, проходя мимо костров, останавливались, прислушиваясь к песням.

— О чем он поет?

— Он поет про Искендера Двурогого, про его войну с рыжебородыми...

Вдруг два всадника с гиканьем промчались наперерез через равнину, догоняя друг друга. Кони прыгали через костры, разбрасывая пылающие головни. Сидевшие ревели, кричали, вскакивали, выхватывали мечи.

Первый всадник. молодой, в арабском чекмене, был без оружия. Его поджарый гнедой конь легко перепрыгивал через высокие огни костров и метался по равнине, стараясь спастись от преследования. Второй всадник, в шлеме, панцыре, с копьем наперевес, сидел на вороном коне, пригнувшись и храпя, как разъяренный вепрь. Сопровождаемые проклятиями разгневанного лагеря, враги умчались в сторону дальних холмов.

Вскоре оттуда вернулся только второй всадник. Он ехал медленно, на спокойном сильном широкогрудом вороном коне, осторожно объезжая костры, отвечая шутками на ругательства «буйных». Все уже успокоились и смотрели с любопытством на неведомого силача.

Сбруя его коня была украшена цветной бахромой, седло покрыто замшевым чепраком необычайной белизны. На шее коня, среди серебряных украшений, свешивался странный темный обрубок, напоминающий руку до локтя со сжатым кулаком.

Всадник подъехал к одному кругу, где степенно сидели воины в красных и желтых полосатых халатах. При его приближении улигерчи (певец) замолк, разговоры

---

[1] Хур — монгольский трехструнный музыкальный инструмент.

прекратились. Все рассматривали прибывшего, а он, подражая певцу, вдруг залился высоким голосом:

Я, барс, Утбой Курдистани, неодолимый в битве воин!
Разбил я тьму неверных, и славы я достоин!
Это хорошо!
Я бежал из плена франков, ускользнув от их оков,
И сложил большую гору из отрубленных голов!
Это хорошо!
Я сразил Джелал ад-дина, погрузив в смертельный мрак!
И содрал с него всю кожу, сделав под седло чепрак!
Это хорошо!
Я его повесил руку талисманом под уздой!
И случится с каждым то же, кто с Утбоем вступит в бой!
Это хорошо!

Тогда один из пяти, стоявших в отдалении путников, сбросив на землю плащ, подбежал к сидевшим в кругу кыпчакам.

— Слушайте меня, медногрудые, железнорукие!

Все повернулись к говорившему. Он был высок, строен, в ургенчском чекмене, с двумя кинжалами за поясом.

— Этот хвастун и наглец никогда не убивал Джелал ад-дина, опаснейшего из наших врагов, который еще жив и рыщет по Ирану, преследуемый Джэбэ-нойоном, пока не будет пойман и в цепях приведен сюда к Саин-хану. Если сейчас никто не даст мне светлого меча, прямо бьющего копья и верного коня, чтобы сразиться с этим болтуном и насадить его ослиную голову на острый кол, то, клянусь, я брошусь на него только с кинжалом! Я лучше паду в битве, чем примирюсь с таким лживым хвастуном.

Все кыпчаки вскочили. Послышались крики:

— Скажи нам твое имя! Бери мой меч! Бери моего коня! Вот щит и копье!.. Устроим суд аллаха! Он даст победу правому и низвергнет в вечный огонь преступного!

— Мое имя — Железный пес, Иесун-Нóхай, не знающий поражений.

— Это хан Иесун-Нóхай, славный из славных!.. Любимый племянник джэхангира Бату-хана!.. Поможем ему.

Кыпчаки забегали, принося мечи и копья. Несколько оседланных коней были спешно приведены, и каждый владелец предлагал своего.

Не колеблясь, Нохай выбрал рослого рыжего коня и легко взлетел в седло. Кыпчаки надели на него широкую ременную перевязь с кривым мечом, дали копье и маленький круглый щит.

Утбой Курдистани, натягивая поводья, осаживал своего широкогрудого вороного коня. Сжавшись, оскалив зубы, он злобно поводил глазами.

— Да будет управлять твоей могучей рукой воля неба!— кричали Нохаю кыпчаки.

С торговой площадки стали быстро выталкивать и разгонять купцов и их вьючных животных. Подъезжавшие со всех сторон всадники образовали широкий круг, где должен был произойти поединок, суд аллаха. Несколько седобородых стариков вызвались быть беспристрастными судьями.

Схватка началась.

Иесун-Нохай помчался яростно на курда и вдруг повернул коня в сторону, когда Утбой хотел нанести ему встречный удар копьем. Пролетев вперед, копье его воткнулось в землю.

Тогда Нохай быстро повернул коня и, набросившись на курда, стал наносить ему молниеносные удары блестящим мечом.

Утбой, видимо тоже опытный воин, сперва ловко отражал удары, но когда шлем его оказался рассеченным, он свалился с коня, который помчался через площадь и был перехвачен зрителями.

Нохай остановился возле лежащего врага и занес копье над его искаженным, залитым кровью лицом.

— Сдаешься ли ты, навозный жук, лживый шакал?

— Я дам тебе выкуп, какой хочешь,— простонал Утбой,— пощади меня!

— Чья белая кожа покрывает твое седло? Говори правду, и я подарю тебе твою подлую жизнь.

— Возьми с меня выкуп,— стонал курд, — моего коня с седлом, все мое оружие, даже кошелек золотых динаров, только ни о чем меня не спрашивай и отпусти!

Нохай опустил копье еще ниже, так, что конец его слегка коснулся лица Утбоя.

— Я возьму весь твой выкуп, но ты сознайся честно, жив ли и где скрывается неукротимый Джелал ад-дин?

— Я никогда не только не убивал Джелал ад-дина, но даже его и не видел. Я солгал...

В это время на площадку, где происходил бой, вернулся вскачь арабский юноша на поджаром легком гнедом коне. Он приблизился в Нохаю.

— Не убивай этого человека-гиену! Осмотри белую замшевую кожу на седле, и тогда пусть он сожрет труп своего отца!

— Я все скажу!— воскликнул лежащий курд. Он с трудом поднялся и, шатаясь, прошел к своему коню. Расстегнув ремни, он хотел кинжалом отрезать половину кожи, но арабский юноша вырвал чепрак из его рук и развернул. По форме это была кожа, содранная с человека, и когда отогнулась часть, покрывавшая голову, оттуда вдруг рассыпались светлые шелковистые женские волосы...

Крик пронесся по толпе. А Утбой Курдистани, размазывая рукавом обильно полившиеся слезы, всхлипывая, бормотал:

— Это была моя самая любимая, но самая коварная невольница! Я застал ее в греховной близости с моим конюхом, вислоухим губошлепом. Рука этого подлого раба висит на шее моего коня! Я отрубил ее.

Курд снял с себя пояс с мечом, кинжал и положил на землю. Повод коня он передал Нохаю.

— Вот мой выкуп, а вот кошелек с золотыми динарами! Я все потерял: и любимую невольницу, и верного коня, и честное имя!— И он, спотыкаясь, пошел в сторону под крики и хохот «буйных».

Вдруг над лагерем пронесся громкий голос, подобный хриплому призыву дикого оленя на вершине горы. Это Субэдай-багатур на коне въехал на середину площадки, где происходил поединок. За ним следовали на конях его четыре спутника.

— Слушайте, смотрящие мне в глаза, воины непобедимого Бату-хана! Слушайте внимательно, воины лагеря «буйных»! С вами говорит великий аталык Субэдай-багатур! Прекратите драки и ссоры! Готовьтесь к скорому походу для разгрома нечестивых шакалов «вечерних стран»! Великая яса мудрого правителя, чье имя непроизносимо, воспрещает всем воинам его победоносного войска враждовать между собой, красть друг у друга, говорить неправду. Кто нарушит этот закон — увидит смерть!

Весь лагерь «буйных» затих. Каждый старался услышать, что прикажет великий, непобедимый полководец, одноглазый советник Бату-хана.

— Слушайте новый приказ джэхангира: собирайтесь немедленно в десятки и сотни и выбирайте себе начальников. Великий Бату-хан назначит вам тысячников и темника. Из вашего лагеря «буйных», где до сих пор не было ни порядка, ни силы, ни единой могучей руки, с сегодняшнего дня, после приказа джэхангира, вырастет передовое храброе войско, которое станет его зорким глазом и чутким ухом. Отныне ни один воин не посмеет больше бродить по военному лагерю великого Бату-хана, ни поблизости от него без приказания, и если он не будет иметь своего десятка и пайцзы на шее, такой воин-бродяга будет зарублен на месте... А вашим тысячником, по приказу джэхангира, будет самый смелый из смелых хан Нохай,— доблесть его вы сейчас увидели.

Все «буйные» стали сговариваться между собой, обсуждая, кого избрать своими начальниками. Только молодой араб не мог забыть своего врага-курда. Он снова увидел его в толпе и протиснулся к нему, горя злобой и бешенством.

— Я, Юсуф ас Сакафи́, клянусь страшной клятвой, что ты, поганый хвастун Утбой, от меня не спасешься! Я поймаю тебя и с живого сдеру твою свиную шкуру, чтобы ею покрыть спину моего осла.

Курд отбежал и, скрываясь во мраке ночи, воскликнул:

— Я спасся сперва от бешеного Иесун-Нохая, а теперь и от безумного араба Юсуфа. И это тоже хорошо!

Бату-хан со своими четырьмя спутниками медленно возвращался в свою ставку.

— Все эти разноязычные «буйные» воины особенно будут страшны для мирных жителей «вечерних стран». Они окажутся мне очень полезны, когда в походе я крепко зажму их в своей руке. Между собою они больше враждовать не посмеют. Как передовой отряд, они внесут ужас и смятение в те земли, куда за ними двинутся мои главные тумены. Я их посылаю немедленно против русов,— пусть сожгут они город Кыюв.

Глава шестая
НАМЕЧЕННЫЙ ПОХОД

(Из «Путевой книги» Хаджи-Рахима)

«Джэхангир Бату-хан,— да сохранит его всевидящий!— сегодня утром мне сказал:

— Я тебя призвал, мой верный учитель, чтобы ты со всем усердием начал снова записывать то значительное, что должно сохраниться в памяти наших потомков. Я повелел всем темникам, чтобы завтра, в день начала «месяца конских скачек» (1 октября), они подняли свои тумены, посадили на коней и двинули их на закат солнца. Поход должен быть стремительным, как разразившийся в мирной степи бешеный ураган. В этом — удача задуманного. Это принесет небывалые победы, перевернет кверху копытами и животами всех надменных жителей «вечерних стран», чтобы они перестали думать, будто никто не сможет их одолеть и раздавить. Поэтому я начинаю поход внезапно, пока они лежат в мирной дремоте, почесывая за ушами и посасывая сладкое вино...

Эти слова заставили меня задрожать, и колени мои онемели. Саин-хан пристально покосился на меня и спросил:

— Почему твои зубы стучат? Ты боишься?

— Нет, великий! Я не боюсь и не сомневаюсь, что ты сумеешь разгромить «вечерние страны», что ты заставишь их жителей ползти на коленях, почтительно вымаливая крохи твоей милости. Но я боюсь, хватит ли у тебя силы, здоровья и неусыпной осторожности, чтобы избежать удара в спину, когда все уже будет тебе особенно благоприятно?..

Саин-хан вцепился своей жесткой, как лапа орла, рукой в мое плечо:

— Признавайся, кого ты подозреваешь?

— Всех! Всех, кто захотел бы, после одержанных тобой побед, стать на твое место...

— Назови имена! Почему ты отводишь глаза?

— Мне придется перечислять подряд десятки твоих подвластных темников и тысячников. Но разве ты захочешь начать поход ужасом расправы среди твоих помощников?

— А что лучше?

— Лучше заставить тайных врагов усерднее служить тебе.

Я увидел редкое: на темном, как древесная кора, всегда неподвижном лице Саин-хана сжатые губы растянулись, как щель, в подобие улыбки, и показалась белая полоска хищных зубов. Его глаза оставались колючими и недоверчивыми. Он даже мне, своему старому учителю, не поверил и старался проникнуть в мое сердце. Затем он сказал медленно:

— Мой робкий, как дрожащая мышь, наставник! У нас в монгольской степи говорят: «Вскочив в седло, надо взмахнуть плетью, а не сползать на землю». Завтра начинается небывалый поход против народов, которые во сто раз сильнее моего войска. Все, что ты мне сейчас сказал, я давно знаю, и лучше тебя. Запомни важное: я разделил все мое священное войско на пять главных орд. В каждой...— он задумался, потом добавил:— много тысяч всадников. И я доверил их лучшим, самым опытным и отчаянным в нападении багатурам. Пять злобных беркутов зажмут в своих когтистых лапах мое разноплеменное войско. С одной из этих орд я пойду сам. Все мои орды уже овеяны бессмертной славой. А какие грозные полководцы их поведут: мой почтенный старший брат хан Орду, мой военный советник Субэдай-багатур, мои родичи кюряганы: Менгу, Бурунтай, Шейбани, Кадан, Пайдар и другие. Я им назначил точно число дней, в которые они, не останавливаясь нигде для отдыха в богатых городах, должны помнить одно: охватить железными объятиями первую половину «вечерних стран» и сплести пальцы своих рук в указанном мною месте в указанный срок. И я уверен, что такая встреча и сбор моих разноплеменных войск произойдет точно в заранее мною выбранный день. Тогда я дам короткую передышку нашим чудесным коням и бесстрашным воинам, а потом поведу мою великую Синюю Орду дальше. Я захвачу увертливого, как ядовитая змея, Фредерикуса, который себя называет императором германов, италийцев, саксов, арабов, а сам затаился, как филин, на морском острове. Но я выковырну его оттуда и натравлю друг на друга, как злобных собак, и этого императора и его заклятого врага, хитрого старого колдуна папу. Я поставлю обоих перед собой на колени и буду говорить с ними, как с жалкими дрожащими цыплятами. А затем я их обоих

отдам на потеху моим верным шаманам, чтобы они их сварили живыми в котле!

Я смотрел с удивлением на взбешенного джэхангира и старался запомнить его слова.

Саин-хан продолжал, и голос его был подобен зловещему мурлыканью тигра:

— Первая короткая передышка будет в столице русов Кыюве, последняя — на берегу великого безграничного моря, омывающего вселенную. Тогда я выполню волю «священного правителя», моего деда...

Саин-хан задыхался и стал жадно пить вино из золотой чаши. Вдруг он резко повернулся. Около двери почтительно сидел на ковре, опустив голову и скрестив руки на груди, молодой его племянник, хан Нохай. Из озорства он так глубоко надвинул шапку на лоб, что нельзя было разглядеть его глаз.

— Зачем ты пришел? Какой совет имеешь ты дать нам?

— Прости меня, великий джэхангир! Я невольно услышал конец твоей речи и загорелся твоим огнем. Разреши мне прибавить к числу намеченных тобою к разгрому столиц еще одну.

— Какую?— И пальцы Саин-хана сжались с такой силой, что он погнул золотую чашу, и на ковер полилось красное вино.

— Я вижу ясно, что ты также захватишь столицу греков Рум, чтобы не оставлять врагов у себя за спиной. Ведь после захвата Рума ты будешь иметь тысячи лучших кораблей, стоящих во всех гаванях вселенной, которые помогут расширить твое могущество, разнести твою славу по всем морям. Разреши мне участвовать в твоем набеге на Рум.

Саин-хан не показал виду, что разгневался на племянника, а стал говорить медленно, будто нехотя:

— Не собрался ли ты учить меня? Я тебя уже назначил тысячником в тумене моего почтенного брата, хана Орду. Ты вместе с «буйными» должен первым ворваться в столицу русов Кыюв. Там ты постарайся достойно проявить свою дерзость. Разрешаем уйти! Разрешаем уйти!— закричал он с прорвавшимся вдруг бешенством.

Хан Нохай склонился до земли и, прошептав обычные пожелания, бесшумно удалился. Когда занавеска за ним опустилась, Саин-хан сказал:

— Он похож на пса, который грызет большую кость. Пока не сгрызет ее до конца, он ее не оставит. Думает только о греческом Руме, о его завоевании, чтобы посадить туда царицей свою гречанку. Разве полководец, любящий битвы, может казнить такого удальца?

Весь этот разговор происходил в «золотом домике». Придется ли мне еще раз побывать в нем, или я затеряюсь в неведомых просторах вселенной, через которые направляется страшное войско Бату-хана?

Я записал вещие слова джэхангира, потому что и подвиги и ошибки великих людей и то, как они эти ошибки исправляют,— все это должно быть увековечено в летописях на поучение нашим потомкам, да сохранит их и нас всемогущий!»





Часть шестая

Глава первая

ХАН МЕНГУ ПЕРЕД КИЕВОМ

Когда летом предыдущего года Бату-хан остановился в низовьях Итиля никто не решался спросить его: скоро ли двинутся войска на запад, на дальнейшее покорение вселенной?.. Он не любил, когда кто-либо задавал ему вопросы или подавал советы. Бату-хан начинал тогда злобно шипеть и вспоминать по именам проклятых злых мангусов. Ему казалось, что выслушивая чей-либо совет, он теряет часть своего величия самодержавного владыки.

Однажды он сказал своему любимому двоюродному брату Менгу-хану:

— Скоро мне понадобится твоя помощь...

— Всегда я хочу помочь тебе, но до сих пор ты мне ничего не поручал.

— Отлично! Я доверяю тебе тумен правого крыла моего несравненного войска. Ты завтра же выступишь в поход. Ты пересечешь куманскую степь и пройдешь до реки Днепра, до богатого главного города русов Кыюва. Там ты призовешь к себе старшего коназа русов и строго прикажешь ему, чтобы он принес мне клятву покорности и верности. После этого ты пришлешь сюда гонца, а сам на время отступишь обратно в степь на дневной переход, но ни в коем случае не занимай своими багатурами Кыюва, хотя бы он даже и пожелал мне покориться.

— Сделаю, как ты приказал!

— Если коназ русов и жители города не захотят добровольно признать меня своим единственным верховным владыкой, ты еще не начинай осады Кыюва, а все же отойди назад в степь и там жди меня, откармливая коней. Когда же я приду к Кыюву, то помни, что только я, и не кто другой, первым въеду в столицу русов. Тогда я дам своему тумену право первому начать грабеж этого богатого и прославленного города.

— Я услышал, великий, твои слова, и все будет исполнено, как ты приказал!

— Можешь идти!

Менгу-хан опустился на колени, низко склонился перед братом, коснувшись головой ковра, а когда он снова выпрямился, Бату обнял его, и оба брата в знак дружбы, громко сопя, понюхали и лизнули друг другу щеки.

Выполняя приказ Бату-хана, хан Менгу с отборным войском быстро двинулся через степь. Разграбив по пути все встречные половецкие стойбища, он, наконец, подошел к Киеву. Там Менгу принял киевских послов, знатных бояр, и услышал от них категорический отказ добровольно покориться татарам.

Киевляне, поднявшись на стены города, с тревогой всматривались вдаль, в восточную степную сторону, и им казалось, что по бескрайней равнине какое-то страш-

ное чудовище протянуло во все стороны свои гигантские щупальцы: там, постепенно стягиваясь против города, непрерывным потоком подходили монгольские отряды и ставили свои юрты.

Раздавалось щелканье бичей, ржание коней, стоны и рев верблюдов, мычание волов, крики погонщиков, скрип телег на высоких, в рост человека, колесах и многоголосый гул и гомон татарской орды.

Степняки развьючивали верблюдов и коней, ставили большими кругами свои юрты. Задымились костры. Поставленные на камни и треножники, закипели большие котлы.

Посреди лагеря вырос богатый шатер-юрта хана Менгу. Шатер был окутан белым войлоком и перевит узорчатыми полосами. Над крышей из дымового колеса-решетки стал завиваться голубой дымок. Там, внутри шатра, был разведен тлеющий костер из кизяка — сушеного конского навоза, перемешанного с соломой. В соседних юртах разместились знатные монголы его свиты.

Рядом с шатром возвышался шест: на нем развевалось знамя Менгу-хана — длинный бамбуковый шест с небольшой перекладиной наверху, с которой свисали пять пушистых черных хвостов монгольских яков. Это было священное знамя, означавшее, что его владелец — ближайший родственник покойного «священного правителя», великого завоевателя мира Чингиз-хана.

Только чингизиды могли пользоваться таким священным знаменем.

Менгу-хан прискакал верхом на пегом коне в сопровождении большой свиты вооруженных монгольских всадников и опытного переводчика, хорошо знавшего русский язык, кыпчака Хабула.

Последнему было приказано вместе с двумя тургаудами переправиться через Днепр и разузнать все, что происходит в Киеве и чего следует ожидать и скоро ли приедут с поклоном к хану Менгу киевский князь и знатные бояре?

Менгу-хан повелел приготовить две большие ладьи и убрать их коврами. На этих ладьях отправились три знатных татарских военачальника вместе с охраной.

Когда лодки отчалили, несколько трубачей стали неистово трубить в очень длинные кожаные трубы, извещая русских о выезде в Киев знатного посольства.

Когда ладьи пересекли Днепр и пристали к правому берегу, там их встретили знатные бояре в расшитых узорами дорогих собольих шубах и высоких бобровых шапках. Русские воины копьями отгоняли сбежавшуюся толпу любопытных. Переводчик Хабул объяснил боярам, что на тот берег Днепра прибыл Менгу-хан, брат повелителя всех монголов Бату-хана. Хан Менгу ждет, что киевский князь сейчас же прибудет к нему для переговоров, а он будет ждать его в своем шатре.

Однако русские бояре ответили:

— Наш князь находится сейчас в своих палатах, и ему, как главному хозяину нашего древнего славного города, непристойно ездить к язычникам на поклон. Он приглашает начальников татарского войска подняться в его палаты, и там почтенные гости сами расскажут, какая нужда, какая забота привела их в Киев.

После горячих пререканий было решено, что в княжеские палаты пойдут только три татарских военачальника, переводчик Хабул и три ближайших князю боярина. Встречные киевляне жадно всматривались в татар, о которых говорилось так много ужасов. Татары медленно шли по узкой улице по направлению к княжескому дворцу и все время о чем-то тихо совещались. Они взобрались на первую стену, опоясывавшую город, и долго осматривались кругом, желая все хорошенько запомнить.

Наконец на полпути Хабул вдруг сказал русским спутникам:

— Наш преславный хан Менгу отправил нас для переговоров, а не для поклонов вашему коназу. Если бы русский коназ хотел нас почтить и повидать хана Менгу, то он вышел бы сюда к нам навстречу. Теперь мы решили не идти к вашему коназу и вернемся назад, на тот берег. А вы ждите нас снова и тогда увидите, что с вами будет.

— Так вы лазутчики, а не послы! — закричали бояре. — Вы ходили на стену, чтобы узнать, как мы укрепили Киев. Бейте их! Не выпускайте коварных!

Набежала толпа. Монголов схватили и вместе с переводчиком сбросили со стены.

Менгу, не дождавшись возвращения своих послов, понял, что Киев добровольно не сдастся, но, исполняя повеление Бату-хана не осаждать города, решил повернуть обратно.

Постояв на левом берегу и полюбовавшись издали расписными теремами киевской знати и золотыми главами многочисленных церквей,— татары были уверены, что это настоящее листовое золото,— Менгу-хан увел свое войско в степь.

Глава вторая

В ШАТРЕ ХАНА КОТЯНА

Главный и старейший половецкий хан Котян в своем кочевье в Шарухани[1] пребывал в глубоком и тяжелом раздумье и не находил себе ни в чем утешения. Напрасно приходили к нему его высокие, стройные сыновья и, сняв лисьи шапки, почтительно гладили его руки, украшенные сверкающими перстнями. Котян гладил их по голове и разрешал сесть на цветные подушки, лежавшие вдоль стенки круглого шатра, убранного пестрыми коврами.

Они поочередно рассказывали последние новости из жизни степи. Все жаловались на то, что больше совсем не приходят караваны купцов с морского побережья. Некому стало продавать коней, скот, меха, кожи.

— Кто сейчас поедет в нашу степь? Все боятся татар. Их шайки быстро проносятся по всей степи, точно они убегают от кого-то, а на самом деле они рыщут в поисках добычи и высматривают все, что у нас делается. Не раз их уже видели совсем неподалеку от Шарухани.

Котян тяжело вздохнул, покачал головой и посмотрел вверх, на клочок синего неба, видимый в отверстие крыши, сквозь которое выходил дым от костра.

— Сегодня я получил замечательное известие, не знаю — на радость или на горе.

— От Бату-хана?

— Сейчас вы все узнаете. Эй, мальчики! Приведите сюда «божьего человека», которого сторожат в соседнем шатре!— Котян несколько раз постучал по медным чашкам с водой.— Скорее!

Два подростка, сидевших близ входа, сорвались с места и убежали. Вскоре они вернулись, поддерживая под локти сухопарого человека с клочьями седых волос на лице. Голова его была обернута куском пестрой ткани.

---

[1] Ш а р у х а н ь — кочевье половцев, близ нынешнего Харькова.

На поясе висели медные и железные приборы, какие обычно позвякивают у лекарей и коновалов. Лицо его казалось истощенным, со впалыми щеками, но когда он вскидывал голубые глаза, в них светилась живая наблюдательность. В одной руке он держал небольшую книгу в потертом кожаном переплете, в другой — высокий посох с загнутым концом, каким обычно пастухи ловят убегающих овец.

— Здравствуй на много лет, великий хан великого куманского народа!— приветствовал он Котяна.

Котян сейчас же приказал:

— Эй, мальчики, дайте божьему человеку подстилку и принесите лепешек и кувшин кумыса!

Один из сыновей Котяна взял пеструю ковровую подушку и положил перед странником. Тот уселся на ней и пробормотал молитву.

— А теперь скажи нам свое имя, кто ты и из какой земли? Зачем бродишь по свету, такому тревожному в наши страшные годы?

— Я только слуга божий, по имени Юлиан. Я скитаюсь по этому грешному свету, излечивая больных и успокаивая душеспасительными молитвами умирающих. Происхожу я из страны мадьяр, из их славной столицы Буды. Господь бог и добрые люди мне всюду помогают, жалеют и не дают умереть с голода. Сейчас я иду от грозного царя татар Бату-хана.

— Что же ты хотел мне сказать особенно важное?— спросил хан Котян.

— Если ты не всем здесь доверяешь, зная их болтливость, то прикажи лишним покинуть твой шатер.

— Уйдите все!— приказал, нахмурясь, Котян.— Пусть останутся только два моих старших сына. Толмача мне тоже не надо,— ты достаточно хорошо говоришь по-кумански.

Сидевшие встали, прижав руки к груди, склонились и мелкими шажками вышли из шатра.

Юлиан начал вполголоса:

— Не смотри на то, что я одет нищим. В моих руках находится письмо самого великого хана татарского Бату к мадьярскому королю Беле, которое я получил из собственных рук монгольского владыки для того, чтобы показать его тебе.

Котян вздрогнул и сразу выпрямился.

— И ты можешь мне его прочесть? Письмо Батухана?

— Вот для этого я и пришел к тебе, доблестный хан Котян, пройдя очень тяжелый и опасный путь.

Юлиан порылся за пазухой и достал небольшой свиток. Он разгладил его на колене и вопросительно взглянул на Котяна.

— Ну, читай!

— Это письмо,— начал Юлиан,— написано уйгурскими буквами, но на монгольском, то есть на татарском языке. Бату-хан повелел передать его мадьярскому королю Беле. Но так как я знал, что при дворе этого короля не нашлось бы мудреца, который мог бы прочесть и объяснить такое письмо, то я упросил одного ученого язычника перевести это загадочное письмо на куманский язык.

— Что же это было за письмо?

— Высокомерное послание Бату-хана, более похожее на приказанье. В нем говорилось от его имени так.— И старик стал читать:—«Я — великий хан, посланный небесным владыкой, который дал мне право возвышать тех, кто преклоняется передо мной, и поражать гневом тех, кто противится мне. Я удивлен, что ты, маленький король мадьяр, до сих пор не ответил ни на одно из посланных мною тебе тридцати писем. Я узнал, что ты, король Бела, намерен принять к себе весь народ куманов, моих рабов. И я тебе приказываю не принимать их в твоем королевстве. Им, при их жизни в шатрах, легко и возможно будет убежать от меня, но как ускользнешь от меня ты, когда ты имеешь дома, дворцы и целые города? Поэтому я, великий хан татарский, которому вестник небесного царства дал высшую власть над вселенной, право оказывать милость мне покоряющимся и душить моих противников, я удивляюсь тебе, маленький король мадьяр».

Юлиан обвел всех спокойным взглядом, тщательно свернул письмо и заговорил снова:

— Я для того и совершил этот путь к тебе и разыскал тебя в степи, чтобы предостеречь. Несомненно, Бату-хан скоро двинется со всем своим войском на западные страны и нападет прежде всего на ваши куманские кочевья. Раз ты не пошел с ним, он тебя не пощадит, а будет мстить за то, что потерял в твоем народе сильного союз-

ника. Поэтому я советую тебе,— уходи скорей к мадьярам. Король Бела примет тебя, как брата. Торопись!

Котян сидел, опустив голову. Руки его дрожали. Потом он повел широкими плечами, точно стряхнул с себя неудобный груз, и повернулся к сыновьям. Они сидели, видимо потрясенные, впиваясь взглядом в отца.

— Что вы мне скажете на это письмо? Говори ты, младший, Кучум!

— Что сказать? Бату-хан говорит, что он написал королю Беле тридцать писем и не получил от него ответа. Напишет он еще тридцать первое, чтобы испугать Белу, а сам не двинется с места из своей новой столицы, где ему живется спокойно и хорошо. Он ведь потерял много своих воинов во время похода на русские княжества. Он даже не мог дойти до самого богатого города Новгорода и вернулся обратно. Где ему думать о походе на Мадьярское королевство! Он пугал, чтобы все трусливые ему покорились.

— А ты мне что скажешь, что посоветуешь, мой старший сын Мучуган?

— Меня встревожило, очень встревожило это письмо. Спасибо «божьему человеку», что он принес его нам и предупредил об опасности. Мне ясно, что Бату-хан, покорив и разорив столько городов, может считать, что его войска самые сильные в мире. Он уже попробовал крови и опьянел от своих успехов. Сейчас его войска отдохнули, и он хочет идти покорять все народы, всю вселенную. Ведь он и раньше не раз требовал, чтобы мы, куманы, двинулись вместе с ним, под его начальством, на «вечерние страны».

— Что же ты мне посоветуешь? Что нам делать?— тихо спросил Котян.

— Выбор ясен. Если нам покориться Бату-хану, это значит добровольно, без боя, подставить свою голову под отточенный татарский меч. Нельзя ждать ни одного дня. Мы должны сворачивать шатры и уходить в Мадьярское королевство. Жадные и хищные татары помчатся вслед за нами, но там, на мадьярской равнине, когда нам придется драться с татарами, мы уже будем всегда чувствовать рядом крепкую дружескую мадьярскую руку.

В шатре стало тихо. Только донеслось отдаленное ржание коня.

— Ты хорошо сказал. Ты сказал как истинный воин. Верно, сын мой, колебаний быть не может. Я приказываю немедленно разослать гонцов во все наши куманские кочевья и объявить: «Сворачивайте шатры, вьючьте добро и спешно уходите из нашей степи к Карпатским горам». Уходить надо быстро, ночью. Пока татары узнают и поймут, что это у нас не обычная перекочевка, а что мы уходим совсем с нашей дедовской земли,— мы будем уже далеко!

Котян встал, схватился за голову и простонал:

— Тяжело! Ой, как тяжело! Прощай, дедовская земля! Отныне мы, бесприютные скитальцы, пойдем искать себе новую родину!..

Глава третья

РАССКАЗ ТАМБЕРДЫ

Осенью этого крайне засушливого года Бату-хан, наконец, решил двинуться со своей многотысячной ордой на запад, «на закат солнца», для давно им задуманного покорения «второй части вселенной».

Перед важными решениями Бату-хан обыкновенно ни с кем не советовался, а сразу объявлял ближайшим помощникам свой приказ. Так и теперь. Но сперва он долго расспрашивал тех своих багатуров, которые недавно проезжали по кыпчакской степи, вылавливая там пастухов или неосторожных путников. Он хотел заранее узнать и понять, что происходит на великой степной равнине, через которую скоро придется двинуться всему его войску.

Один из сотников, расторопный и смелый Тамберды, по приказу Бату-хана, побывал в Шарухани, видел там хана Котяна, был им обласкан и узнал многое. Но Тамберды с большим трудом выбрался из Шарухани и, встревоженный, примчался обратно к Бату-хану.

Тамберды рассказывал:

— Во всей куманской степи теперь идет крайняя сумятица. Все куманские племена, раньше кочевавшие там мирно и свободно, теперь переходят с места на место и гадают: что им делать и куда податься? Они всего боятся, никому не верят и говорят, что татары, когда-то разгромившие соединенные войска русов и куманов в битве при Калке, теперь хотят окончательно добить их, куманов, и отнять все их стада, богатства и особенно ко-

ней, нужных им для задуманного Бату-ханом похода на «вечерние страны». Всех же куманов, говорят, Бату-хан сделает своими конюхами и пастухами.

— Верно!— прервал Бату-хан.— Всех куманов давно следует подогнуть под мое колено и запретить им прикасаться к мечу.

— Что ты прикажешь мне дальше делать?— спросил Тамберды.

— Ты немедленно вернешься обратно и скажешь хану Котяну, что я повелеваю ему прибыть сюда, а его войску ждать нас и быть готовым выступить следом за моим доблестным войском. Не теряй времени! Завтра ты должен быть уже далеко!

Когда некоторое время спустя Тамберды вернулся, Бату-хан призвал его к себе. Вид у сотника был подавленный.

— Ну, что делает главный, самый сильный и вредный куманский хан Котян?— спросил Бату-хан.— Почему он до сих пор не приехал ко мне и не объявил на коленях о своей преданности? Он бы мне теперь пригодился!

— Вай! Вай! Я уже не застал хана Котяна в Шарухани! На истоптанной земле валялись остывшие угли костров, я видел отверстия от шатровых кольев, которые еще не успело засыпать землей, я видел голодных собак, бродивших в поисках пищи, но я не видел никого из тех, кто мог бы мне рассказать, куда ушел хан Котян со своими кочевниками.

Бату-хан слушал не прерывая, но лицо его все мрачнело и пальцы быстро шевелились. Тамберды знал, что это один из признаков великого гнева Бату-хана. Он упал на четвереньки, охватив голову руками, а Бату-хан несколько раз сильно ударил пяткой его склонившуюся голову.

— Как ты прозевал это? Отчего так поздно рассказал мне все?— прошипел Бату-хан.— Я бы успел схватить и раздавить Котяна!

— Где мне было говорить с тобой! Ты всегда знаешь все раньше и больше нас всех,— простонал Тамберды под тяжелой ногой Бату-хана.— Ты великий, всезнающий!

Бату-хан задумался. К нему подошел любимый, всегда добродушный хан Менгу и, спокойно сняв ногу Бату-хана со спины Тамберды, опустил ее на ковер.

Бату-хан мрачно молчал и продолжал быстро шевелить пальцами. Но хан Менгу хорошо знал, чем лучше всего можно успокоить рассерженного монгольского владыку и вернуть ему «веселое сердце». Он тихо приказал стоявшему у входа в шатер тургауду немедленно привести из соседней юрты сказочника и певца былин улигерчи.

Улигерчи, старый, сутулый, с седой реденькой бородкой, быстро явился. Поклонившись, он без шума уселся на ковре у ног Бату-хана, слегка проводя пальцами по струнам своего хура.

Бату-хан впился глазами в певца.

— Спой мне, мой старый верный спутник, о том, что меня мучает, что непрерывно жжет мое сердце! Ты сумеешь помочь мне!

Улигерчи набрал в грудь воздуха и стал тянуть такую длинную и монотонную песню, подыгрывая на хуре, что казалось, будто он поет не переводя дыхание.

«Великий светящийся» двинулся на закат солнца
И направился через бесконечную прекрасную степь,
Которую не пройти насквозь и за многие месяцы.
Кочевал он в ней всегда летом и осенью,
Когда листья желтеют и ветер их подбрасывает кверху.
Кочевал он, видя, как падает снег,
Как ураган наметает сугробы.
Все-то кочевал он без остановки,
Хватал солнце и держал его на приколе,
Хватал он луну и пристегивал к своему седлу.
    Однажды долго отдыхал великий в своей юрте.
    Вспоминая былые походы...
    И вдруг вскочил он и зашумел,
    Как темно-черный беркут, когда выпустят его,
    Сняв с головы шапочку, закрывающую глаза.
    Качнулся он, как охотничий желтый сокол,
    Когда пустят его, сняв с ноги ремень.
    Заревел он, как смелый барс,
    Прыгнувший на утес с вершины горы:
— Братья старшие, вельможи и подданные!
Народ мой могучий, бесчисленный!
Ничего не упуская, вы все слушайте!
Я же, не запинаясь, скажу вам:
Славное великое имя мое
В десяти странах света уже прогремело.
И необъятная доблесть моя
Наполнила Алтай, Хангай и куманскую степь.
Но всю огромную силу свою
Нигде еще полностью я не показал.
Теперь я затосковал и отправляюсь поискать:
Нет ли где славного витязя,

Что с криком на меня бросится?
Нет ли оружия, что зазвенит, приближаясь?
Нет ли верхового коня моего соперника,
Что со ржанием и грохотом на меня помчится?
Теперь, мои смелые багатуры,
Скорей обрядите и приведите мне верхового коня!
Седлом его оседлайте! Полное вооружение дайте!
Если окажусь я могучим славным витязем,
То вернусь с несметной добычей,
Стадами скот пригоню я, областями народ приведу я.
Вернусь я, завладев многими новыми подданными.
Юрта за юртой народ будет кочевать ко мне!
Начался поход. Потряс он синее небо,
Заставил дрожать великую золотую землю.
Тяжелая черная пыль вилась над ними.
Слышался топот коней, сотен тысяч всадников,
Красная пыль поднялась над ними,
И впереди удалялся шум многих тысяч воинов
Моего непобедимого войска...

Бату-хан вскочил с трона, несколько раз потряс могучими руками испуганного улигерчи и, достав из цветного мешочка, висевшего на ручках трона, кусок желтого индийского сахара, затолкал его в рот певца, сказав:

— Ты успокоил мое сердце, ты отогнал мои заботы! Завтра ты получишь сильного спокойного верблюда, на котором отправишься со мной в новый поход. Сперва я покорю главный город широкобородых русов Кыюв, и там ты будешь, как всегда, петь на моих пирах и разгонять мою тоску. А затем я направлю дальше, на «вечерние страны», мое бесчисленное войско.

Глава четвертая

ГОРИТ ПОЛОВЕЦКАЯ СТЕПЬ

После долгих молений, заклинаний и колдовских плясок шаманы указали день, особенно благоприятный для начала похода, и пять отдельных орд сурового, не знающего улыбки неодолимого владыки Бату-хана двинулись с берегов великой реки Итиль, сразу утонув в беспредельных голубых просторах ковыльных кыпчакских степей.

Каждый тумен, насчитывающий десять тысяч всадников, шел своим, заранее намеченным путем, не перебивая друг другу дороги, только тесно прикасаясь крыльями, как на охотничьей облаве, следя, чтобы ни один зверь, ни один путник, ни одно кочевье упрямых, непокорных,

враждой клокочущих кыпчаков не ускользнули в прорывы между монгольскими отрядами.

Эти отряды двигались настойчиво и неуклонно в сторону Днепра, делая остановки только на ночь, когда необходимо было подкормить усталых коней.

Вечерами, греясь у костров, все говорили о том, что Бату-хан, избранный вечным синим небом быть их повелителем, готовится, как будто бы распростертыми лапами дракона, сразу охватить всю еще не покоренную часть русской и кыпчакской земли и одним стремительным натиском раздавить всякую дерзкую попытку к сопротивлению.

Впереди войска, нащупывая пути и переправы, рыскали разведочные отряды каждого тумена; за ними наступали главные силы, а позади подтягивались, стараясь не отставать, бесчисленные скрипучие арбы, запряженные медлительными волами, двигались в облаках пыли гурты скота и важно шагали караваны верблюдов, навьюченных разобранными юртами, войлоками, котлами, железными таганками, мешками с походной едой, всем, что может пригодиться в пути всегда ненасытному, прожорливому монгольскому войску.

Каждый тумен должен был сам заботиться о себе, и все они различались друг от друга своим внешним видом, боевыми выкриками, именами своих опытных суровых полководцев. Среди последних были немногие старые, прославленные еще в походах «священного правителя» Темучина Чингиз-хана, были испытанные в войне с последним шахом Хорезма неукротимым Джелал ад-дином, были темники, разгромившие земли кавказских племен, были недавно прошедшие через страну булгар под начальством уверенного и всегда веселого Шейбани-хана, уже назначившего булгарам правителей-баскаков. Был среди них стремительный Бурунтай, уничтоживший в глубине засыпанных снегом русских лесов войско владимирского князя Гюрга (Юрия). Но особенно грозным считался всегда победоносный одноглазый Субэдай-багатур вместе с неудержимым, как пущенная стрела, Джэбэ-нойоном. Да и другие темники: Менгу, Кадан, Пайдар, Нарин-Кэхэн, Курмиши и прочие — все считались бесстрашными тиграми.

Радостно шли в этот поход монголы и присоединившиеся к ним отряды других племен. На что могли на-

деяться, какое сопротивление могли теперь оказать встречные народы? Их оставалось уже мало, их печальная участь уже предсказана колдунами-шаманами. И все двинувшиеся в поход всадники верили, что упорный и уже озаренный славой счастливого победоносного завоевания Бату-хан пройдет в зареве пожаров грозой по всем «вечерним странам» и дойдет вплоть до «последнего моря», омывающего «поднос земли»[1]. Там его верные нукеры разожгут огромный костер, языками пламени облизывающий багровые тучи, в честь и в память замыслившего покорение вселенной «священного правителя» и всех изрубленных в битвах монгольских багатуров. Там Бату-хан въедет на пятнистом, как барс, коне на вершину кургана и вонзит свое блестящее копье в покоренную им землю. Тогда он воскликнет: «Услышь нас, взирающий с облаков «потрясатель вселенной»! Твоя воля выполнена. Вселенная покорена!»

И тогда не знающий улыбки Бату-хан впервые рассмеется, и смех его будет похож на клёкот орла.

Глава пятая

АРБА СОТНИКА АЗАРГА́ ТАХЯ́

Большая монгольская арба медленно и неуклонно ползла в облаках пыли по желтеющей ковыльной степи, увлекаемая тремя парами рыжих волов. С пронзительным, точно полным тоски и отчаянья, визгом и скрежетом поворачивались высокие, в рост человека, деревянные колеса без спиц, оставляя в нетронутой почве степной равнины две длинные глубокие колеи.

Впрочем, левое переднее животное этой упряжки было не рыжее, а пегий с белыми пятнами, огромный, свирепый бык, и звался он Арбан-цаг (десятый), потому что такого красавца обычно держали как вожака в упряжке какого-либо знатного тайджи или нойона[2], в которой насчитывалось пять, а то и десять пар волов. Первый вожак должен непременно иметь какое-либо заметное издали отличие, чтобы хозяин легче мог найти свою

---

[1] Монголы представляли себе землю (вселенную) по своему виду похожей на разостланный плащ (или поднос), окруженный беспредельным морем.

[2] Н о й о н — титул монгольской аристократии.

повозку среди многих тысяч скрипучих возов двинувшегося в поход монгольского войска.

Эта повозка была собственностью простого, незнатного монгола, сотника Азаргá-Тахя́, который поседел в походах, совершив сперва длинный путь от счастливой сладкоструйной реки Керулена на далекой родине монголов до главной столицы царства Цзиней, трудолюбивых, искусных в разных мастерствах китатов. Оттуда Азаргá-Тахя́ совершил новый путь, еще более длинный, через безводные пустыни Гоби до Ургенча, столицы веселых, добродушных хорезмийцев, считавших себя до вторжения монголов самым сильным и счастливым в мире народом. Эти первые походы Азаргá-Тахя́ совершал под начальством величайшего из людей, чье имя теперь монголам нельзя произносить вслух, того, кто принес народу монголов неизмеримую славу, а его князьям и военачальникам несметные богатства. Некоторая часть захваченных богатств перепадала и простым монгольским воинам. Но много ли можно увезти с собой на хотя и крепком, но небольшом коне с плохим старым седлом и парой истрепавшихся переметных сум? Счастлив был тот, кто имел собственную повозку, запряженную неутомимыми выносливыми волами, да еще в той повозке должна была сидеть верная жена, имея возле себя быстроглазого мальчика или девочку, помощницу в работе. Такая жена— верный друг в пути, заботливая хозяйка, умеющая сберечь вещи, захваченные в набеге, которые Азаргá-Тахя́, проносясь вскачь, бросал в повозку, зная, что его жена всему найдет свое место и припрячет.

Эту арбу Азаргá-Тахя́ нашел когда-то брошенной возле Ургенча, усадил в нее свою жену, которая до этого ездила служанкой-рабыней в обозе его начальника, темника Курмиши́. Азаргá-Тахя́ наполнил тогда арбу доверху разными одеждами и запряг в нее сперва двух тощих верблюдов с болтающимися от голода горбами. Потом дела его стали все более улучшаться, расцветая, как степь весной. Благодаря терпению и бережливости его верной жены он из беспечного бродяги превратился в расчетливого хозяина, особенно после того как хан Курмиши́ назначил его десятником, а через два года сотником и стал давать ответственные поручения.

А повозка обратилась надолго в передвижное жилище семьи Азаргá-Тахя́. Эта семья постепенно росла. Кроме

пегого быка и пяти волов, появились две собаки: одна большая темная лохматая овчарка, волкодав, была верным сторожем, другая — черная борзая, поджарая и стремительная, явилась главной кормилицей семьи: она носилась по степи, ловила сусликов и зайцев, иногда и лисиц, свою добычу неизменно приносила хозяйке, которая, содрав шкурки, жарила или варила тушки зверьков, давая объедки верным собакам.

В арбе ехало еще трое детей: девочка лет трех и два мальчика пяти-шести лет, которых хозяйка подобрала в Сарае, где работали на постройке домов пригнанные из Владимира и Рязани пленные широкобородые русы.

Крайне истощенные, они умирали во множестве. Особенно умирали дети. Похожие на маленькие скелеты, на тонких ножках, они жалобно просили: «Дай хлебца! Дай корочку!»

Женщина спросила пленных, кто родители детей, показав руками, будто нянчит и качает ребенка. Один указал пальцем на землю, потом на небо и махнул рукой, а другой сказал:

— Бери их, да корми получше! Здесь они все одно пропадут.

Когда арба тащилась по степи, мальчики бежали рядом, а девочка сидела на руках у приемной матери и так же, как и она, повторяла: «Кха-кха!»— таким возгласом монголы погоняют быков.

А когда накрапывал дождь и крутил легкий снег, мальчики тоже взбирались на арбу и сидели рядом, вместе с тремя курицами и петухом со связанными лапами. Женщина покрывала их всех одним большим войлоком с прорезанными отверстиями, из которых выглядывали любопытные головки детей. Новая мать стала причесывать их по-монгольски, обрезав все волосы и оставив только небольшую косичку с цветным лоскутком на левой стороне затылка.

Азаргá-Тахя́ изредка навещал арбу,— ему нельзя было отдаляться от своей сотни. Поэтому вся забота ложилась на его жену: она с помощью обоих мальчиков распрягала волов, и они паслись поблизости, охраняемые верными собаками. На рассвете женщина с помощью собак опять сгоняла волов к арбе, подводила их под ярмо, и арба катилась дальше, к новым заботам и тревогам, а может быть, и к богатству: впереди предстояло захватить

большой город Кыюв, где все крыши богатых домов, говорят, покрыты золотом. Азарга́-Тахя́ обещал постараться отломить хоть один маленький кусочек от такой золотой крыши.

Глава шестая
ЖЕЛЕЗНАЯ ПОВОЗКА

Обоз Субэдай-багатура был очень небольшой: четыре быстроходных верблюда везли его походный шатер и кожаные китайские сундуки; в них хранились пергаменты с чертежами земель, через которые проходило монгольское войско. Там же хранились путевые книги походов.

Кроме того, в этом маленьком личном обозе великого аталыка находилась его боевая железная колесница. Это был железный ящик, поставленный на два высоких колеса. На все четыре стороны были прорезаны узкие щели, предназначенные для наблюдения и пускания отравленных стрел. Кто подойдет без разрешения к колеснице, будет ранен стрелой и вскоре в корчах умрет.

Говорили, что внутри повозки сидит стрелок-девушка, охраняя сон Субэдай-багатура, который часто, даже днем, во время переходов, спал в этой колеснице.

Кроме того, в повозке еще находилась маленькая лохматая собачка китайской породы, которая по слуху узнавала шаги всех близких своему хозяину и молчала при их приближении, но если она принималась яростно лаять, это означало, что приближается неизвестный человек.

Железную повозку везли четыре коня, запряженных по два. На левом переднем сидел возница.

Субэдай-багатур однажды уговаривал Бату-хана тоже завести себе такую же прочную повозку, чтобы предохранить себя от предательского нападения.

Бату-хан сердито ответил:

— Меня достаточно охраняет твой зоркий глаз!

Глава седьмая
ПИСЬМО ХАЛИФУ ПРАВОВЕРНЫХ

«Святейшему, величайшему, повелителю праведных халифу Мустансиру,— да будет над ним мир!— его преданный слуга, почитатель, исполнитель его дальновидных

предначертаний и усердный посол при особе непобедимого хана Белой, Синей и других бесчисленных орд мунгальских, джэхангира Бату-хана, желает вечной славы и успеха, и осуществления надежд, и постоянного здоровья и счастья,— безошибочный стрелок из лука, укротитель своенравных коней Абд ар-Рахман говорит: «Мир тебе, защитник собрания верных!»— и просит не отвращать от него твоего ока милости и привета.

Пишу я тебе среди холодных бесконечных степей и холмов, засыпанных белым снегом, сквозь который пробиваются высокие кусты желтой травы. Только завернутые в бараньи шкуры кочевники кыпчаки могут переносить этот мучительный холод с пронизывающими ветрами, спасаясь в кожаных или шерстяных шатрах, согреваясь около костров, поддерживаемых охапками камыша или сухим конским пометом. Вода в такое холодное время замерзает и обращается в твердый прозрачный камень, и через застывшие широкие реки, ставшие удобными гладкими дорогами, могут бесстрашно переходить, точно по земле, всадники на конях или тяжелые груженые повозки, увлекаемые десятками больших волов.

Этим холодным временем пользуется непобедимое храброе войско монгольское и в зимнюю пору предпринимает свои опустошительные страшные походы. Да сохранит аллах тебя, повелитель правоверных, от встречи с этими звероподобными воинами, не знающими поражений. А сосчитать количество их и других союзных им племен — невозможно: войско растекается по степи, как разбушевавшееся море, и кто тогда сможет сосчитать его?

Но все же я попытаюсь тебе сообщить приблизительное число воинов. При дворе великого хана пребывают неотлучно около сорока темников. Каждый темник имеет под своей рукой десять тысяч всадников. Хотя некоторые из темников иногда только носят это почетное звание, но сами отрядов не имеют,— все-таки можно приблизительно считать, что войско Бату-хана, состоящее из двенадцати отдельных орд, в каждой орде имеет от трех до шести туменов. Итак, все войско татарское заключает в себе от трехсот до четырехсот тысяч всадников. Все они закалены в боях и подчиняются беспрекословно своим строгим до свирепости начальникам. Случаев неповино-

вения у них не бывает. Они, как бешеные, бросаются туда, куда укажет палец их темника, и до сих пор не было той силы, которая смогла бы остановить или разметать их яростный натиск.

По полученным от лазутчиков сведениям, во всех «вечерних странах» едва ли найдется такое большое и могучее войско, как монгольское. Судьба «вечерних стран» предрешена: они будут покорены, ограблены и брошены под копыта могучей дикой монголо-татарской конницы.

Я уже послал тебе с надежными людьми из арабских преданных купцов два донесения, а именно:

Первое письмо из «Орлиного гнезда» «Старцы горы», главы общины страшных карматов-исмаилитов, тайных убийц. Он мне сказал, что великий монгольский хан будто бы очень к нему благоволит и называет своим «братом». Но это ложь. Я осторожно спросил об этом Бату-хана во время одной вечерней пирушки. Саин-хан ответил, что «Старца Горы», запрятавшегося в своем «Орлином гнезде», постигнет судьба всех охотничьих птиц, когда они попадают в руки охотника. Или орел научится быть полезной ловчей птицей и станет приносить хозяину добычу, или тот свернет ему шею. «На земле есть один владыка (он имел в виду себя), и до тех пор, пока «Старец Горы» сам не приедет к нему с поклоном преданности и не сложит к его ногам всех накопленных богатств, он будет считать его непокорным врагом, и его судьба уже предрешена в небесной «книге судеб».

Второе письмо я послал тебе из устья Итиля, прибыв ко двору великого хана Бату и побеседовав лично с ним. Я выслушал его планы завоевания «вечерних стран», расхвалил эти планы и получил разрешение сопровождать его в походе.

Сейчас я пишу *третье* письмо у костра на берегу великой реки Днепра. Передо мною на противоположной стороне раскинулась главная столица царства русов, величайшего из великих земель. Столица эта называется Кыюв. Я вижу, какой это большой и прекрасный город. В нем много домов бога русов с позолоченными крышами. И Кыюв, так же как другие столицы, обречен на разрушение и пожары. Русы до сих пор всюду мужественно защищались. Но даже если они теперь заявят татарам о своей покорности, это их не спасет от обычного монгольского разгрома. Вероятно, русы добровольно не покорятся, а

станут отчаянно защищаться. Бату-хан сказал в кругу своих приближенных, где он милостиво разрешает мне присутствовать, такое слово:

«Я не допущу, чтобы существовали другие великие столицы. Будет только одна «столица-столиц»— моя боевая ставка Кечи-Сарай на великой реке Итиль. Из Кечи-Сарая будут вылетать молнии моих повелений, которые заставят трепетать и повиноваться все народы вселенной!»

Но аллах лучше все знает, он один все предвидит, и в его руках наше будущее. Да будет милость его над всеми нами!

Я надеюсь, что ты, повелитель праведных, святейший халиф Мустансир, посмотришь на прибывающих к тебе моих гонцов оком благорасположения и покроешь их полою твоей щедрости.

Пусть перед тобою будет открыта дверь Каабы[1], вечно желанной, а земля перед ней останется навсегда пылью на лбах всех склоняющихся перед тобою!»

---

[1] Кааба — мусульманская святыня в Мекке.





Часть седьмая

НА ДНЕПРЕ

Глава первая

ПРОЧЬ ИЗ НОВГОРОДА!

В этот грозный 1240 год, когда татары начали готовиться к походу на «вечерние страны», в далеком вольном Новгороде тоже царила тревога. На этот богатый торговый город точили зубы хищные недруги. Они приезжали на небольших пузатых кораблях, привозили разные заморские «ценные» и дешевые товары, а сами высматривали, как бы отхватить от новгородской и псковской земли кусок пожирнее. Германцы, шведы, датчане,

финны ввязывались в боевые схватки с мужественными новгородцами. На призывы Новгорода о помощи всегда откликались «низовые» рати переяславльцев, владимирцев, суздальцев, полочан, приходившие в Новгород под начальством доблестного и мудрого князя Ярослава Всеволодовича или его молодого сына Александра. Новгородцы упросили Александра Ярославича остаться у них на княжение, а вскоре к нему приехала молодая жена его Александра, дочь полоцкого князя Брячислава.

Среди приближенных молодой княгини снова оказался товарищ ее детских лет Вадим, ученик иконописной мастерской.

Когда-то отец Вадима, Григорий, любимый ловчий князя Брячислава, погиб на охоте в схватке с медведем. Князь Брячислав захотел помочь осиротевшей семье и вырастил Вадима вместе со своими детьми, которые особенно полюбили мальчика за то, что он умел вырезывать из липового дерева коньков, петушков или мужика с дудкой. Больше всех Вадим старался угодить маленькой веселой синеокой Санюшке и всегда придумывал для нее самые интересные игрушки.

Когда Вадим из мальчика превратился в юношу, князь Брячислав сказал ему однажды:

— Вижу, что склонен ты не к воинским забавам и не к ратному делу, а тянет тебя больше к мирным рукомеслам. Поэтому решил я отправить тебя в Новгород, где имеется прославленная иконописная мастерская, а в ней работает опытный изограф отец Макарий. Вот к нему-то я тебя и пошлю. Там ты научишься расписывать и образа и стены наших святых церквей, а это светлое и высокое дело!

Жаль было Вадиму расставаться с княжеской семьей и привычной обстановкой, но учиться ему хотелось, и он беспрекословно подчинился.

Вскоре Вадим поселился в Новгороде вместе со своей няней и начал работать под руководством старого изографа, старого и требовательного отца Макария.

Когда Александр Ярославич, женившийся на Брячиславне, приехал с нею в Новгород, Вадим стал частым гостем в княжеских хоромах. В семье князя Вадим был принят, как родной. Но каждый раз, находясь ли в толпе, окружавшей княжеское крыльцо во время праздников, или сидя у князя в горнице, Вадим жадно следил за

каждым словом, каждым движением молодой княгини. Кусая губы, наблюдал он, какой радостью озарялось ее лицо, когда она взглядывала на Александра, как светились ее синие глаза, как беззаботно она смеялась, играя с большим серым котом.

Скрывая от всех свое безнадежное чувство, Вадим постепенно пришел к решению уйти куда угодно, возможно дальше, только прочь из Новгорода!

Однажды, вернувшись в свою мастерскую с обеда у князя Александра, Вадим опустился на ременчатый стул перед кленовой доской, на которой он выписывал образ пресвятой девы Марии. Богородица, с которой он писал, была смуглая, с черными скорбными глазами, с кудрявым младенцем на руках. Вадиму было наказано точно воспроизвести образ, списав его с редкостной иконы, привезенной из Царьграда. Тяжело вздохнув, Вадим взял глиняные вапницы (горшочки с краской) и приступил к работе. Работа спорилась, появлялась узорчатая одежда, но помимо его воли, на доске постепенно вместо смуглой скорбной богоматери вырисовывался другой, никогда не покидавший его, светлый улыбчатый образ синеокой княгини.

Вдруг Вадим услышал за собой тяжелый вздох и оглянулся: позади него стоял отец Макарий, сурово нахмурив мохнатые брови.

— Безумец!— прошептал монах. — Дерзновенный грешник! Что деется в душе твоей? Какие бесовские страсти клокочут в тебе? Кого ты рисуешь? Ведь это дерзостная переделка святой иконы! Если отец игумен увидит твой соблазнительный образ, он на тебя оковы велит наложить, в поруб глубокий засадит, а если, не дай бог, сам владыка услышит,— то не быть тебе в живых, истинно говорю! Сгинешь ты в порубе, как слуга антихриста! Немедля соскобли твое мастерство! А поверх ты напишешь другой образ заново. И поскольку девий лик в тебе разжигает греховные страсти, то пиши на этой доске образ святого апостола Петра, лысого и брадатого, или святого Власия, скота покровителя. Я же, по долгу своему, все же пойду к отцу архимандриту и спрошу его: какую эпитимью наложить на тебя, дерзновенный грешник.

Шаркая ногами, отец Макарий ушел. Вадим бережно сложил кисти и вапницы в небольшой сундучок, стара-

тельно завернул нарисованный им образ в свой холстинный передник и осторожно вышел боковой дверью в монастырский сад.

Надо было торопиться. Дремавший у ворот сторож, закутанный в тулуп, не обратил особого внимания на всегда щедрого Вадима. Быстро дошел «дерзновенный грешник» до избушки на окраине города, где жила его старая няня. Вадим объяснил ей, что уходит на богомолье недалече в подгородный монастырь. Сказать старухе правду у него не хватало духу. Выбрав из своих вещей только то, что можно было легко унести с собой, Вадим уложил все в котомку и закинул ее за плечи.

Нянюшка заплакала:

— Родимый мой, на кого ж ты меня покидаешь, старую да слабую? Чую: не к добру ты уходишь в такую непогоду.

— Не горюй! Я скоро вернусь,— тогда подарю тебе баранью шубу и новый платок. Не плачь, лучше помолись обо мне!

Вадим обнял старушку, прижал ее к себе, а она целовала и нежно гладила его по лицу.

— А если без меня тебе что-либо понадобится, сходи на княжий двор к молодой княгине Брячиславне, она тебя без помощи не оставит.

Вадим вышел из избы и, выломав из плетня на огороде палку покрепче, бодро зашагал по дороге.

— Киев! Я должен добраться до Киева! Там, в Печерском монастыре, говорят, схоронились от мирской суеты и искусные мастера-изографы, там я найду себе опытного наставника, там я забуду свою тоску!

В пути через несколько дней Вадим присоединился к ватаге скоморохов, направляющейся проторенной дорогой в сторону Полоцка и Смоленска. Они стали уговаривать его поступить в их ватагу:

— Жить станешь привольно. Всюду тебя накормят и напоят на гулянках и свадьбах. А для нас ты станешь размалевывать потешные «хари» да скоморошьи наряды.

Однажды, когда Вадиму удалось отстать от скоморохов, в глухом месте на него напали лихие люди, избили, отобрали все ценное, пощадив только икону и краски.

Обессиленный, лежал Вадим на дороге под раскидистой елью и думал, что уже пришел его конец.

Мимо проезжал старый крестьянин. Он подобрал израненного Вадима, привез в свой домишко. У него Вадим прожил некоторое время. Старик кормил его, бабка поила горячим молоком. Когда Вадим немного окреп, он рассказал, что с ним было.

— Жаль, что ты в дороге от скоморохов отстал,— они люди веселые и душевные. А вот как пошел ты один, тебя и пристукнули! Теперь много лихих людей бродит по дорогам. Слава богу, тебя еще сохранила от смерти чья-то молитва. Нынче ходить надобно с опаской, попутчиков выбирать с оглядкой. А твоя икона мне очень по сердцу. Лик ее похож на мою дочку Настю, — упокой, господи, ее душеньку! Такие же у нее были синие глаза и лицо светлое, доброты несказанной. Был у меня зятюшко — охотник Андрей. Обвенчались они с Настенькой и жили — души друг в друге не чаяли. Родился у них сынок, тоже мы его Андреем назвали. А тут заболела моя Настенька огневицей, всего дней пять промаялась, да и богу душу отдала. А внучек с нами остался. Мы с бабкой его сберегли, козьим молоком поили. Вот он здесь перед тобой. Как-то зять Андрей сказал мне: «Тоска меня замучила. Не могу здесь жить, уйду бродить по свету». А он смелый был охотник, один на медведя ходил с рогатиной, пять шкур медвежьих нам домой принес. Ушел он от нас и долго о нем ни слуху ни духу не было. Думал я, что он так и сгинул неведомо где, потому все смерти искал. А недавно пришел к нам мой сродник и принес подарочки: сапоги крепкие, мало ношенные, а жене холстины на сарафан, да мальчонке рубашку красную. И тот человек — богомолец праведный, по святым местам ходит, милостыней кормится, нам всем подарочки эти в сохранности принес. Так вот он и сказывал, что зять мой Андрей большим человеком стал: он плоты гонит по Днепру от Смоленска и до Киева. Сам на переднем плоту сидит и указывает плотовщикам, как «главной струи» на реке держаться и как всеми плотами зараз повороты делать. Если, сказывал, прозевать крутой поворот, то плоты на берег выскочат и стащить их оттуда почти непосильное дело.

— А нельзя ли мне к нему попасть, к твоему зятю Андрею? — спросил Вадим.

— Вот и я о том же подумываю. Добирайся до Смоленска, а там спросишь на берегу Андрея-плотовщика, ватáмана; тебе всякий его укажет. Он за лето, говорил нам странник, раза четыре во время сплава обернется, а то и пять, как выйдет. Из Киева Андрей обратно в Смоленск на коне скачет, чтобы там новые, уже связанные плоты спустить в Днепр. Ты ему передашь от меня, что мы живы и здоровы, сынок, мол, растет и тятьку домой поджидает с гостинчиком. Пусть к нам скорее возвращается!

На прощанье Вадим подарил гостеприимному хозяину Прохору Степановичу написанную им икону. Поблагодарив за подаренную одежонку и за хлеб-соль, он двинулся в путь.

Благополучно добравшись до Смоленска, Вадим увидел на берегу множество плотов, приготовленных к плаванью. Расспрашивал у всех встречных людей, где можно найти плотовщика Андрея — ватамана, пока не услышал:

— Да вот он и сам перед тобой!

Статный крепкий мужик. Соколиный взгляд. Холодные пытливые серые глаза. Лицо обветренное, загорелое.

— Ты откуда и почему сюда пришел?

— Тесть твой, Прохор Степанович, с тещей шлют тебе низкий поклон от черной брови до сырой земли, и сынок Андрюша тоже низко кланяется.

Андрей склонил голову, провел рукой по глазам, как-то весь согнулся, но сейчас же выпрямился и спросил:

— Ну, как старики? Здоровы?

— Все в твоем доме, слава богу, спорится: и урожай был сходный, хлеба не полегли. А люди опасались, потому что лето было дождливое. И теща твоя хозяйничает, хлопочет, за коровой и за козой присматривает и за внуком ходит — он растет бойкий, непоседа.

— А ты, молодец, куда путь держишь?

Вадим рассказал, что он хочет попасть в Киев на выучку к изографам в Печерскую обитель.

Подумал Андрей и сказал:

— Гляди на передний плот. Видишь там соломенный шалашик? Его я отдаю тебе. В нем ты укроешься и от дождя и от холода. Заберешься в него и спи на соломе до самого Киева.

На всех плотах были низкие длинные будочки, сплетенные из соломы, вышиной до пояса. Нужно было влезать туда ползком и лежать растянувшись.

На утро следующего дня плоты поплыли вниз по течению. Вадим лежал на соломе в будке, выглядывал оттуда, и ему казалось, что плот стоит на воде неподвижно, а мимо него бегут обратно и села, и поля, и берега, заросшие густым лесом. Не раз он видел, как медведица с медвежонком или ветвисторогий красавец олень подходили к воде, пили и медленно возвращались в чащу, косясь и оглядываясь на проплывавшие плоты.

К переднему плоту была привязана большая лодка — «дубовик». В ней хранился огромный железный якорь: его поднимали несколько человек. Андрей сидел на переднем плоту и зорко смотрел вперед. Когда река делала крутой поворот, он, зная хорошо весь путь, заранее выплывал вперед на дубовике и приказывал, где сбросить якорь в воду. От якоря тянулся толстый пеньковый канат. Река уносила плоты вперед, как будто прямо на изогнутый берег, но туго натянувшийся канат удерживал передний плот посреди реки, а за ним стремительным течением Днепра заворачивались другие пять плотов, и все они вытягивались посреди реки в новом направлении, так, что задний плот оказывался передним.

Тогда Андрей подавал знак гребцам на лодке, и они вытаскивали якорь обратно в дубовик, а вся связка плотов неслась дальше. Дубовик объезжал плоты, а Андрей с гребцами переходили на задний плот, ставший теперь передним. Канат привязывался к скрепам, связывавшим бревна. Андрей снова садился впереди и ждал следующего поворота реки, где все повторялось.

Так Вадим летом 1240 года на плоту благополучно прибыл в стольный город Киев.

Глава вторая

ВАДИМ В КИЕВЕ

Киев поразил Вадима своей живописной красотой. Раскинувшийся на холмах, с массой зелени, Киев издавна славился богатыми постройками, величьем церквей, золотыми куполами, множеством боярских хором и каменных палат и бесчисленным количеством домиков киев-

лян, невысоких, глинобитных, с выбеленными стенами, с камышовыми крышами.

Вадим и Андрей прошли по Подолу, нижней прибрежной части Киева, где проживали многочисленные рабочие умельцы — искусные мастеровые разных специальностей — и где были расположены также всевозможные мастерские.

Громыхали кузницы, стучали плотники, люди толпились перед мастерскими: гончарными, литейными, оружейными и прочими. Всюду трудились киевские и приезжие издалека работные люди.

— Вот здесь живет и трудится много моих друзей,— сказал Андрей.— Каждый год я сюда приплываю несколько раз и доставляю здешним умельцам отборные лесины: и березовые, и дубовые, и липовые, и кленовые,— какие кому понадобятся. Ты можешь тут встретить и твоих новгородцев, и псковичей, и полочан. Особенно много сюда прибыло суздальцев и владимирцев после татарского погрома; они переселились в Киев, хотели найти себе мирный труд и тихую жизнь, да вряд ли и здесь найдешь тишину. Татары еще не успокоились, и хотя осели в низовьях Волги, а кто их знает? Вдруг их ненасытный людоед хан Батыга задумает злое и налетит сюда со своей несметной ордой?

В Киеве сразу же Вадим услышал разговоры нерадостные. Старый знакомый Андрея кузнец Григорий, имевший свою кузницу на Подоле, встретил его с хмурым и озабоченным лицом:

— В недобрый час приплыл ты к нам в Киев, любезный друже Андрей. А лесины твои нам все же понадобятся, хотя теперь нечего и думать о постройках новых домов. Все силы теперь брошены на городские стены: надо укреплять Киев, надо опоясываться более высокими валами. Настают времена тяжкие. Остаться бы только нам самим живыми!

— Да что случилось? Где ты беду чуешь?— спросил удивленный Андрей.

— Ты, верно, уже заметил, что не первый год из Дикого Поля через Днепр плавятся и бегут мимо Киева и половцы, и бродники, и всякие другие степняки-кочевники. Они говорят, что хотят перебраться в угорскую степь Пушту, а в этом году бегут они уже не отдельными семьями, а целыми стойбищами и родами. Бегут как

ошалелые. Говорят, что они боятся татар, которые охотятся за ними по всей половецкой степи, избивая без жалости, а то, захватив пленных, гонят их назад, в низовья Волги, и там продают, как скотину, в рабство приезжим купцам бухарским и персидским.

— Плавали мы до сих пор по Днепру и беды не чуяли,— сказал Андрей.

— Посмотри на ту сторону,— продолжал кузнец Григорий. — Видишь скопище людей и пеших и на конях? Там сгрудились и верблюды и телеги, нагруженные всяким добром. Быки тянут целые возы. Это половцы или другие степняки. Они у нас нанимают не только ладьи, но и паромы и плоты, чтобы только поскорее переправиться на нашу сторону. А платят они хорошо, скотом или кожами, почти не торгуясь, только бы им переправиться скорее на наш правый берег.

Из разговоров Вадим узнал, что к Киеву из степи однажды летом уже подходил большой отряд татарской конницы, и тогда татары стояли долго на противоположном левом берегу. От них приплывали на ладьях послы, которые заявили нашим боярам, «городским старцам», что татарский владыка требует, чтобы Киев сдался на их полную милость, и обещает, что татары Киева не тронут и не обидят ни одного жителя, а только наложат на город ежегодную дань.

— Да можно ли татарам верить?— говорил кузнец.— На их уловку мы не пошли и проводили честью. Татары долго ждали, что Днепр замерзнет, а зима была теплая. Постояли они, постояли и откатились обратно в степь.

— Друже Григорий,— спросил Андрей,— а ведь ежели в этом году зима будет ранняя и суровая и примчатся сюда немилостивые татары, а Днепр замерзнет, то им легко будет перейти на нашу сторону и в великом множестве обрушиться на Киев. Что вы тогда станете делать?

— Вот об этом и думают, и гадают и князь наш, и его бояре, да и все киевляне. А это что за молодец с тобой?

— А это новгородец Вадим. Приплыл со мной от Смоленска на плоту. Хочет учиться в Киево-Печерском монастыре. Объясни, Вадим, как тебя назвать по твоему рукомеслу?

— И постриг монашеский хочешь принять?—спросил кузнец.

— Я учусь образа писать. У нас зовутся такие иконописцы изографами,— сказал Вадим.— Но я не собираюсь постричься в монахи, а только хотел бы поселиться где-нибудь в городе и ходить в иконописную мастерскую для обучения.

— Ежели тебе надо сейчас поселиться где-нибудь, то я тебя провожу к моему другу, соседу горшене Кондрату. Он живет в верхнем городе, а здесь, на Подоле, ютится его лавчонка совсем неподалеку. Идем к нему.

Кузнец проводил Вадима и Андрея к своему «дружку» Кондрату. Чернобородый приветливый хозяин стоял за прилавком под деревянным навесом; на прилавке были расставлены рядами глиняные миски, горшки и кувшины, расписанные яркими красками; тут же кузнец обратился к хозяину:

— Друже мой Кондрат, не нужен ли тебе помощник, молодец на все руки? Он сейчас без крова, только что прибыл на плоту из Смоленска. Не сможешь ли ты его приютить в своей хате?

Горшечник, прищурив один глаз, посмотрел на Вадима:

— А ты что умеешь делать?

— Что велишь, то и сделаю!— ответил Вадим.

— Он молодец покладистый и тихий,— сказал Андрей.— А в пути он нам из глины вылепил и медвежонка, и коня, и скомороха с дудкой.

— Повремени здесь маленько, и я тебя провожу к себе домой. А это твой, что ли, пес?

Вадим оглянулся. Возле него стояла лохматая собачонка, приплывшая с ним на плоту. Она умильно поглядывала, виляя хвостом, точно понимая, что разговор идет о ней.

— Видно, теперь моим стал!— И Вадим погладил собаку по лохматой голове.

— Ну ладно,— сказал горшечник.— Как потерял я хозяйку, тошно мне стало жить одному в хате. Пожалуй, я пущу тебя к себе, все же вдвоем будет и теплее и веселее, а то у меня дома только кот да голуби на крыше. Бобылем живу. А пустолаечку бери с собой.

С этого дня Вадим поселился в хате горшечника Кондрата, а его собачонка жила в будке близ дома и усердно лаяла на всех проходящих.

Вадим отправился в Печорский монастырь, на южной окраине города. Побывал в иконописной мастерской, нашел там несколько монахов-изографов. Он сговорился приходить к ним, чтобы одолеть любимое живописное искусство.

Рядом с хатой горшечника Кондрата стояла другая хата, отделенная плетнем. Оттуда часто слышались песни и девичий смех. Однажды из-за плетня показались две веселые девушки-подростка. Они заговорили с Вадимом:

— Здравствуй, сосед! Ты будешь тоже таким же молчальником, как твой хозяин? Или ты от рождения немой?

Вадим подошел к ним:

— Здравствуйте и вы! Что вы тут поделываете и почему у вас всегда дымит печь, а вас самих нигде не видно?

— Ты и это заметил? У нас бабушка строгая. Она бублики печет и торгует ими в хлебном ряду на Подоле, а мы ей дома помогаем. Работы у нас много.

— Как же вас звать?— спросил Вадим.

— Меня — Софьицей, а сестру — Смиренкой.

Дали они Вадиму пару бубликов и скрылись, крикнув:

— Вот и бабушка идет!

Глава третья

ДРУГ СТЕПНЯКОВ

В низовьях Днепра к его обрывистому берегу со старыми ивами пристала лодка, длинная, прочная, просмоленная,— такую лодку в народе называли «дубом». Гребцы «дубовики», подобрав весла, выскочили на землю, все дюжие, с засученными выше колен портами, с расстегнутыми на груди рубахами Волосы острижены в скобку, и на шее гайтан с небольшим деревянным крестиком: лица загорелые до черноты. Гребцы прикрепили канатом лодку к старой иве, вцепившейся мощными корнями в склон берега.

— Русы!— сразу поняли несколько степняков торков[1], стоящие настороже возле густых зарослей камыша, куда в случае беды они могли бы скрыться.

В лодке оставалось несколько купцов-греков. Другие путники были паломники к «святым местам», вернувшиеся из Царьграда. Их можно было узнать по длинным высохшим пальмовым ветвям, большому деревянному кресту, который бережно держал один из сидевших, да еще по их протяжным духовным песням.

Некоторые из прибывших, выйдя из лодки, молились на восток и клали земные поклоны. Три женщины в длинных одеждах, туго повязав голову темными платками до бровей, держались неразлучно и пели пронзительными тонкими голосами «духовный стих», усевшись рядком около костра, разведенного гребцами.

Степняки засуетились и скрылись в камышах. Вскоре они вернулись. Впереди медленно и важно шагал, очевидно, их нáбольший в меховой шапке из облезлой лисы. Он торжественно опирался на высокий посох из перевернутого кверху корнем деревца. Это корневище было искусно выделано в виде головы чудовища с рожками. Вместо глаз были вставлены два красных камешка. На поясе старшины висел короткий широкий нож. Длинные полуседые волосы, заплетенные в косу, ниспадали на одно плечо.

— Здешний князь торков!— сказал один из гребцов, не раз уже плававший по Днепру.

— Колдун и лечец!— добавил другой.

За своим старшиной два торка несли на руках изможденного старика с серебристой бородой, в бедной выцветшей рясе. Они бережно опустили его на песок около костра. Женщины-паломницы стали суетиться около старца, повернули его на спину. Один кочевник подсунул ему под голову кожаную суму. Женщины соединили руки старика на груди и вложили в бледные сухие пальцы медный восьмиконечный крест, висевший у него на цепочке на шее.

— Отходит!— шепнула, вздохнув, одна.

— Кончается!— подтвердила другая.

---

[1] Торки, как и встречающиеся далее берендеи, часто обозначаемые собирательным именем «черные клобуки»,— кочевые племена тюркского происхождения, сосредоточенные в то время в пограничных местах Киевского государства.

— Какое! Ещё поживет!— убежденно возразила третья.— Такие с виду мощи — самые живучие! Моему деду даже зажженную свечу в руки сколько раз вкладывали, а он на спине так еще три года пролежал, и даже вставал, когда у нас блины пекли со снетками...

— Со снетками? А ты не с Чудского ли озера?— неожиданно очнувшись, спросил умирающий старик.

— Оттуда, дедушка! Из-под Талабска, что близ Пскова. Слыхал, чай?

— Бывал я и на Талабском озере... Пробовал блинов со снетками. Прасковья меня угощала.

— Какой живучий!— сказала одна женщина.— Она кто тебе была, Прасковья-то, сродственница или так?

— Пожалела меня, укрыла. Я бежал тогда из Пскова от боярина Твердилы Иванковича. В холопах у него был. Лютый был боярин.

— А Твердило этот, видно, был злобный кобель?

— Поедом ел, холопов порол до смерти. Я потом в чернецы постригся уже в Киеве.

— А теперь чего же ты помирать собрался здесь, а не на родной стороне?

— Устал я!.. От бродячей жизни устал. Все кости ноют. Покоя просят... На родную сторонку хотел бы добраться, да, видно, не придется.

Старик снова вытянулся и затих. Глаза остановились. Рот полуоткрылся. Одна женщина прошептала, обращаясь к остальным:

— Надобно с лодки призвать нашего монаха. «Отходную» пусть прочитает.

Она быстро пробралась в лодку и на корме растолкала свернувшееся тело, прикрытое тулупом.

— Вставай, отче Мефодий! Старик там немощный на берегу кончается, если уж не помер...

Протирая глаза и расправляя длинные спутанные волосы, приподнялся чернобородый тощий монах и удивленно стал осматриваться, поводя темными глазами.

— Куда ж это нас господь принес? Неужели приехали в родную землю? Ну и трепали же нас смерти на море!

— Вставай, очнись, святой отче! Опосля дивиться будешь. Иди за мной.

— А что за монах? Откуда он?

— Его на берег здешние степняки притащили. Верно, один из ваших монахов будет. Пожелал на родной земле богу душу отдать. О родном доме все вспоминает, и о снетках, и о Прасковье. Только едва ли до них доберется.

Монах встал, длинный, тощий, в старой выцветшей рясе, и сейчас же снова повалился, так как лодка покачнулась. Собрал все свое скудное имущество: кожаную сумку, посох из «ливанидова дерева» (кедра ливанского), глиняный кувшин и деревянную миску. Подхватив старый тулуп, он последовал за женщиной, осторожно переступая через лежавшие тела. Выбравшись из лодки и подойдя к умирающему старцу, он нараспев прочел несколько молитв, потом опустился на колени и склонил свое оттопыренное ухо к устам лежавшего. Долго он слушал, потом отодвинулся и спокойно уселся рядом на земле. Все бывшие поблизости внимательно за ним следили.

— Спит!— сказал монах и вздохнул.

Гребцы стали варить в медном котле похлебку.

По-видимому, поблизости находился табор степняков. Стали приходить и взрослые и дети и на некотором расстоянии садились на пятки, обнимали колени, следя блестящими глазами за всем, что происходило на берегу. Они переговаривались вполголоса, сильно размахивая руками, и при громких окриках гребцов все вдруг разом поднимались, готовые бежать.

Покончив с похлебкой, гребцы, владельцы «дуба», стали сзывать путников обратно в лодку.

— Эй, странники-богомольцы! Живее садитесь в дуб, того и гляди дождь нагрянет. Заранее укладывайтесь и лежите тихо. Потому в пути по дубу ходить заказано!

Все поспешили в лодку. Остались на берегу только больной старик и тощий монах, который вынул из сумки потрепанный псалтырь и начал его громко нараспев читать. К нему подошел один из гребцов.

— Что же ты медлишь, отче преподобный?

— Не видишь, что ли, иеромонах кончается!

— Так давай перенесем его в лодку. Ему место найдется.

— Меня не ворошите, — простонал умирающий. — Схороните здесь под этим деревом.

— Ждать нам никак нельзя,— дорога дальняя. И тебе здесь оставаться не след: место глухое, рядом степняки — народ разбойный, не надежный.

— Все едино: ежели господь повелит, то и степняки не тронут.

— Но сей седовласый брат наш имеет священный сан иеромонаха, и я не могу его здесь одного покинуть, аки зверя лесного.

Гребцы отошли, потолковали меж собой и направились к лодке. Один остановился и сказал:

— Все одно его хоронить: что здесь, что у порогов! В последний раз говорю: давай мы его перенесем в лодку!

— Я останусь с отцом болящим,— ответил монах и продолжал, не двигаясь, смотреть в псалтырь, — а в Киев я и пешком дойду.

— Ой, не дойдешь! Путь долгий да буераками дикими изрезан, а народ тут беспокойный. Лучше подожди, за нами другой дуб скоро приплывет, — на нем и доедешь.

— Я в самый ад кромешный попал, когда татары всех православных рубили в Рязани, и все же неиссеченный домой вернулся. Мне ли перед этими степными братьями робеть! Поезжайте с богом, путь вам добрый!

Гребцы размотали канат, перекинули через плечо бечеву, влезли в прикрепленные к ней лямки и мерными шагами пошли берегом. Один из гребцов на корме с длинным веслом и другой, стоявший с шестом на носу лодки, направляли дуб на «чистую воду», отталкиваясь от подводных камней.

Два монаха остались на берегу. Читавший псалтырь изредка посматривал на неподвижное лицо больного и замолкал, прислушиваясь к его дыханию. Издалека еще долго доносилась мерная песня, которую завели дубовики, упорно шагавшие вперед против течения реки.

Старшина, скрывавшийся в камышах, снова подошел к монахам, опустился рядом с ними на землю и положил свой посох. К нему приблизились несколько других степняков и уселись вокруг.

Молодая женщина в просторной красной одежде с множеством разноцветных бус на шее принесла глиняный кувшин с молоком Колдун что-то ей пробормотал. Она опустилась в головах лежавшего монаха и, окунув руку в кувшин, начала с пальца, как младенцу, капать молоко в полуоткрытый рот умирающего. Его губы зашевелились, и он с усилием стал глотать.

Старшина тронул за плечо читавшего псалтырь монаха, указал рукой на небо и сказал:

— Тенгри...

Потом он сжал ладонь в кулак и, вглядываясь в глаза монаха, добавил несколько непонятных слов.

Старик прошептал едва слышно:

— Это он говорит... «Тенгри»... по-ихнему небо... Хочет, чтобы все люди были братья... Как пальцы на руке... И собирались, когда нужно, в одну десницу... Я у них прожил три года с евангельской проповедью. И этот старик, ихний старшина... тоже, как другие, у меня крестился... А колдуном по-старому остался... чтобы свои боги не разгневались.

Больной затих. Монах, отложив псалтырь, наклонился к нему:

— Скажи мне, отче: кому весть о тебе подать, ежели я в Киев доберусь? Может, в обитель какую зайти?

Старик еле слышно прошептал, задыхаясь:

— В Киеве найди тысяцкого Дмитро... Скажи ему, что известный ему иеромонах Венеамин, тот, что последние годы «черных клобуков» и торков просвещал, а теперь к смерти готовится от старческой немощи, — посылает воеводе Дмитру свое благословение на подвиг ратный, ибо бегут уже отсюда на закат солнца все степняки перед врагом лютым, именуемым татарами, а воинам их несть числа... Но святою правдою и нашей крепостью мы, сыны русские, их одолеем! Пусть встанут крепко за землю родную, и силы небесные принесут нам победу!





Часть восьмая

ПОСЛЕДНИЙ ЧАС КИЕВА

Глава первая
ТРЕВОГА В КИЕВЕ

Прошло горячее засушливое лето 1240 года, миновала золотая осень, и все это время мимо Киева тянулись длинной вереницей и всадники разных кочевых племен Дикого Поля, и пешие люди, и нагруженные телеги: «черные клобуки», половцы и другие степные обитатели уходили прочь из Дикого Поля; непрерывно на лодках и плотах переправлялись через Днепр и двигались дальше, мимо Киева, в надежде найти где-то

там, за лесистыми Карпатскими горами, спокойную трудовую жизнь.

Скрипели тяжелые возы, запряженные волами, медлительной поступью шагали двугорбые верблюды, навьюченные частями разобранных войлочных шатров, пылили стада овец с неизменным козлом впереди и проносились табуны разношерстных коней. Вокруг них скакали завернутые в шкуры конюхи в войлочных малахаях с длинными гибкими жердями, «укрюками», с петлей на конце. Они старались сбивать коней вместе в табуны, не давая им разбрестись по привольной беспредельной Дикой степи.

С тревогой поднимались жители Киева на старые земляные валы, на широкие стены, опоясывавшие древнюю русскую столицу. Пристально всматривались киевляне в голубые степные дали, где то и дело появлялись все новые и новые черные точки, по мере приближения превращавшиеся в отряды степняков, и казалось, конца им не будет...

— Что же это творится в Диком Поле?— вздыхали озабоченные киевляне.— Откуда, за какие грехи насылает господь бог на православных христиан новые беды?

— Если и половцы, и торки, и черные клобуки уходят со своих стародавних стоянок за лесистые Карпаты, на угорские равнины, то это — ой! не к добру! Зря степняки никогда не потянутся в чужедальную сторонку. Что же их гонит? Какая тревога?

— Значит, погнал кто-то, кто посильнее!

— А кто посильнее? Только татарин! Неужели и впрямь до нас доскачут страшные татары, мунгалы дикие, безжалостные, что пожгли и разграбили Залесскую Русь?

В прибрежных уличках Подола нарастала тревога. Все умельцы — оружейники, кузнецы, молотобойцы, все, умевшие ковать железо и выделывать из него оружие, принялись за спешную работу. Со всего города приходили киевляне, и молодые и даже глубокие старики, давно забывшие о воинских делах. Сходились в кружки, приносили с собой и точили мечи, заржавевшие копья и топоры. Все искали какого-нибудь оружия, скупали все, что могло послужить защитой от жестоких врагов.

Оказавшиеся в Киеве половцы и другие степняки бродили по Подолу и, почти не торгуясь, забирали все, что еще оставалось в железных рядах.

— Неужто татарский Батыга-хан и взаправду доберется до нас? — толковали киевляне. — Как мы его встретим? Он ведь только одного и ждет, чтоб мы сдались без боя. Враги жалости не знают и всех, кто с ними борется, приканчивают.

— Разве им тесно стало в кыпчакской степи?

— А где самый набольший половецкий хан Котян? Почему он ушел из степи и погнал всех своих конников к уграм?

— Если он так заторопился, значит, его теснил кто-то, кто посильней его и кто летит сюда, как буря.

— Чего пугаешь! Если зима будет теплая и Днепр не заледенеет, не остановится, то не перебраться татарам на нашу сторону. Тут мы их и отшибем.

— А если задует сиверко и река станет? Тогда мунгалы вмиг перекинутся на нашу сторону и разольются по всему Киеву, как река в половодье. Заглянут во все наши дома, и все, даже подвалы, оберут.

— Как мунгалы разольются? А мы сложа руки станем смотреть на них без отпора?

— И уйти-то нам тогда будет некуда.

— А мы и не собираемся уходить! На своей земле и жить и умирать надо.

В этот страшный год погода долго стояла осенняя. По Днепру, откуда-то сверху, из-под Смоленщины, приплывали последние плоты и приставали к левому, степному, берегу. Оттуда на ладьях плотовщики переправлялись в город, шли по торговым рядам, предлагая связками беличьи, лисьи и заячьи шкурки, висевшие у них у пояса. Раньше такие шкурки тут же бы расхватали, а теперь никто их не брал.

— На что нам шкурки? Свою бы шкуру сберечь!

— Эх, рано панихиду запели, — отвечал один плотовщик.— Татар, что ли, испугались? Мы их под Переяславлем видели и гоняли. Храбры они, когда впятером бросаются на одного. Если дружно встретить татар и всем встать стеной на защиту Киева, то им с вами никак не совладать.

Крайне встревоженные люди расходились по домам.

Глава вторая

В КНЯЖЕСКИХ ХОРОМАХ

В стольном городе Киеве в «детинце» (крепости), у ворот княжеских палат, стоял рослый дружинник в остроконечном шеломце. Он перегородил копьем вход во двор, отталкивая упрямо ломившегося туда высокого тощего монаха. Тот в гневе стучал посохом:

— Да пусти ты меня, непонятливый!

— Сказано тебе: великий князь строго приказал никого к нему на княжий двор не впускать, ни конного, ни пешего.

— А про духовный сан, про священнослужителей так уж князь ничего не сказал?

— Ни калику перехожего, ни монаха длинноризца — все одно не пущу!

— Пойми, чадо мое, что я пришел издалека, с низовьев Днепра, близ моря, еще подалее порогов. И я видел, какая там у степняков замятня́,— все плавятся через Днепр. И еще видел другое, многое и страшное, о чем князю поведать должен. А ты, гордыней обуян, стоишь передо мной, истукан каменный.

— Не пущу! — упрямо отвечал дружинник. — Князь Данила делом занят: куда-то спешно снаряжается и дружину с собой берет.

— Я, сынок, должен беспеременно его увидеть. Ведь грамотку я принес от отца Вениамина, бывшего духовника тысяцкого воеводы Дмитрия.

— Говорю: лучше отойди от греха! — резко ответил дружинник. — Все одно не пущу!

В это время к воротам подлетел взмыленный могучий конь и остановился, удержанный сильной рукой всадника. За ним, гремя ратными доспехами, примчался еще десяток конных воинов.

— Здоров буди, воевода Дмитро! — приветствовал всадника стоявший у ворот дружинник.

— Спасибо, Степан! — зычным голосом ответил воевода. — Князь Данила дома?

— Князь в гриднице, спешно снаряжается в путь-дорогу. Сейчас я тебе открою ворота.

— Снаряжается в дорогу? — удивился приехавший. — Верно, в поход?

— Князь сам тебе скажет, а нам неведомо.

Всадник соскочил с коня и увидел перед собой тощего монаха. Тот, загородив дорогу, кланялся в пояс:

— Позволь слово молвить.

— Ты с каким челобитьем, святой отче, кто тебе надобен?

— Ежели князю Даниле недосуг перед дорогой, то я и за тебя вознесу молитвы к господу, если ты меня выслушаешь.

— Говори, только поскорее, а то и мне недосуг.

— Я прибыл издалеча, из Царьграда, а перед тем был еще во святом граде Иерусалиме. Через низовья Днепра я плыл на ладье и в месте незнаемом увидел, как степняки принесли на берег умиравшего иеромонаха Вениамина.

— Отец Вениамин? Не тот ли, которого я знал?

— Истину рек: он самый. Принесли его мирные кочевники, чада его духовные, святое крещение принявшие. Отец Вениамин их крестил.

— А со степняками приднепровскими ты говорил? Что они замышляют? Супротив нас или с нами?

— Об этом я и хочу речь повести. Степняки сами у нас же подмоги просят. Говорят, что уже видели татарские разъезды по другую сторону Днепра. Подъезжали, сказывают, конники, страшные, лохматые, захватили несколько рыбарей и с ними назад, в степь, умчались. Степняки днепровские теперь стали наши дружки, и они нас молят: «Ты, говорят, спроси киевского князя, как нам быть: держаться ли своих заповедных мест, или уходить дальше к уграм? Будет ли Киев рубиться против татар, или киевляне, покинув город, укроются в лесных Карпатах?»

Тысяцкий в гневе воскликнул:

— Так я и знал, что здесь уже беды натворили! Нет твердой руки! Всё князья меняются! Разве можно нынче покинуть Киев? Этакую твердыню! Идем к князю, отче. Как звать-то тебя?

— Мефодием звать. Иеромонах Мефодий, родом я из Переяславля Залесского.

— А отец Вениамин тоже с тобой прибыл?

— Нет, преславный воевода! Отдал он господу свою праведную душу на берегу Днепра, и там же я схоронил его иссохшее бренное тело. Сам он, умирая, просил меня

об этом. Оттого я и задержался. Приехал сюда я на клячонке, ее мне дал окрещенный старшина степняков вместе с требником отца Вениамина. А святое евангелие его заветное старшина просил оставить в память их первоучителя.

— Упокой, господи, душу праведника отца Вениамина в селениях райских! — сказал воевода и перекрестился.

— А ты пойди к настоятелю Десятинной церкви и скажи, что я прислал тебя, воевода Дмитро. И настоятель тебя там пристроит.

Ворота уже были открыты. Передав дружиннику поводья своего рослого коня, тысяцкий пошел вперед.

Тысяцкий Дмитро поднялся по запорошенным снегом ступеням в просторные сени, где сидели несколько дружинников. Увидев своего воеводу, они вскочили и выпрямились.

Разглаживая длинные свесившиеся усы, гордый, суровый, вошел тысяцкий в гридницу. Знакомый покой — просторный, с дубовыми скамьями вдоль стен. Против двери, у задней стены, длинный стол на точеных ножках, покрытый бархатной скатертью. Как будто все по-прежнему...

Повернувшись к переднему углу, Дмитро перекрестился на образа в серебряных окладах. Три золоченые лампадки на цепочках спускались с потолка, и в них тихо мерцали неугасимые огоньки, зажженные еще ранней весной в «страстную седмицу». Несколько поставцов раньше были уставлены драгоценными блюдами, кубками, чарками, ковшами серебряными и золотыми, — многие из них передавались из рода в род, захваченные в походах. Сейчас большая часть драгоценностей была убрана.

По стенам всегда было развешано охотничье и боевое оружие. И про него много можно было рассказать: когда и в каких боях и у каких степных удальцов оно было отбито. Почему же теперь и его нет?

В гридницу стали входить призванные князем бояре и именитые люди киевские, — степенные, в дорогих кафтанах, по зимнему времени подбитых мехом. Крестясь на образа, поглаживая бороды, они кланялись тысяц-

кому, садились на скамьи вдоль стен и тихо переговаривались.

Из внутренних покоев вышел молодой слуга в синем кафтане, обшитом на рукавах и воротнике красной каймой. Он подошел к тысяцкому и прошептал:

— Князь сейчас в большой заботе. Повелел сказать, что выйти не может!

— Мне с тобой некогда толковать. Беги сейчас же обратно к князю и скажи, что тысяцкий Дмитро с передовых валов на Диком Поле прискакал в спешке и должен с князем неотложно совет держать!

— Никак не удастся! Князь нынче в сердцах: крепко приказал его больше не тревожить.

— А ты меня не растревожь! — прохрипел Дмитро. — Беги сейчас же и поясни князю, что я жду его и не уйду отсюда! — И он с такой силой толкнул слугу, что тот ударился в дверь, за которой тотчас же скрылся.

Бояре удивленно поднялись с мест и направились к тысяцкому. Тот стоял у окна, заложив руки за спину.

— На что ты прогневался, воевода Дмитро? Поведай нам!

— Повремените немного. Не уходите! Все сейчас узнаете. Только князя Данилу дождемся.

— Скажи хоть слово одно!..

— Одно слово? — Тысяцкий окинул бояр суровым взглядом: — Война! Она летит на нас, как буря!

Бояре, пораженные, переглянулись.

— Упаси боже! Что же это за напасть обрушилась на нас!

Двери распахнулись, и в гридницу быстро вошел князь Данила Романович, статный, красивый.

Дмитро стоял, выпрямившись, сжимая рукоять меча, и смотрел на князя. А тот тихо спросил:

— Зачем прискакал? Народ полошить? Можно ли так? Если и правду грозит беда, надо ратным воеводам тайно собраться и обсудить, как поднять народ... Как собрать отряды из охочих людей и дать им смелых начальников... Почему молчишь? Теперь сбегутся горожане на вече, все будут шуметь без толку, а что мы можем сказать им в ответ?

— Да, — медленно и угрюмо вымолвил Дмитро, — надо созвать вече... И кто знает: не будет ли это вече последним вечем Киева?

— Почему последним? — сказал, отступив, пораженный князь.— Зачем пугать народ? Киев готовится к обороне и устоит против всякого врага, пока подоспеет подмога. А я уже позаботился об этом, послал гонцов с грамотами к доброжелателям нашим: королю ляшскому и королю Беле угорскому, чтобы немедля присылали нам ратную помощь.

— Так они тебе и пришлют! — воскликнули собравшиеся. — Только на себя надо полагаться!

Дверь открылась. На пороге стояла княгиня, жена Данилы, смуглая и черноглазая. Ласково прозвучал ее певучий голос:

— Что здесь за тревога? О чем спор? Зачем ты гневаешься, княже? Успокой сердце свое!

К княгине подошел тысяцкий Дмитро и низко склонился:

— Да хранит тебя господь, княгинюшка пресветлая! Прости, что растревожил. Недобрые вести привез я из Дикого Поля и должен растолковать князю Даниле Романовичу, что откладывать оборону нельзя ни на день, ни на час. Надо точить мечи, крепить стены, готовить народ к обороне.

— Уходи обратно в свой терем, Анна! — сказал князь сурово. — Не место тебе здесь.

— Позволь мне остаться тут с тобою. Я тоже хочу все знать. Если грозит беда и враг наступает, хочет захватить наш город, то жены русские станут на защиту рядом со своими мужьями и вместе будут биться за родной дом. Русская земля — моя святая родина! Успокойся, князь Данила! — Она подошла к мужу и прижалась к его плечу.

Князь Данила, наконец, уже более спокойно обратился к тысяцкому:

— Скажи мне, воевода Дмитро: верно ли, что столь неминуемо беда грозит Киеву?

— На Киев несется волчьим скоком, не делая передышки, сам татарский царь Батыга, со всем своим несметным войском.

Княгиня схватилась за голову, потом, свладев собой, выпрямилась и сказала:

— Княже Данило! Отчего же ты не сядешь за стол? Отчего не посадишь рядом воеводу Дмитро и не пригласишь собравшихся присесть поближе, чтобы спокой-

но выслушать, что нам расскажет преславный воевода?

Князь сел за стол в красном углу. С одной стороны поместилась княгиня Анна, с другой — тысяцкий. Бояре и остальные именитые киевляне уселись на скамьях вдоль гридницы. Полные тревоги, они тихо переговаривались:

— А можно ли ждать добра и какой-либо подмоги от королей ляшского и угорского? Да и станут ли они плечом к плечу вместе с нами биться против татар?

— Вот за этим-то я и спешу к королю Беле,— пояснил князь. — Ведь если мы будем бороться с татарами вразбивку, они по очереди смогут легче одолеть нас, чем если бы мы стали против них одной стеной.

— А что же делать нам в Киеве? — спросил, нахмурясь, один из бояр. — Пока придут сюда угры и ляхи, нам придется выдержать первый, а может быть, и последний татарский натиск.

— Продержаться до моего возвращения с подмогой и слушаться во всем воеводу Дмитро, которого я оставляю здесь вместо себя. Стены у Киева крепкие, врагу их не одолеть. Держитесь изо всех сил, отбивайте ворогов. Разбойники будут напирать на все ворота, а вы бросайте со стен на них камни, лейте горячую смолу, не давайте прорваться в город. Ведь Киев опоясан надежными стенами Они оберегут его, и татары нас не одолеют. А мы у них милости не попросим: постоят и уйдут.

— Это мы и сами знаем и сделаем, как надо. Только ведь татары напористые и будут лезть, пока не одолеют стен. У хана Батыги, говорят, воинов без числа, и он их жалеть не станет.

— А если татары проломают где-нибудь стену и хлынут туда, в пролом?

Князь Данила сказал:

— Я оставляю за главного начальника воеводу Дмитро. Он меня заменит. Как воин многоопытный, он сумеет наладить защиту Киева. А сейчас я тороплюсь скорее к королю угорскому Беле, чтобы заставить его спешно выступить на помощь Киеву со всеми своими войсками и половецкими конниками хана Котяна.

Он обернулся к боярам:

— Теперь я должен покинуть вас. Кони ждут. Ступай собираться, Анна.

Княгиня, закрыв лицо руками, прошептала:

— Боже, какое страшное время настало!

Князь Данила обнял безмолвно стоявшего воеводу Дмитро, поцеловал его, но тот оставался неподвижным и сумрачным.

— Вернется ли? — говорили бояре. — Дорога дальняя.

Со двора послышались крики:

— По коням! В дорогу! Вперед!

Все бывшие в гриднице замолкли и, точно обессиленные, снова опустились на скамьи.

Дмитро стоял у окна и видел, как Даниил и его дружинники садились на коней и один за другим выезжали из ворот.

Он повернулся к сидевшим и тихо сказал:

— Не оставим мы Киева без защиты, хотя бы нам пришлось на стенах города сложить свои головы.

— Верно! Верно! — раздались голоса. — Мы Киева родного не покинем, будем биться до смерти за его святыни.

— Здесь под нами священная дедовская земля, политая русской кровью. Кто только не приходил к Киеву, не бился под его стенами! Наши отцы и деды кровь свою проливали, чтобы отстоять мать городов русских, могилы наших прадедов.

После длительного совещания собравшиеся разошлись, дав клятву не отступать перед врагом и, если будет нужно, отдать свою жизнь для защиты родной земли.

Глава третья

ПОСЛЕДНЕЕ ВЕЧЕ КИЕВА

...Да ведают потомки православных
Земли родной минувшую судьбу.

А. С. Пушкин

Ранним утром в конце ноября этого страшного года стал тревожно звонить вечевой колокол. Он звонил часто, упорно, настойчиво, своим зовом поднимая сонных киевлян, призывая идти не мешкая «постоять вече» на площади перед собором св. Софьи, послушать и решить неотложные дела. Все почувствовали в этом частом звоне, что вече будет необычное. Все узнавали чистый беспокойный звон вечевого колокола, слегка надтреснутого, и сразу отличали его от равномерного звона других благозвучных колоколов киевских церквей.

Вадим в это утро, как всегда, уже побывал в своей иконописной мастерской. Накануне наставник строго ему наказывал:

— Списывать образ надо точно, без самочинных вольностей, от которых расшатывается древлее благочестие!

Поэтому Вадим старательно всматривался в икону сурового праведника греческого письма и старательно воспроизводил каждую морщинку, «нарубал» каждую прядь волос, каждую складку одежды великомученика Власия.

«Да я и сам уже становлюсь великомучеником,— думал Вадим.— Жжет меня тоска неугасимая, гнетет пуще вериг железных...»

В мастерскую вбежал его товарищ, соученик по иконописной работе, юный послушник Касьян, и стал торопить:

— Бросай работу! Вечевой колокол, говорят, общий сход выбивает. Зовет на большое вече всего Киева. Бежим туда вместе! Я тебя проведу прямо к тому месту, где всего виднее.

Испросив благословение у своего наставника, оба юноши направились по узкой заснеженной улице. По обеим сторонам тянулись плетни и дощатые заборы, за которыми виднелись голые верхушки деревьев и камышовые крыши побеленных хаток. Над крышами летали сизые и пестрые голуби, из глиняных труб вились дымки,— хозяйки, верно, пекли хлеб. Все казалось таким мирным и благодатным. В одну открытую калитку они увидели, как две лохматые собаки с лаем бросались на распушившуюся кошку, вскочившую на плетень. Все — как всегда!

Однако, повернув на следующую улицу, юноши стали замечать, что тревога уже начала охватывать киевлян: громко хлопали калитки, выходили, запахивая шубы, хозяева, выползали старые деды, подходили друг к другу и, приложив ладонь к уху, расспрашивали: что случилось? Все ускоренными шагами направлялись к Софийской площади в верхний город.

— Эй, Вадим, иди к нам! Земляков встретишь!

Это были кузнец Григорий и Андрей, днепровский плотовщик, спокойный, уверенный, как всегда. Через плечо висела кожаная котомка, на поясе за спиной засунут топор с длинной рукоятью, какой носят лесорубы.

— Татар видел?

— Каких татар? Неужели пленных пригнали?— спросил Вадим.

— Вишь чего сказал! Сперва сумей их попленить! Иди за мной, сейчас покажу.

Андрей повел своих молодых друзей через переулок на холм, заросший старыми липами, где обычно летом собиралась молодежь и водила хороводы. Теперь здесь было пусто и все засыпано снегом. С этого холма открывался вид на далекие просторы заднепровских степей.

— Гляди туда, к восходу. Видишь много черных дымков?

— Это камыши горят?

— Нет! Это татары греются у костров.

Вдали на заснеженной беспредельной равнине, сверкающей в лучах солнца, виднелось много черных дымков, относимых в сторону порывами ветра. Бесчисленные черные точки, рассыпавшиеся по степи, медленно, но неуклонно направлялись к Киеву.

— А вот эти чернушки, как маковые зерна, разбросанные вдали? Что это? — спросил Касьян.

— Вот это и есть татары! Вчера татарские разъезды уже подходили почти к самому Киеву.

Вадим удивленно смотрел на Андрея. Никакой тревоги не видно было на его лице. Он оставался таким же спокойным, каким бывал в бурю и непогоду, когда сидел на переднем плоту и холодными серыми глазами следил за днепровскими бушевавшими волнами.

Видно, уже мне заказана дорога домой, к моему Андрюшке!— тяжело вздохнув, сказал плотовщик.— А доведется ли увидеть его еще раз — один бог знает! Идем на вече. Послушаем, что там скажут.

Андрей и оба юноши быстро прибыли на Софийскую площадь.

На площади находился прославленный храм св. Софии, премудрости божией, построенный князем Ярославом Мудрым двести лет назад. Некогда храм был богато украшен. Он славился искусно сделанной византийской живописью, украшавшей все стены храма. На Софийской площади обычно происходили всенародные вечевые собрания. Но, кроме того, здесь почти всегда, круглый год происходил торг. Русские и иноземные купцы доставляли сюда свои лучшие товары. Булгарские купцы (с верхней Волги) привозили дорогие меха, немцы — янтарные укра-

шения, разноцветные сукна. Мадьяры приводили своих дорогих отборных коней, а полудикие половцы продавали скот и кожи. Купцы из Крыма привозили соль, дешевые бумажные ткани, вина и душистые травы.

На площади оказались знакомые.

— Эй, друже Андрей, иди к нам: своих увидишь, знакомых найдешь!— кричала кучка людей, примостившихся на краю площади на высокой груде сложенных бревен. Оттуда можно было удобно смотреть, как будет проходить это вече киевлян, призванное решить судьбу стольного города, решить и свою собственную участь.

Уже неделю назад киевляне видели примчавшихся обожженных, вымазанных в копоти беглецов из Чернигова и Переяславля-Русского. Они с проклятиями и слезами рассказывали, как к ним нахлынули татары в волчьих треухах и долгополых шубах, окружили города огромными толпами, как звери набрасывались на стены и непрерывными лавинами взбирались по приставным лестницам, врывались в проломы и затем рубили всех встречных, и больших и малых, рубили без жалости, без надобы, и стариков и матерей с грудными детьми.

Киевляне, встревоженные известиями, сперва не хотели верить черным слухам:

— Господь бог покарает злодеев! Есть правда на земле! Были у нас Илья Муромец, Добрыня Никитич, Святогор-богатырь! И теперь на защиту родной земли тоже явятся у нас новые богатыри, отобьют и разгонят нечестивых татар-сыроядцев.

Софийская площадь все более заполнялась народом. Люди становились широким полукругом, оставляя свободными середину площади и каменную паперть Софийского собора. На ней должны были выступать именитые бояре, тысячники и воеводы.

Все посматривали на высокие двери собора, за которыми шла обедня: оттуда должны были выйти на паперть все знатнейшие люди во главе с князем.

Наконец послышалось громкое пение, и в открывшиеся двери стали выходить певчие в длинных до земли стихарях, обшитых золотыми позументами. За ними шли два громогласных дьякона, размахивая серебряными кадилами, иереи в парчовых ризах и, наконец, поддерживаемый двумя отроками митрополит в золотой митре, опираясь на высокий посох. Все духовенство расположи-

лось по правую сторону от соборных дверей, а по левую встали именитые бояре и ратные люди.

В народе зашептали:

— А где же князь?

Обычно князь шел сразу за духовенством, окруженный боярами и дружинниками, блистающими посеребренным оружием. Но князя не было видно.

Певчие снова запели торжественную молитву, но она показалась скорбной и хватающей за сердце. Когда пение затихло, два бирюча по обеим сторонам паперти проревели в трубы:

— Стой тихо, народ честной! Сейчас будет слово держать наш славный киевский воевода тысяцкий Дмитро.

Толпа быстро затихала. Вперед выступил всем известный и почитаемый воевода, высокий, сильный, с длинными седыми свисающими половецкими усами. Громко и уверенно он начал:

— День сегодня тяжкий, готовьтесь, други! Предстоит нам стать грудью против очень сильного ворога...

Высокий благообразный старик из переднего ряда крикнул встревоженным голосом:

— А где же князь Данила? Как же решать без князя? Пошлите за ним!

— Куда делся князь?— раздались голоса.

Тысяцкий Дмитро, не обращая внимания на выкрики, продолжал спокойно говорить:

— Князь Данило Романович уехал из Киева. Уезжая, мне сказал: «Главный хан татарский Батыга враг сильный и злобный. Против него нам одним не справиться, нужна сильная подмога. Я немедля поеду к своему другу королю угорскому Беле и расскажу, что татарские полчища грозят не только нам, но и всему христианскому миру. Я буду просить короля угорского поспешить к нам на подмогу со всем своим войском». И князь Данила Романович, сказав это, спешно уехал, а мне повелел держаться изо всех сил и отбиваться, пока не придут на помощь угорские и ляшские рати. Но, кроме князя, у Киева есть еще более высокий хозяин — вече киевское. И я, по старому дедовскому обычаю, спрашиваю вашей воли: согласно ли вече поставить меня во главе всех ратных сил Киева, главным воеводой, и доверяете ли мне созывать всех способных к бою людей, собирать их в дружи-

ны? Если вече мне это прикажет, я возьму в свои руки оборону нашего города. С божьей помощью мы постараемся отбросить татар, вспоминая, как отцы и деды наши отбивали не раз и печенегов, и черных клобуков, и торков, и половцев и как их всех деды наши колотили и отгоняли назад в Дикое Поле.

Все вече на мгновение, точно в раздумье, затихло, а потом раздались дружные крики:

— Согласны! Согласны! Будь нашим воеводой и защитником, Дмитро. Мы тебя знаем! Верим тебе! Ты назад не потягнешься! А мы тебе поможем!..

Вдруг, выйдя из толпы, к воеводе направился человек, одетый не совсем обычно, и с низким поклоном что-то тихо прошептал. Дмитро кивнул головой и сказал:

— Пускай говорит.— И воевода передал бирючам, что им нужно объявить.

Бирючи прокричали:

— Люди киевские! Сейчас вам будет речь держать иноземный бискуп латынский Иоаким. Слушайте чутким ухом и ответ ему дайте едины усты!

Послышался нежный звон колокольчика, и на паперть медленно стали подниматься один за другим двенадцать католических монахов. Все вече с любопытством смотрело на них. Они были диковинно, по-иноземному, одеты в белые длинные рясы и подпоясаны простыми пеньковыми веревками. Белые шлыки откинуты на спину. Головы на макушке выбриты. Поверх белых ряс еще накинуты черные мантии.

Все двенадцать иноземцев выстроились в ряд. Впереди них торжественно выступил и остановился, подняв глаза к небу, их настоятель с большим серебряным крестом в руках. По сторонам его стали два мальчика в белых до колен стихарях. Один позванивал в серебряный колокольчик.

Настоятель заговорил слегка нараспев, сладким медовым голосом. По выговору в нем узнавался иноземец.

— Уже прошло двадцать лет, как я и другие отцы доминиканцы монастыря пресвятой девы Марии живем в преславном городе Киеве. Многие горожане знают нас и убедились на деле, что мы полны самой горячей дружбы к русским людям, жителям дорогого нам Киева. Мы всегда помогали неимущим, лечили больных, пригревали страждущих, кормили голодных. И теперь ваша рус-

ская беда — это наше горе, всех христиан. Поэтому, когда мы услышали, что Киеву грозит страшный враг — король татарских язычников хан Батыга — и что он надвигается сюда с могучим войском, мы обсудили между собой и пришли вам сказать то, что надумали.

В толпе пронесся шорох и раздалось несколько голосов:

— Непонятное что-то он говорит. К чему это он ведет?

— Его святейшество папа римский поручил нам, доминиканцам, вразумлять язычников словом божиим, дивным светом, принесенным людям господом нашим Иисусом и его учениками, святыми апостолами. Для такой проповеди мы все, наша скромная братия, научились говорить по-кумански. И теперь, в грозный день, наступивший для всего христианского мира, мы хотим послужить приютившему нас великому городу Киеву нашими знаниями и нашим усердием. Мы так рассудили: ведь слово божие всех учит любить друг друга. И мы думаем: зачем воевать с татарами, проливать невинную кровь человеческую? Не лучше ли с татарами договориться, предложить им кончить весь спор мирно, полюбовно, во взаимной дружбе? И мы, братья доминиканцы, предлагаем себя как послов к татарскому владыке Батыге. Мы с ним поговорим, расспросим, что он хочет от Киева и чем его можно умиротворить.

Точно буря пронеслась по толпе:

— Не слушайте умильного слуги татарского! Уходи отсюда, латынский предатель!

— Не бывать этому!— громко воскликнул тысяцкий Дмитро и повернулся к латынскому монаху-настоятелю.— О какой татарской дружбе ты говоришь, хитроумный отец? Разве татары не обещали нам много раз и мир и дружбу, а мы эту дружбу увидели на развалинах Рязани, и сожженном Суздале, и на стенах разгромленного Владимира. Если бы мы знали, о чем ты надумал с нами говорить, то мы бы тебя сюда на вече и близко не подпустили. Уходи, отец! Мы с недругами говорим по-своему, по-старинному, с мечом в руке!

— Уходи, латынец! Уходи от нас!— кричали голоса из толпы.

Шум и крики увеличивались.

— Вон его! Откуда он взялся, татарский угодник?— гудело вече.

Воевода Дмитро немного подождал, пока католические монахи сошли с паперти, все ускоряя шаги. Затем Дмитро снова обратился к затихшему вечу:

— Люди киевские! Как нам подобает встретить идущих на нас врагов: с поднятым мечом или преклонив покорно голову?

Высокий чернобородый детина, с виду кузнец, со следами сажи на лице, стоявший на груде бревен, мощным голосом крикнул на всю площадь:

— Дайте слово сказать! И отцы и деды наши перед половцами, черными клобуками и другими ворогами спины не сгибали, а мечами и топорами отгоняли их назад. Сможем ли мы покорно встретить сыроядцев-татар? Да они вытопчут конями наши посевы, порубят сады, сожгут наши хаты и уволокут в плен наших жен и детишек. У нас только один исход: смело бороться за нашу волю, родину и веру православную! Так встретим же недругов, как встречали наши отцы и деды. Не сдадим Киева! Будем биться до последнего, и жены и дети наши будут тоже биться рядом с нами. Не отдадим родной земли!

Все вече бурно шумело, со всех сторон слышались крики:

— Постоим за землю русскую! Берите мечи и топоры!

Воевода поднял руку. Бирючи прокричали:

— Стой тихо, вече киевское! Слушай!

— Люди киевские, запирайте свои дома и все выходите на стены. Пусть каждая улица соберет свою дружину и во главе ее станут уличные старосты.

Дмитро могучим голосом горячо закончил речь:

— Люди киевские! И наши внуки и правнуки будут вспоминать, как в Киеве их деды и прадеды не склонились перед жестоким врагом, а бились до последней капли крови. И потомки наши будут вспоминать нас с любовью и учиться, как нужно защищать родину, отдавая жизнь за нее.

Отовсюду слышались крики:

— Встанем за родную землю! Защитим наших жен и детей! Умрем, но не сдадим Киева!

С этого часа все киевляне без устали продолжали подготовку своего города к защите: и днем и ночью они укрепляли старые стены, поперек улиц делали завалы из бревен и камней. К стенам привезли большие котлы, чтобы кипятить воду и смолу.

Люди стекались также из окрестных селений под защиту киевских стен и увеличивали число добровольных бойцов. Вооружались кто чем мог. Оружейники и кузнецы заготовляли воинские доспехи, ковали щиты и мечи, рогатины, секиры, стрелы, а уличные старосты раздавали оружие всем горожанам.

Глава четвертая

У ШАТРА БАТУ-ХАНА

Первое время Бату-хан, поставив свой походный шатер на восточном, левом берегу Днепра, выжидал, пока крепкий лед не скует многоводную реку.

Одним утром Бату-хан сидел на меховом ковре перед своей юртой, завернувшись в тигровую шубу. По сторонам его неподвижно застыли главные багатуры. Они видели, как монгольские всадники, обернув копыта коней войлоком, приближались к противоположному берегу и там пускали стрелы в защитников города, толпившихся на стенах. Заметив приближение передового отряда татар, задвигались пешие воины, а русские всадники смело бросились навстречу врагам. На льду начались яростные схватки. Киевляне бились доблестно, поражая короткими копьями, сверкающими прямыми мечами или топорами с длинными рукоятками налетающих на них татарских всадников.

Бату-хан спросил своего опытнейшего в воинском деле советника Субэдай-багатура, как, по его мнению, нужно дальше повести осаду города.

— Вижу, что и в Кыюве русов не легко будет покорить!— ответил одноглазый, всегда мрачный старик.— Вспомни, что и Рязань и Ультемир[1] русы бешено защищали. Надо послать отряды в обход для нападения на город сразу со всех сторон. Но сперва мы должны сделать широкий пролом где-либо в городской стене.

— Не торопись! Скоро ты увидишь дрожащих послов здесь на коленях с мольбой о пощаде! Разве они не видят, сколько нас? Разве наше войско даже издали не должно внушить им смертельного ужаса?— сказал насмешливо всегда враждующий с Бату-ханом Гуюк-хан.— Не для

[1] Ультемир — Владимир.

чего бесполезно проливать священную монгольскую кровь. Надо выжидать и взять город измором.

— Ты никогда не был и не будешь полководцем!— ответил угрюмо, с презрением Бату-хан.— Субэдай-багатур, почему медлят наши стенобитные тараны?

— Они скоро должны прибыть,— сказал подошедший китайский строитель Ли Тун-по.— Но сейчас тараны пустить на лед нельзя, сперва для них нужно приготовить прочную переправу, иначе они своей тяжестью сломают лед и провалятся на дно реки.

Субэдай-багатур отдал распоряжение нукерам, и вскоре к берегу подошла толпа пленных кыпчаков, которых монголы подгоняли, подкалывая копьями. Пленные стали разбирать бревна, лежавшие на берегу, переносить на лед и устилать ими путь на другую сторону. Недавно еще нарядные, кыпчаки, теперь одетые в жалкие лохмотья, имели крайне измученный вид. Ноги их были обернуты обрывками шкур. Все они работали молча, злобно косясь на своих новых свирепых хозяев, зная, что за малейшее неповиновение им грозила немедленная смерть. Бревна укладывались на лед поперек реки, так что постепенно создавалась деревянная дорога к противоположному берегу.

Бату-хан, казалось, был совершенно равнодушен ко всему происходящему и больше заботился о своем пятнистом, как барс, жеребце. Он поднялся и, подойдя к привязанному на приколе возле юрты коню, стал кормить его кусками сухих лепешек, расплетать и снова тщательно заплетать многими косичками густую шелковистую гриву. Но в то же время Бату-хан зорко следил за всем, стараясь скрыть от окружающих свою тревогу.

Еще один отряд конных татар был послан на другую сторону. Сперва русские большой толпой вышли из ближайшего леса и смело схватились с татарами, которые то набрасывались на них, то опять быстро уносились прочь. Ясно было видно, как взлетали прямые русские и слегка изогнутые монгольские клинки, вспыхивали в лучах яркого утреннего солнца.

По всему городу, на каменных стенах, на деревянных и камышовых крышах, засыпанных снегом, чернели тысячи вооруженных киевлян, наблюдавших за началом битвы. О покорной сдаче города хан Гуюк больше не го-

ворил. Всем стало ясно, что предстояла отчаянная борьба.

Вскоре через реку по уложенным на льду бревнам поползли два камнемета и пробивной таран. Каждое сооружение тащили десятки быков. Сбоку шли, подгоняя животных, толпы пленных и в опасных местах подкладывали под колеса колья и доски.

Бату-хан пожелал увидеть пленных киевлян, захваченных на другом берегу. Нукеры помчались к месту схватки, набросили на бившихся русских воинов арканы и приволокли их по льду к шатру своего владыки.

Бату-хан с любопытством рассматривал лежащих перед ним русских. Под ударами плетей они с трудом приподнялись. Первым был рослый воин в овчинном полушубке. Он пошатывался и держался за плечо другого пленного. Дерзко и со злобой смотрел он на всех и отвечал неохотно на вопросы толмача.

— Откуда ты родом? Чем промышляешь?

— Из-под Смоленска. По Днепру плоты гоняю.

— Если ты смоленский, зачем дерешься здесь за Кыюв?

— Как же не биться? Город, поди, тоже наш, русский!

Толмач передал Бату-хану ответ пленного.

— Спроси у этого упрямца, был ли он в Новгороде? Знает ли он новгородского коназа Искендера?

— В Новгороде был и живал там подолгу, а князя Александра как не знать! Слава о нем далеко летит.

— Говори правду, или тебе отрубят голову: сколько войска здесь, в Кыюве?

— Сколько людей, столько и воинов. Теперь каждый взялся за топор или рогатину.

Ответ рассердил Бату-хана.

— Этот наглец упрям, но, может быть, он что-либо умеет делать? Передать его скованным Ли Тун-по. Такой без цепей убежит.

Следующим пленным оказалась молодая женщина. Она была тяжело ранена. Истекала кровью. Лежала на спине, не в силах подняться. Поставить на ноги ее так и не удалось. Глаза женщины, большие и широко раскрытые, смотрели в небо. Она прикусила нижнюю губу, стараясь сдержать стоны.

— Зачем притащили женщину?— гневно спросил Бату-хан.— Я приказал привести тех, кто бьется с нами.

— У них все женщины тоже дерутся рядом со своими братьями и мужьями,— объяснил толмач.

— Какой народ!— проворчал Бату-хан и добавил:— Чтобы у нее больше не было сыновей — мстителей нашим детям и внукам,— прикончить ее!

На поляне, на берегу Днепра, поблизости от большого шатра Бату-хана, стоял другой шатер его родича, тоже чингизида, хана Гуюка.

Гуюк сидел на верблюжьем вьюке, перевязанном кожаными ремнями, и смотрел на другую сторону Днепра, где раскинулся широким привольем многолюдный Киев, еще недавно казавшийся татарам легкой добычей и источником сказочного обогащения.

Уже несколько дней шло сражение за этот прославленный город, а победы еще не было видно. Первыми, обойдя лесистый холм и проломив ворота, туда ворвались «буйные» хана Нохая, после чего в той стороне заклубились дымки подожженных домов. Однако перед вторым поясом стен «буйные» были задержаны отчаянно бившимися киевлянами, и Бату-хану пришлось на помощь своему передовому отряду послать другой тумен.

Внимание Гуюка привлекла группа русских пленных, которых, подгоняя ударами плетей, вели монгольские тургауды. Хан сделал им знак приблизиться.

Усталые, хмурые лица. Изодранная одежда. Они стояли молча. Наклонившись к хану Гуюку, переводчик быстро зашептал, что-то высыпая перед ним на ковер.

— Вы мастера? Эти украшения сделаны вами?— спросил Гуюк.

— Скажи твоему хозяину — нет среди нас умельцев,— твердо ответил старший, полуседой человек с окладистой бородой.

— Не скрывайте ничего, говорите правду! Хан Гуюк дарует вам жизнь. Вас отправят на берега Итиля в Сарай, и там вы будете спокойно работать на хана Бату или пошлют еще дальше, в Кара-Корум, столицу великого кагана. Там тоже нужны искусники-мастера. Хан сумеет оценить ваше старание и работу и наградит щедро по заслугам.

— Не умельцы мы! Защитники Киева, и все!— крикнул молодой синеглазый парень.

— Не мастера? Все вы не мастера? Вас спрашивают в последний раз. Выходите, кто мастер! Прочим смерть сейчас, здесь!— гневно прошипел Гуюк.

Он выжидающе посмотрел на стоящих перед ним русских. Они молча истово крестились, но ни один не вышел из рядов.

— Убивай! Сегодня твоя сила! А уменье свое мы врагу не продадим!— твердо сказал один из пленных, на которого обвешанный оружием монгол уже накидывал аркан.

Глава пятая

КОНЕЦ ВАДИМА

Прямо с веча Вадим пошел в Печорский монастырь, чтобы проститься со своим наставником-изографом.

— Прости меня, отче, что я с тобой все спорил и мало о тебе заботился: даже дров на зиму не припас!— И он поклонился, коснувшись рукой земли.

— И ты меня прости, если я чем тебя обидел и не успел научить как следовало,— сказал старик и вытер рукавом рясы глаза.— А о дровах не тужи. Какие там дрова! Теперь бы лишь голова уцелела! Куда же ты отсюда пойдешь?

— Сперва домой зайду, а там вместе с моим хозяином-горшеней пойду на стены свое место искать.

— Неужели для нас последний час настал?— ужасался монах.— Неужели господь допустит, чтобы татары-сыроядцы ворвались сюда? Стоял же доныне Киев много сот лет — и кто только не приходил, кто не нападал: и печенеги, и берендеи, и торки, и половцы! А всех их отбивали наши деды и прадеды. Даст бог и сейчас отобьем!

Старик благословил Вадима, и пожелав удачи в ратном деле, отпустил.

Хата, крытая камышом, где жили Вадим с Кондратом, была наполовину врыта в землю. Внутри имелись две комнаты: одна просторная, в два оконца, другая поменьше, с одним. Круглая печь занимала большой угол комнаты.

В комнате побольше вдоль стен на столиках в плоских ящиках помещались в образцовом порядке затейливые

изделия. Они показывали, что Вадим становился искусным мастером, перенимая у Кондрата заброшенное последним ремесло, трудное и хитроумное. На одном из столов лежали разнообразные сланцевые формочки для отливки крестиков, подвесок, колец и других металлических украшений. Тут же находилось множество маленьких глиняных горшочков с красками.

Вадим застал Кондрата в разгаре работы. С большим волнением выслушал тот рассказ Вадима обо всем, что было на вече.

— Как же так? Жили мы, беды не знали, и вдруг все смешалось! Выходит — бросай работу, раз всех зовут: «Ступайте на стены!» Ну, что же, прятаться не станем! Пойдем и мы со всеми, а дома оставим хозяйничать старого кота Любомудра.

Мастер затушил огонь в печи. Прикрыл тряпицами формочки. Вышел поговорить с соседями. Вадим долго сидел за столом, и мысль о работе уже не шла ему в голову.

Ночью оба долго не могли заснуть, все ворочались, Кондрат кряхтел и тяжело вздыхал.

На утро следующего дня мастер одел чистую рубаху, взял сумку с краюхой хлеба, засунул за пояс топор, второй дал Вадиму, и они вышли. Кондрат повесил замок на входную дверь, за которой слышалось царапанье и жалобное мяуканье кота.

У калитки соседнего домика стояли Смиренка и Софьица.

— Пойдемте и вы с нами! Приказ для всех один. Захватите только кувшин с водой и тряпья чистого, чтобы раны перевязывать.

— Мы уж и сами так порешили. Вот только бабушку дождемся и придем.

Татары со всех сторон уже обложили город. Вся жизнь Киева перешла на улицы. Наверху, на стенах, собралось множество людей. Все жадно следили за тем, что происходило внизу. Жители Подола перешли в верхний город.

Как только Вадим с Кондратом поднялись на стену, несколько длинных татарских стрел воткнулись в снег рядом с ними. Сзади послышались крики:

— Прячьтесь! Прячьтесь!

А кто-то уже стонал:

— Окаянная, в плечо впилась!

Вадим жадно продолжал смотреть вдаль. Он находился на внутренней стене, окружавшей холмистую часть города. Всюду чернели люди, их было много сотен мужчин, женщин, подростков. А ниже расстилался застывший Днепр, засыпанный снегом.

— Смотри туда, за реку!— шептал Кондрат.— Ведь это татары, их целая туча!

Действительно, на противоположный берег страшно было взглянуть: там скоплялись татары в большой силе. Дымились костры без счета, доносился рев верблюдов, ржание коней и глухой шум от передвижения множества скрипучих повозок страшной орды, вперемежку с гиканьем, свистом и гортанными возгласами скакавших во всех направлениях всадников.

Их было много, во много раз больше, чем защитников, и далекие черные точки на горизонте говорили о том, что монгольские войска все прибывают и что конца этому пока не видать.

Вадим забежал домой. Голодный, исхудавший пес радостно бросился ему навстречу.

— Кормить-то тебя теперь некому!— сказал Вадим, гладя его лохматую голову.

Через забор он увидел соседок. Девушки наперебой стали расспрашивать его о том, что делается на стенах. Напуганные всеми разговорами о татарах, шумом, суетой и волнением, царившим в городе, сами они ни за что не хотели уходить далеко от дома, да и бабушка все не возвращалась.

— Вдруг как раз без нас и придет! Заругается, что дом один оставили.

Вадим ничего не сказал соседкам, хотя еще накануне узнал, что бабушка их погибла: старушка понесла свои последние бублики не на торжище, как обычно, а на стену, где раздала их защитникам. Там меткая татарская стрела поразила ее.

Вадим пошел к себе в землянку. Пока здесь все еще было привычно и тихо. Вот стол, за которым он обычно работал, готовые отлитые крестики, подвески, браслеты. Кучка прозрачного янтаря, из которого он делал украшения. В маленьких горшочках «вапницах» яркие краски всех цветов. Сколько радости они ему давали когда-то...

Отломив краюху зачерствелого хлеба, он половину от-

дал собаке, а вторую, завернув в чистую тряпицу, спрятал за пазуху. Положил остатки хлеба в большую глиняную корчагу, стоявшую на полу. Позвал кота, но тот не откликнулся: видно, выскочил во двор. С грустью окинув глазами в последний раз свое жилище, Вадим вышел из дому и запер двери снаружи на замок. Махнув стоявшим у калитки девушкам на прощание рукой, он быстро зашагал в ту сторону, откуда доносились шум и крики многих голосов. Вдруг какой-то непривычный звук поразил Вадима: глухие тяжелые удары с равномерными промежутками, следовавшие один за другим. Это монгольские тараны начали свою разрушительную работу.

Киевляне, расставленные по указанию воеводы Дмитро на всех стенах, окружающих город, не могли предвидеть, куда враг направит свой главный удар.

Чей-то истошный голос закричал:

— Татары прорвались в город!

Действительно, после огромных усилий монголам с помощью мощных таранов удалось проломить Лядские ворота, и вражеская конница неудержимой лавиной ринулась по главному пути, устилая дорогу телами убитых и своих и русских воинов. Отчаянный бой разгорался по всем улицам. Вадим кинулся в самую гущу свалки, где увидел окруженного врагами Кондрата, который отбивался топором от наседавших на него монголов. Тихий Вадим, до этого дня не представлявший себе, что он может кого-то убить, бросившись на защиту друга, сильным ударом в голову поразил вражеского коня, который рухнул вместе с всадником. Столкнувшись с неожиданным препятствием, лошадь второго монгола тоже свалилась, и Кондрату удалось вырваться из вражеского кольца. Он что-то крикнул Вадиму, но в шуме тот ничего не мог разобрать.

Неожиданно из ближайшего переулка прямо на Вадима с гиканьем и воем вылетел новый монгольский отряд. Вадим увидел перед собой мохнатые конские морды, сверкающие взмахи мечей, смуглые узкоглазые лица. Он успел отскочить в сторону и теперь стоял, прислонившись спиной к дереву. Он видел, как один из всадников в блистающем на солнце шлеме вдруг скатился с седла, пораженный чьим-то копьем. Зацепившись ногой за стремя, он волочился по снегу, увлекаемый длинногривым конем. Вадим подскочил, поднял меч и вдруг почувствовал,

что кто-то сзади обхватывает его сильными руками. Прерывистое горячее дыхание обожгло шею. Извернувшись, Вадим выскользнул из железных объятий и ударил монгола рукояткой меча по голове. Падая, монгол увлек за собой Вадима, но тот вскочил, готовый снова ринуться на противника. В это мгновенье длинная вражеская стрела пронзила ему грудь. Вадим упал. Несколько всадников пронеслось над ним и умчалось дальше. Ему казалось, что наступила полная тишина. Сознание постепенно затуманивалось. Он видел только небо над собой, синее, ослепляюще яркое. Небо? Нет! Это близко-близко склонились над ним такие знакомые, такие любимые синие глаза...

Кругом уже полыхал пожар.

Когда монголы добрались до улицы, где жил Вадим, его соседки Софьица и Смиренка, перепуганные насмерть, закрылись в доме.

Вдруг кто-то неистово стал колотить в дверь, за которой слышались крики и шум борьбы.

— Ой, спрятаться бы, да куда?

— Залезем в печку, Смиренка, она ведь сегодня не топлена. Спрячемся в ней. Там и не догадаются нас искать.

Девушки залезли в печь и, тесно прижавшись друг к другу, лежали там, выжидая, что будет.

Они не обращали внимания на возрастающий снаружи шум и запах гари, который становился все сильнее; только бы татарские изверги их не нашли!

В это время несколько монгольских всадников, мчавшихся по улице, заметили, что у одной землянки на двери не повешено замка. Двое соскочили с коней, привязали их к плетню и бросились к двери. Она оказалась запертой изнутри. Дружными усилиями им удалось, наконец, сорвать ее с петель.

Войдя внутрь, монголы с удивлением обнаружили, что землянка была пуста. У стены между окнами стоял большой сундук. Сбив с него замок, монголы торопливо начали выбрасывать на пол содержимое. Там были женские наряды, шубы, холстина и разные другие вещи.

Жадность охватила обоих дикарей. Они принялись вырывать друг у друга из рук понравившиеся им вещи

и в пылу дележа и ссоры не заметили, как от упавшей на крышу груды горящих щепок и досок солома на крыше сразу запылала со всех сторон.

Наконец когда, связав похищенное в узлы, монголы уже направились к двери, горящая крыша рухнула, похоронив под своими обломками и степных хищников и спрятавшихся в печке девушек.

В ушах как будто слышится церковный хор, жалобно стонут нежные женские голоса... Нет! Это вьюга воет. Кондрат с трудом, медленно приходит в себя. В висках стучит. Или это его тормошит и толкает кто-то?

— Дядя Кондрат! Дядя Кондрат! Слышишь меня? Очнись, вставай! О господи! Что мне с тобой делать? Если брошу и уйду, то татары тебя прирежут.

Кондрат очнулся. Над ним склонилось молодое лицо.

— Ты, что же, не узнаешь меня? Ведь я племянница твоя, Любаша. Я тебе коня привела.

У Кондрата руки и голова болят так, что сил нет терпеть. Но нужно встать и пробираться туда, куда ушли уцелевшие киевляне. Он с трудом узнает свою племянницу в мужском кафтане и меховой шапке.

— Очнулся? Вот хорошо! Значит, долго жить будешь. Я тебе хорошего коня привела. Татары мимо нас густой толпой промчались, видно, туда на площадь, против Десятинной. А один конь ихний всадника где-то потерял и отбился. Вижу, зацепился поводом за дерево. Тут я и схватила его.

— А тебе самой конь пригодится. Садись на него да уезжай скорей, пока цела. Видишь, что здесь творится!

— Бери, дядя Кондрат, бери! Я себе другого добуду. Сейчас много коней без хозяев разбежалось по Киеву. А из города я до конца не уйду. Как все, так и я, буду биться вот чем,— и она показала Кондрату небольшой топор, засунутый за пояс.

Девушка помогла Кондрату подняться в седло. Пора было покидать это место. Кругом пылали дома, и языки пламени взлетали к небу, к багровым, точно раскаленным, облакам. Видно было, как горящие головни и доски, кувыркаясь в воздухе, уносились вверх вместе с клубами дыма.

Конь, которого привела Любаша, был какой-то непривычно лохматый, и седло на нем было тоже чудное, не русское. Конь храпел, прижимая уши, и норовил укусить.

— Скорей! Скорей!— торопила девушка.— Ведь сыроядцы могут опять сюда нагрянуть. Прощай, дядя Кондрат!— И Любаша скрылась в мутных сумерках.

Кондрат быстро поскакал переулком, каждое мгновение ожидая новой встречи с татарами.

. . . .

Поднимайтесь вы, люди русские!
Ночью спите — не спите во Киеве,
А точите мечи вы булатные,
Да острите вы стрелы каленые!
Приближаются злые татарове,
А хотят они, недруги лютые,
Чтоб из косточек терем выстроить,
Желтым ребрышком терем выстелить,
А из русских рук, тела белого
Хочет враг, чтоб скамью ему сделали...[1]

Песня разливалась, жалобная, как стон. Это пела Любаша, племянница Кондрата, работая на городской стене, где она и другие женщины Киева плели из лозы большие корзины, которые тут же наполнялись песком и глиной: ими заделывались проломы в стене.

В эти тяжелые дни в Киеве не было ни одного человека, для которого не нашлось бы дела, и дела самого неотложного, нужного. Дети подносили камни, ветки лозняка, старики варили смолу и кипятили воду, а кто мог держать в руках меч, копье или лук и колчан с калеными стрелами, а то и просто топор,— всякому было указано место, и с этого места его могла заставить сойти только смерть.

Но день за днем ряды мужественных защитников заметно редели, а заменить их становилось уже некому. Татары выпускали в осажденных тучи стрел, а когда, наконец, ворвались в город, их было так много, что своей конницей они сметали все, что находилось на их пути. Не храбростью, не силой и доблестью отдельных багатуров одолевали враги, а несметным своим количеством, когда на каждого русского, да часто и не воина вовсе, а простого ремесленника или горожанина, раньше в

---

[1] Стихотворная обработка Н. Белинович.

руках не державшего меч, приходилось по три-четыре хорошо вооруженных, опытных в боях татарских воина.

Однако никто не просил пощады, просили только у бога сил, чтобы выстоять до конца, чтобы умереть, не опозорив слабостью своего доброго имени. Знали, что задавит их враг,— но не сдавались.

Уже не одна улица была завалена телами убитых, перемешавшихся в последней схватке, уж все тесней сжималось вражеское кольцо и податься было некуда, а люди еще радовались, видя, сколько сил теряет противник, замечая, что из посылаемых на поддержку ворвавшихся монголам новых отрядов ни один не возвращается обратно. Дорого отдавали осажденные свою жизнь, держась из последних сил, разя врага чем и как могли.

Глава шестая

ПОСЛЕДНИЙ ЧАС КИЕВА

Во время самого отчаянного боя Бату-хан долго находился на колокольне одной из церквей, откуда наблюдал за всем происходящим и давал гонцам приказания.

Постепенно, с большим трудом монголам удалось прорваться сквозь завалы из камней и бревен до площади, где перед древним храмом происходила последняя отчаянная битва.

Когда Бату-хан прискакал на эту площадь, то увидел повсюду груды тел убитых и раненых воинов и тяжело храпящих бившихся коней. Бой кончался у высоких дверей Десятинной церкви. Даже на ее кровле находилось множество людей, метавших в татар стрелы и камни.

Бату-хану указали на пожилого статного воина в блестящих латах. Из-под рассеченного шлема по лицу стекала кровь. Он стоял, прислонившись к стене храма, и, широко раскрыв рот, тяжело, с трудом дышал.

— Этот высокий багатур — главный начальник здешних войск, Дмитро,— объяснил толмач Бату-хану.—Если прикажешь, твои нукеры прикончат его.

— Мертвый он мне не нужен. Взять его живым и невредимым привести в мой шатер. Я хочу говорить с ним.

Ловко брошенный аркан обвился вокруг раненого воеводы и свалил его на землю. Татары, связав Дмитро,

положили его поперек коня и, прикрутив веревками, увезли.

Красивый каменный храм с позолоченными куполами был переполнен женами и детьми самых знатных людей города, нашедших там свое последнее убежище. Туда же были снесены их ценные вещи, меха и одежды, которые так надеялись захватить хищные и жадные монгольские воины, каждый из них лелеял мечту о сказочном обогащении при взятии Киева.

В полутемном храме было душно, кругом слышались причитания и стоны, некоторые громко молились, надеясь на какое-то чудесное спасение. Плакали дети.

Несколько человек еще накануне начали рыть подкоп, чтобы выбраться из храма на противоположный склон холма и ночью, пользуясь темнотой, скрыться в ближайшем лесу.

Землю из подкопа вытаскивали наверх в деревянных ведрах, с помощью длинных веревок. Подкоп был уже достаточно глубок. У людей появилась надежда на спасение. Они твердо решили не открывать осаждающим дверей.

Однако монголы не могли больше ждать, так как кругом все сильнее бушевал пожар и уже трудно было оставаться среди дыма, огня и падавших отовсюду, подхваченных вихрем горящих досок и кусков дерева.

Тогда Бату-хан в гневе приказал:

— Проломить каменную стену «дома молитвы»!

Вскоре притащили стенобитный таран. Опытные нукеры поставили его против одной из стен храма и стали раскачивать бревно, тяжелое, с железным наконечником, упорно ударяя им в стену, пока она не была пробита, и прекрасное здание рухнуло, похоронив под своими развалинами всех, кто укрывался внутри, вместе с их богатствами. Монголам так и не удалось ничем воспользоваться.

На площади уже нельзя было оставаться: кругом пылали дома. Бату-хан со своими приближенными помчался прочь, с трудом вырвавшись из огненного кольца.

Приказание татарского владыки было выполнено: к его походному шатру на левом берегу Днепра нукеры привезли связанного воеводу Дмитро.

Придворный летописец Хаджи-Рахим вместе с лекарем Дудой Праведным омыли и перевязали раненого, стараясь остановить кровь целебными травами. Дмитро держался мужественно и не издал ни одного стона. К нему подошел Бату-хан. Он долго пристально смотрел на израненного воина, как бы изучая его и что-то обдумывая, потом медленно сказал:

— Ты настоящий багатур. Я охотно возьму тебя в мое войско, чтобы ты служил мне.

Воевода молчал.

— Что ты мне посоветуешь: оставаться ли моему войску здесь, на земле русов, или сейчас же двинуться дальше, покорять «вечерние страны»? За правдивую речь я не наказываю, а награждаю. Отвечай мне правдиво.

Дмитро заговорил с трудом:

— Оставаться здесь татарам нет выгоды. Русская земля тобою уже покорена. Город Киев сожжен. В нем не осталось ни одного целого дома, ни одного не израненного защитника. А ты любишь войну, ищешь новых побед и захвата новых богатых городов. Скорее уходи дальше завоевывать другие земли. Да ведь ты и сам не останешься здесь.

Дмитро говорил медленно, то и дело облизывая сухие запекшиеся губы.

Бату-хан с подозрением посмотрел на него и тихо сказал Субэдай-багатуру:

— Я думаю, что он потому мне советует немедленно двинуться дальше, что хочет поскорее освободить свою землю от грабежа моих воинов.

Затем, обратившись снова к воеводе, спросил:

— А где, в какой стране я найду самые лучшие корма для наших коней?

— Конечно, в привольных угорских степях.

— Ты поедешь со мной,— сказал Бату-хан,—и будешь в пути моим советником.

— Плохой я тебе советник: жить мне уже осталось немного,— отвечал равнодушно Дмитро. —Скоро я умру и тебе желаю того же!

Бату-хан вздрогнул. Окружающие переглянулись. В эту минуту, запыхавшись, подбежали два татарских сотника и, подхватив Бату-хана под руки, быстро посадили его на коня.

— Великий джэхангир! Здесь проклятое место! В Кыюве нам нечего больше делать. Пора уходить отсюда.

Удаляясь от Киева вслед за Бату-ханом, Гуюк-хан тихо говорил одному из своих приближенных:

— Вечно синее небо было здесь немилостиво не только к Бату-хану, но и ко мне: когда джэхангир направил свое войско на осаду Кыюва и тумен за туменом уходил туда, а обратно ни один не возвращался, я сказал Саин-хану:

— Великий джэхангир! Бог войны Сульдэ дает победу только самым доблестным. Не следует ли тебе самому повести свой тумен непобедимых на этот непокорный город? При одном твоем приближении откроются ворота, а наши воины обретут новую силу сказочных багатуров.

Он посмотрел на меня и промолчал, но совету моему не последовал. Жаль! Ведь по воле неба и он бы мог не вернуться, если бы ринулся в самую гущу боя, и тогда этому безумному походу наступил бы конец.

— А если бы войско все же захотело идти вперед, а не назад?— спросил собеседник.

— Тогда кто-либо другой, не менее доблестный, мог бы заменить Бату-хана, став во главе нашего войска...

— И это был бы ты!

— Тс! Тс! Молчи! Часто и деревья имеют уши!

Глава седьмая

ПИСЬМО ХАЛИФУ БАГДАДСКОМУ

На берегу оледенелого, засыпанного снегом широкого Днепра, против Киева, в походной войлочной юрте Абд ар-Рахмана, возле тлеющего костра сидел на пятках Дуда Праведный и дописывал тростниковым калямом последние завитки на длинном узком листе. Он вздохнул, тихо прошептал молитву и вопросительно посмотрел на своего молодого господина, задумчиво сидевшего близ него.

— Закончил письмо?— спросил Абд ар-Рахман, кутаясь в просторную кыпчакскую баранью шубу.

— Все написал, что ты хотел,— ответил Дуда.— Прочесть тебе?

— Прочти, мой мудрый наставник.

Медленно, нараспев, как обычно читаются священные книги, Дуда начал:

— «Во имя аллаха! Мудрому, хранителю высшей правды, благосклонному ко всем приходящим, воспри-

имчивому к добру, вождю общины правоверных, самому праведнейшему среди праведных, Мустансиру, халифу багдадскому,— да возвеличит его аллах своим благословением, да развернутся его бесчисленные знамена, украшающие его доблестные рати, да увеличится число прибывающих к нему послов! Самые горячие, исходящие из сердца пожелания шлет из далекой, занесенной снегом безграничной степи его верный, преданный слуга, состоящий послом при грозном владыке татарской небесной Синей Орды Бату-хане, Абд ар-Рахман, прозванный Укротителем диких коней.

Посылаю очередное письмо и молю скороприходящего праведного Хызра, чтобы он охранил на всех длинных и опасных путях через долины, реки и горы тех гонцов, в чьих надежных руках будет храниться этот свиток, этот скорбный стон моего сердца.

А наблюдал я с неотрывным вниманием за тем, как происходила осада богатейшего, прекрасного города русов Кыюва, и об этом сейчас поведаю тебе, хранителю высшей правды.

Этот город, стоящий на нескольких холмах, опоясан тремя рядами стен. Только благодаря камнеметам и двум тяжелым таранам татарам удалось разбить ворота, после чего татарская конница неудержимым потоком ворвалась в Кыюв. Первый, главный, удар был нанесен в те ворота, откуда прямая дорога ведет к вершине холма, где находятся палаты бояр, самые почитаемые «дома молитвы» и дворец великого князя кыювской земли. По этой дороге, пробивая себе путь через толпы отчаянно бившихся горожан, и промчались впереди других «буйные» конники Иесун Нохая.

Я проехал вслед за монголами, с трудом пробираясь через наваленные грудами тела русов и татар, застывших в последней предсмертной схватке. И тут я понял, почему татары одолевают этот мужественных народ: их было в два-три раза больше, чем русов. Все дома по обе стороны улицы снаружи были заперты замками: значит, все население, до последнего человека, покинуло свои жилища и вышло защищать Кыюв — одни на крепостных стенах, другие на улицах города.

Я должен признаться тебе, мой великий покровитель, что я ни разу не обнажил своего светлого дедовского меча, так как эти русы, так мужественно умиравшие за

свою столицу, вызывали во мне только удивление и сочувствие любовью к своей земле и полным бесстрашием.

Однако, несмотря на эту мужественную защиту, Кыюв пал.

Тебе, вероятно, известно, что монголы имеют обычай сейчас же после битвы свозить тела всех своих убитых воинов и складывать их рядами на бревнах, досках, хворосте и соломе для погребального костра. Такой костер монголы поджигают и долго ходят вокруг него, распевая священные песни, пока костер не догорит дотла. У них считается преступным и позорным оставить тело своего павшего воина без погребения на костре. Однако в Кыюве Бату-хану пришлось отменить этот обычай: весь город пылал, сам похожий на громадный погребальный костер.

Монголы вынуждены были поспешно бежать из охваченного пламенем Кыюва. Повсюду запасенные русами на зиму стога сена и склады зерна тоже сгорели, так что никакого корма для коней ни в городе, ни вокруг него больше не оставалось. Татарский владыка повелел войску двинуться дальше, на «вечерние страны», куда направляюсь и я.

Здесь я кончаю письмо. Спасенный мною от смерти арабский купец поклялся, что доставит его в Багдад и передаст в твои священные руки.

Для свободного и спешного проезда через захваченную монголами землю я для него с трудом достал медную пайцзу на шею с изображением летящего сокола. Эта пайцза дает гонцу чрезвычайные права.

Да увековечит и сохранит аллах твое царство! Да облегчит все твои дела преуспеванием и славой! Еще раз молю о том, о чем уже писал: остерегайся непобедимого владыки монголов! Его кровавая цепкая рука дотянется и до тебя через Курдистанские и Армянские горы до самого Багдада. Собирай скорее могучее войско ислама под зеленым знаменем пророка, готовься к защите нашего великого священного города! Монголы способны нанести Багдаду внезапный удар. Они уже теперь говорят об этом. Согласно твоему приказу, я буду и дальше сопровождать Бату-хана в его походе и постараюсь возможно скорее прислать тебе следующее донесение о новых битвах и, несомненно, о новых победах татар.

Должен тебе сказать, что взятие Кыюва, столицы русов, обошлось татарам слишком дорого: положив на его холмах лучшую половину своего огромного войска, Бату-хан, кроме дымящихся развалин, здесь ничего не приобрел. Татары, надеявшиеся на богатую добычу, начинают роптать. Все это привело Бату-хана в бешенство. До сих пор никогда я не видел татарского владыку в таком гневном исступлении.

Благословен будет час, когда я снова тебя увижу процветающим и далеким от всех ужасов и опасностей, которые несет с собой война».

Глава восьмая
ПОСЛЕ УХОДА ТАТАР

Татарам не удалось зажечь поминальный костер в честь своих багатуров, павших при захвате Киева. Поднявшийся снежный буран мешал людям двигаться. Холодный порывистый ветер, обжигая лицо, залеплял снегом глаза.

Бату-хан укрылся в своей походной юрте. Никто и никогда еще не видел его в такой ярости. Даже самые близкие боялись в этот день нарушить одиночество джэхангира. Два окаменевших у входа часовых нукера с удивлением видели, как их всегда величавый повелитель метался по шатру, рвал в клочья узорный шелковый халат, бросал на землю и топтал ногами богатые серебряные кубки, а потом, охватив голову руками, протяжно завыл и вдруг, упав среди мягких ковровых подушек, сжался в комок и затих.

В соседнем шатре собрались чингизиды, среди которых появился даже всегда шипевший, злобный Гуюк-хан. Монголы говорили:

— Видно, жители этого города призвали всех своих злых духов-мангусов и они решили засыпать снегом наше доблестное войско, чтобы не дать ему найти и унести все сокровища, накопленные здесь в течение столетий. Наш повелитель сейчас подобен разъяренному тигру, от которого ускользнула уже бывшая в лапах добыча. Разве могли мы подумать, что под стенами этого города Бату-хан уложит половину, и лучшую половину своего непобедимого войска?

Приближенные Гуюка перешептывались:

— Бату-хану не будет удачи в этом походе. Он навлечет на себя и на нас гнев «священного правителя» тем, что не выполнил установленного погребального обряда и не совершил положенных молений.

Утром следующего дня Бату-хан повелел всему войску двинуться дальше. Он сказал:

— Почетный поминальный костер в честь наших павших багатуров сделали вместо нас вечно синее небо и бог войны Сульдэ, уничтожив навсегда этот упрямый город.

Уходя, на самой окраине сгоревшего Киева монголы устроили «ям» — военный и почтовый пост; там расположились конники, охранявшие табун лошадей, предназначенных для гонцов. Эти гонцы прибывали из Сарая и главной столицы монголов Кара-Корума или неслись обратно туда, чтобы не прерывалась связь между далекой монгольской родиной и уходящими все дальше на запад войсками Бату-хана. Монголы окружили свой ям валом и оградой и держались настороженно со всеми, кто приближался к стоянке. Однако иногда покинувшие ям гонцы бесследно исчезали, и в этом татары чувствовали руку где-то затаившихся смелых мстителей. То же случалось и с разведчиками, разъезжавшими по окрестным брошенным селениям в поисках еды и сена.

Пожары в городе продолжались еще несколько дней после того, как монгольское войско ушло на запад и последние скрипучие арбы, запряженные верблюдами и быками, которых погоняли женщины, скрылись на дорогах, ведущих к Карпатам.

Прекрасный, богатый Киев обратился в дымящееся обугленное пожарище, заваленное бесчисленными телами убитых. Постепенно белый снег прикрыл своим холодным плащом следы небывалого побоища.

Кое-где из подвалов и развалин стали показываться немногие уцелевшие жители, изможденные, ослабевшие, больше похожие на тени, чем на живых людей.

Монахи, их было немного, вернувшиеся с крепостных стен в подземные ходы Печерского монастыря, служили панихиды, молясь за «убиенных» русских воинов, доблестно павших при защите своей древней столицы.

Сюда же, в монастырские пещеры, приносили раненых. Измученные, голодные, потрясенные событиями этих страшных дней, люди все же продолжали твердо верить, что придет время, когда правда и милосердие восторжествуют, татары уйдут назад в свои далекие степи и отстроится новый Киев, который расцветет — прекрасный, вольный и могучий.

Долго в великом запустении лежала киевская земля. Вот что писал по этому поводу проезжавший мимо Киева через пять лет после описываемых событий (1246) Плано Карпини, известный францисканский монах, отвозивший в ставку великого кагана Кара-Корум письмо от римского папы.

«Они (монголы) осадили Киев, который был столицей Русии, и после долгой осады взяли его и убили жителей города. Когда мы ехали отсюда через их землю, мы находили бесчисленные головы и кости мертвых людей, лежавших на поле; ибо этот город был весьма большой и очень многолюдный, а теперь сведен почти ни на что. Едва существует там двести домов, а людей тех держат они в самом тяжелом рабстве. Подвигаясь отсюда, они сражениями опустошили всю Русию».

Глава девятая

«ВПЕРЕД! СКОРЕЙ ВПЕРЕД!»

Киев во всех концах запылал как огромный костер. Татары, увлеченные грабежом богатого города, с трудом вырвались из него и умчались вскачь.

Бату-хан в первый день остановился на ночлег близ небольшой церковки. Походная юрта монгольского повелителя была поставлена посреди церковного двора. Рядом с юртой на приколах стояли кони Бату-хана; среди них любимый белоснежный жеребец Сэтэр, укутанный попоной, стянутой красными шерстяными веревками. Кони неохотно ели жесткое сено, наваленное перед ними. Бату-хан не раз выходил из юрты, подкармливая собственноручно коней лепешками, и бранил нукеров за то, что те не сумели найти лучшего корма.

— Это не сено, а горе и больше похоже на жесткую солому, которой упрямые русы покрывают свои жилища.

Нукеры оправдывались:

— Все стога сена, бывшие поблизости, русы подожгли, чтобы они нам не достались. Скорей бы уйти отсюда туда, где земля не покрыта снегом и где мы найдем пастбища для наших коней. Здесь же наши кони худеют: им уже нечего есть.

Другие нукеры говорили между собой:

— Если стоять на месте, то это значит — потерять наших дивных коней и самим вернуться обратно пешими. Не видать тогда нам больше родной юрты, наших исхудавших от голода и ожидания жен, и не видать нам больше нашей новой столицы близ «золотого домика» на берегах многоводной реки Итиль.

Нукеры, посылаемые на разведку, возвращаясь, сперва являлись к Субэдай-багатуру, который поместился внутри церкви вместе со своим старым иноходцем. Они рассказывали, что в русов вселились злые мангусы: ни один не сдается, а все бьются до последнего дыхания.

Вечером Бату-хан призвал главных темников. Настроение было тревожное. Заговорил старый монгол, начальник разведки:

— Над русской землей лютует непогода, но еще больше на нашем пути лютует русский народ. Русы не покорились. Они затаились, и этой тишине верить нельзя. Русы нас подстерегают повсюду: на перекрестках дорог, в глубине оврагов или вылетая нежданно неизвестно откуда. Они рубят наших воинов и забирают их коней.

Темники говорили:

— Весь народ русов воюет с нами. Если часть их земли нами и разгромлена, то все же русы смирились только временно и грозят нам всякими бедами.

Бату-хан выслушивал темников и тысячников, говоривших то, что уже все знали. Он был молчалив, и его смуглое лицо казалось окаменевшим. Две думы неотвязно преследовали его: оргомные потери лучшей части войска, погибшей при взятии Киева, и глухой ропот, начавшийся среди монголов, ожидавших большой добычи в прославленной богатством столице русов, сгоревшей вместе со всеми своими сокровищами.

Переводя суровый взгляд поочередно на сидевших военачальников, Бату-хан пошевеливал сосновой веткой угли костра и только изредка спрашивал:

— А ты что нам скажешь полезного?

Некоторые высказывались, что здесь, на киевской земле, борьба с русами снова оказалась крайне трудной.

Хан Нохай, как всегда веселый и беспечный, воскликнул:

— Наш бесстрашный Саин-хан уже одолел своих врагов, пройдя победоносно через все земли от Рязани до Кыюва! Теперь мы остановились у границы, где начинаются земли галичан, а за ними лежат королевства «вечерних стран». Нужно, чтобы эта остановка здесь была недолгой.

Всегда ехидный, всем недовольный Гуюк-хан сказал:

— Мы оставляем позади себя тлеющие и непотухающие костры возможных восстаний. А впереди не встретим ли мы еще более упрямых, чем русы, других противников? Не загасив тлеющих костров позади себя, не делаем ли мы новую ошибку, двинувшись вперед?

— Ошибку? Ты назвал мой поход ошибкой? Какой же совет ты хочешь нам дать? — тихо, как бы равнодушно, протянул Бату-хан, но в его словах все сидевшие почувствовали затаенную угрозу: ведь в этом высказывании Гуюк-хана скрывалось как бы осуждение всего задуманного похода на «вечерние страны», начатого, как известно, Бату-ханом по завету «взирающего с облаков единственного, всезнающего священного правителя». А за осуждение его воли, согласно обычаю, должно последовать немедленное наказание: два могучих пельвана переломают виновному спину.

Тревожный шепот пробежал по рядам собравшихся. Все с волнением ждали, как поступит теперь Бату-хан с наследником великого кагана?

Однако Гуюк-хан не смутился и так же самоуверенно и дерзко продолжал:

— После множества ненужных жертв во время осады и захвата Кыюва не следует ли нам сделать передышку? Не отдохнуть ли в Галиче и Кременце или других городах богатой Волынской земли, где собрались, наверное, толпы знатных жителей и богатых купцов, укрывшихся там со всем своим имуществом. В этих городах наши воины смогут захватить хорошую добычу, а изголодав-

шиеся кони — подкормиться. Только после этого можно будет двинуться на «вечерние страны».

— По-видимому, именно этого ты особенно захотел,— сказал Бату-хан. — Поэтому тебе и поручается быстро покорить города Волынской земли. А для того, чтобы ты сам не сделал ошибки, как ты назвал захват и разгром Кыюва, я тебе в помощь назначаю хана Бурунтая с его войском. Отправиться туда вы должны немедленно.

Это уже было твердое приказание. Гуюк-хан, скрывая бешенство, склонился, скрестив руки на груди, и хотел встать, но Бату-хан остановил его:

— Подожди! Выслушай, что скажут другие темники и что мы сейчас решим.

Все сидевшие вокруг огня насторожились, стараясь не проронить ни одного слова.

Бату-хан продолжал:

— Наш одаренный девяносто девятью способностями и достоинствами сын великого кагана, Гуюк-хан, заговорил о передышке. Что подумают правители «вечерних стран», когда услышат о нашем решении остановить свой стремительный поход? Вероятно, вы все слышали или знаете о том письме, о том потрясающем послании, которое отправил наш высокий правитель великий каган королю франков Людовику, прозванному «святым»?

Темники зашевелились, послышались восклицания:

— Мы только слышали о таком письме, но нам его не читали! Просим прочесть его!

— Сейчас вы его услышите! Усердный Хаджи-Рахим! Ты хранишь переписанное для меня это письмо. Прочти нам.

— Сейчас прочту, мой повелитель! — ответил летописец великого похода.

Он стал рыться в своей потертой кожаной сумке, достал пергаментный свиток и разгладил его на коленях. Затем стал читать нараспев:

— «Именем бога вседержителя повелеваю тебе, королю франков Людовику, быть мне послушным и торжественно объявить, чего ты желаешь: мира или войны. Когда воля небес исполнится и весь мир признает меня своим владыкой, тогда воцарится на земле блаженное спокойствие и народы увидят, что мы для них сделали. Но если ты дерзнешь отвергнуть божественное повеление

и скажешь, что земля твоя очень отдалена, горы неприступны, моря глубоки и что ты нас не боишься, то всесильный облегчит трудное и, приближая отдаленное, покажет тебе, что мы можем с тобою сделать».

Хаджи-Рахим посмотрел вопросительно на Бату-хана и, видя утвердительный знак его руки, свернул письмо и опять бережно спрятал его в свою сумку.

Бату-хан обратился к Субэдай-багатуру:

— Что ты скажешь об этом послании? Дай мудрый совет.

Субэдай-багатур, вытирая рукавом вспотевший лоб, сказал:

— Это послание великого кагана королю франков есть в то же время повеление и для нас. Мы должны раздавить сопротивление всех встречных народов и ворваться победителями в страну франков, где правит король, прозванный «святым», хотя на самом деле он дерзкий лгун и неисправимый преступник. Он до сих пор не прислал нам ответа, и если он не захочет встретить нас покорностью, то мы должны своим копьем выполнить волю великого кагана, заставить короля франков встать на колени, поцеловать землю и выказать нам полное повиновение.

Сидевший недалеко от Бату-хана арабский посол Абд ар-Рахман при упоминании о франках вздрогнул и подался вперед. Вот когда заговорили, наконец, о земле, которая была для него целью всего предпринятого похода! Только бы добраться туда целым и невредимым! Обнажить свой меч против народа, сражавшегося когда-то с его прославленными предками...

— Джэхангир! — воскликнул он, и голос его непривычно зазвенел. — Я буду просить у тебя чести переступить границу земли франков, начальствуя над твоими доблестными воинами! Дай мне тысячу всадников, и я приведу заносчивого короля Людовика на аркане к твоему шатру!

Все обернулись к Абд ар-Рахману. Бату-хан поднял брови, потом улыбнулся:

— Молодец! Обещаю исполнить твое желание, а ты принеси мне победу.

— Молодец! Молодец! — повторили все присутствующие.

Гуюк-хан спросил:

— Какой же путь ты выбрал, чтобы наше доблестное войско привести в страну франков?

— Сперва пусть выскажет свои думы наш доблестный Субэдай-багатур. Потом скажу я.

Старый одноглазый полководец вздрогнул, передернулся и начал говорить медленно, точно заикаясь, вытирая губы левой здоровой рукой:

— Наш главный враг и противник в этом великом походе — это отсутствие корма для коней и пищи для войска. Проклятые широкобородые русы хорошо знают это и при нашем приближении сжигают все запасы. Поэтому наша сила только в нашей быстроте. Мы должны налетать на мирные народы раньше, чем они приготовятся к битве, раньше, чем они успеют спрятать или сжечь свои запасы, которыми должны нас кормить. Мы должны налетать на эти народы, как стая ястребов или соколов, что набрасываются на мирно пасущееся стадо гусей или уток раньше, чем те успеют разлететься. А каким путем направится наше войско, объявит, если только пожелает, наш великий джэхангир.

Бату-хан обвел угрюмым взглядом всех сидевших и сказал:

— Народы «вечерних стран» уже давно ожидают нашего прихода, но в то же время трясутся и молятся своим богам, чтобы мы не пришли. Мои лазутчики доносят, что правители этих стран теперь отправляют друг к другу послов, устраивают совещания, ставят дозорных на горных перевалах, где они заваливают проходы огромными камнями и деревьями. И в то же время они ссорятся и спорят между собой, кто будет у них главным военачальником соединенных войск. Все они говорят о войне и бесплодно теряют время, а мы на них надвигаемся, как туча, и пока я не вижу никого, кто собрал бы их войско в одну грозную силу, чтобы первым напасть на меня.

— Верно! Верно! — закричали сидевшие. — У них никого нет, кто посмел бы первым напасть на непобедимые войска нашего джэхангира.

— Поэтому мы будем продолжать идти вперед, все вперед до «последнего моря»!

От Киева, где татары понесли огромные жертвы, они двинулись в сторону заходящего солнца, направляясь че-

рез Галицко-Волынскую Русь. Передовые отряды монголов подходили к стенам встречных городов, требовали покорной сдачи, и если жители, открыв ворота, впускали их, они сейчас же растекались по всем улицам, врывались в жилища, забирали все, что находили, и, подобно саранче, истребив все на своем пути, вьючили добычу на небольших, но выносливых монгольских коней и приканчивали всех тех жителей, которые осмеливались сопротивляться. Так, где налетом, где лживыми обещаниями, татары взяли города Колодяжин, Каменец и другие, но город Данилов не открыл им своих ворот. Горожане вместе с прибежавшими из окрестных селений крестьянами мужественно и геройски защищались, сбрасывая камни и сбивая топорами и рогатинами взбиравшихся на стены татар.

Помня приказ Бату-хана, «не задерживаясь идти вперед на заход солнца», монголы прекратили осаду Данилова и двинулись дальше на запад.

Гуюк-хан, дойдя до Кременца, рассчитывал быстро овладеть им. Он помнил повеление Бату-хана, сказанное с презрительной усмешкой, и хотел поскорее разделаться с Кременцом, раздавив его, как яйцо. Но здесь случилось неожиданное.

Перед ним оказался город — неприступная крепость на горе. Дорога вилась по крутому каменистому подъему. На верху прочных стен видны были жители, готовые к защите. Гуюк-хан сидел на гнедом жеребце и мрачно смотрел вверх на запертые городские ворота. И дорога и боковые скаты холма, на котором был расположен город, блестели, как стекло. Что бы это могло быть? Он приказал переводчику с двумя всадниками подняться к воротам и потребовать немедленной сдачи города, обещая пощадить покорных жителей и не тронуть их имущества. Однако подняться к воротам оказалось невозможным: жители, услышав о приближении монголов, полили гору водой, и теперь она вся обледенела. Кони скользили и падали. Со стен раздавались крики и смех, летели камни.

Гуюк-хан в бешенстве приказал дожидаться стенобитных машин, следовавших за войском. Через два дня прибыл один камнемет. Его везли двенадцать быков, но втащить машину на гору по обледенелой дороге оказалось невозможным, поэтому пришлось оставить ее внизу. С грохотом она стала швырять тяжелые камни, напра-

вляя их в городские ворота. Но камни — одни не долетали, другие, долетев, из-за дальности расстояния, не могли сломать прочных ворот. Все попытки монгольских воинов взять Кременец окончились неудачей.

Гуюк-хану привели нескольких захваченных ранее пленных. С ними вместе пришел толмач, которого татары давно возили с собою. Оборванный, в жалких лохмотьях, с тяжелой цепью на ноге, он представлял, однако, для них большую ценность, так как мог объясняться и по-576 кумански, и по-татарски, и по-русски.

— Кто защищает этот проклятый город? — спросил Гуюк.

— Пленные говорят, что князь галицкий Даниил поручил защиту Кременца тысяцкому Никодиму, а тот приказал жителям полить водой эту гору, держаться изо всех сил, не верить татарам и не открывать им ворота.

Простояв безуспешно под Кременцом несколько дней, Гуюк-хан приказал своему войску двинуться дальше, а захваченных пленных перебить.





Часть девятая

МОНГОЛЬСКИЙ АРКАН НАД ЕВРОПОЙ

Глава первая

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА ПОД УДАРОМ МОНГОЛОВ

По свидетельству современных хроник, объятые ужасом при известии о вторжении полчищ диких монголов, европейские государства стали принимать спешные меры, собирать войска и вооружать население.

Все ожидали, что во главе объединенных войск Европы встанет германский император Фридрих II Гогенштауфен и поведет их против страшных орд Батухана.

Но император оставался в Италии, где шла напряженная борьба между его партией и партией главы всех католиков девяностолетнего римского папы Григория IX, который три раза во всех церквах повелел предать анафеме императора Фридриха II и рассылал послания германским правителям, призывая их к избранию нового императора. Сам же папа находился в то время во Франции, в городе Лионе. Эта длительная распря между папой и императором и их сторонниками препятствовала всякому успешному начинанию спасения Европы. Видя полную неподготовленность европейских государств, папа стал призывать всех правителей Европы организовать общий крестовый поход против монголов, даже соглашаясь на то, чтобы во главе всех войск встал ненавистный ему император Фридрих II.

Пока Фридрих из своей виллы на острове Сицилии рассылал приказы и пространные послания своим вассалам, войска Бату-хана несколькими потоками вторглись в европейские земли. Все дошедшие до нас сведения о движении монгольских войск носят крайне запутанный характер, и их очень мало. Вот некоторые из них, почерпнутые из различных летописных источников:

«После падения Киева в декабре 1240 года старший из внуков Чингиз-хана, Батый, во главе пятисот тысяч конных монголов, выступил для покорения западного христианства.

Первой на его пути была Польша. Зимой 1241 года монголы вторглись в Малую Польшу, взяли и сожгли Сандомир и Краков.

Затем Батый разделил свое войско. Одна, более многочисленная часть пошла через Татры (Карпаты) на королевство Венгерское. Это был трудный путь, так как все главные горные проходы были заблаговременно завалены огромными вековыми деревьями. Батый приказал поджечь эти деревья, и черные клубы дыма от гигантских костров возвестили населению о движении монгольского войска.

Пока одна часть монголов вступила в венгерские пределы, другая направилась на север, в Великую Польшу, а отсюда прямо к границам чешским. Страх перед этим свирепым врагом распространился далеко по всем западным землям.

Однако в Германии стали вооружаться только в некоторых областях, там, где опасность была ближе. Несколько князей послали помощь королю польскому, Генриху Благочестивому, который готовился к бою в Нижней Силезии.

Другие вспомогательные отряды поспешили в Чехию, где король Вячеслав, бросив все дела, стал заниматься приготовлениями к обороне. Под его знаменами собралось до сорока тысяч пехоты и до шести тысяч конницы, с которыми он спешно выступил из Праги к силезской границе, намереваясь соединиться с войсками Генриха Благочестивого. В это время монголы, под начальством хана Пайдара (Петы), быстро продвигались к Лигницу.

Близ Лигница король Генрих, не посоветовавшись с королем Вячеславом и вопреки ожиданию последнего, вступил в несчастную битву с монголами 9 апреля 1241 года. Десять тысяч христиан полегло в этой героической битве, закончившейся для них страшным поражением. В их числе пал и сам Генрих.

Король Вячеслав был уже на другой день со своим войском в Лигнице, так как находился в пределах государства, в округе Жетовском, и если бы Генрих дождался его, возможно, эта битва окончилась бы иначе.

Узнав о прближении короля Вячеслава, монголы не отважились вступить в новое сражение и поспешно направились обратно в Верхнюю Силезию, опустошая все огнем и мечом.

Германские союзники Вячеслава, видя, что опасность от их земель отвратилась, разошлись, и король Вячеслав должен был ограничиться охраной рубежей чешских и моравских.

Монголы тщетно пытались вторгнуться в Чехию через Глацкую область: горные проходы всюду были завалены камнями и защищены. Но, по прошествии трех недель, монголы овладели Опавской областью и оттуда открыли себе дорогу в Моравию. Они взяли Опаву, Пшеров, Литовль, Иевички и другие города один за другим. Сожгли и разрушили знаменитые древние монастыри в Градище, Райграде и других местах. Плодородную Гану опустошили вконец, все на своем пути предавая огню и разграблению.

Народ бросал имущество и бежал в горы и леса, чтобы не сдаваться врагу.

Только три города: Олоомуц, Брюн и Уничов — монголы осаждали без успеха. Отдельные крепости и замки, храбро защищаясь, тоже отразили нападение врага. Так прославились Внеслав и Братислав на Гостыне.

Тем временем король Вячеслав собрал против татар новые силы и пошел им навстречу в Моравию. Ему помог и Фридрих Удалой Австрийский.

При Олоомуце, обложенном татарами, произошла кровавая встреча: здесь предводитель чешского войска, Ярослав, нанес татарам чувствительное поражение, и от его храброй руки пал хан Пайдар.

Вслед за тем монголы покинули Моравию и спешно направились в Венгрию, где соединились с главным войском Бату-хана».

Глава вторая

БИТВА ПРИ ЛИГНИЦЕ

(Из „Путевой книги" Хаджи-Рахима)

«Молю всевидящего и всезнающего дать мне достаточно сил и умения, чтобы описать правдиво этот необычайный поход грозного Бату-хана на земли народов «вечерних стран», объяснить причины блистательного успеха его вторжения и разгрома растерявшихся противников.

Еще в те дни, когда Бату-хан осаждал Кыюв, он отправил правое крыло для покорения ближайших земель, а также и для разведки, чтобы установить, какие вражеские силы он может встретить впереди.

Один из татарских отрядов дошел до города Люблина и, разорив все на своем пути, возвратился к главному войску с большой добычей.

Другие татарские отряды переправились через замерзшую реку Вислицу и повернули на большой богатый город Краков. Там один из монгольских отрядов был разбит войском краковского воеводы Владимира, который, выйдя ночью из осажденной врагами крепости, набросился на спящих татар, рассеял их и освободил из плена значительную часть своих соотечественников. Во время сражения пленные разбежались и скрылись в лесах. Все же население покинуло Краков, и он загорелся сразу со всех концов, подожженный уходящими жителями».

После того как Бату-хан разделил на пять частей свое огромное войско, оно обрушилось на Западную Европу.

Ввиду многочисленности монгольских орд трудно было дать им достойный отпор. 9 апреля 1241 года под Лигницем произошло решительное сражение, где попробовали испытать свои силы войска «вечерних стран», столкнувшись с дикими преемниками «потрясателя вселенной» Чингиз-хана.

Первыми двинулись на монголов стройные ряды пехотинцев, состоявшие из чешских горняков, нашивших себе на грудь большие белые кресты в знак того, что они готовы умереть за родину, но не отступить. Они шли правильными тесными рядами и пели воинские песни. Следуя своим обычным уловкам, монголы стали притворно отступать, как будто в беспорядке, и этим увлекать за собой противника в сторону топкого болота. Когда смелые пехотинцы, уже считая себя победителями, бросились вдогонку за монголами и, потеряв порядок, отделились от остального войска, монголы неожиданно повернули, забили в медные щиты и с криком стали скакать вокруг пехотинцев, избегая вступать в рукопашный бой. Татары старались истреблять их издали, метко поражая длинными стрелами. Чешские горняки отчаянно защищались, и все доблестно пали в бою.

Два других отряда чехов и поляков, поспешивших на помощь горнякам, тоже подверглись стремительному нападению монголов и тоже погибли в отчаянной схватке. Рыцари прусского Тевтонского ордена, построившись своим обычным строем —«клином», как будто несокрушимой лавиной ринулись на монголов. Однако, несмотря на свое отличное вооружение, закованные в железо рыцари ничего не могли поделать с быстро ускользавшими от них легкими монгольскими всадниками, которые внезапно поворачивали обратно, кружились вокруг рыцарей, яростно налетали и в конце концов стрелами и мечами разгромили прославленную конницу германских рыцарей, считавшихся в то время лучшими воинами «вечерних стран».

В этой битве сказалось преимущество легких татарских коней. Рыцари, закованные в железо, хотя и имели грозный вид, но их большие тяжелые кони скакали медленнее монгольских. Кроме того, им не удалось избежать топких мест, где они проваливались и были не в силах подняться, поражаемые издали татарскими лучниками.

В тот день пал смертью храбрых начальник соединенных войск, смелый, но несчастливый в бою Генрих герцог Силезский.

Разорив окрестности Лигница, но не тронув города, где за крепкими стенами укрылось население, монголы повернули на Ратибор и, выполняя строгий приказ Бату-хана, вторглись в Моравию. Предав все огню и мечу, они затем двинулись в Богемию.

Король Богемский Венцеслав послал для борьбы с монголами опытного чешского военачальника Ярослава, приказав, не вступая в сражение в открытом поле, только защищать город Брно. Ярослав нашел в Брне мало войска. Оставив часть его для защиты города, сам он с пятью тысячами пеших воинов и пятью сотнями всадников двинулся к Олоомуцу, к которому уже подходили монголы. Едва Ярослав вошел в город, как его начали окружать передовые татарские отряды.

Однако Ярослав, дождавшись ночи, сам решился напасть на монголов и под покровом темноты внезапно обрушился на их спавший лагерь, прежде чем татары успели принять меры к обороне.

Хотя из участвовавших в смелой вылазке только небольшая часть вернулась в город, все же это была победа, весть о которой разнеслась по стране, показав, что и монголов можно одолевать.

Во время яростной ночной схватки был убит один из крупнейших монгольских военачальников чингизид хан Пайдар и сопровождавший его в походе Мусук, названый брат младшей жены Бату-хана Юлдуз-хатун.

На следующий день после боя монголы сложили тела хана Пайдара, Мусука и других павших своих воинов на огромный погребальный костер, подожгли его и с воплями и воинскими песнями долго ходили вокруг костра. В честь «благородных теней» погибших монгольских воинов, нашедших свой конец вдали от родины, были перебиты захваченные пленные, приносившие дрова для костра, чтобы потом, в заоблачной жизни, они стали верными рабами монгольских покойников.

Пламя и дым костра поднимались до самых облаков, ставших кровавыми.

Через три дня после этого печального поминания своего вождя и его багатуров монголы, сняв осаду Олоомуца и выполняя строгий приказ Бату-хана собраться в заранее

указанный им день на венгерской земле, двинулись туда.

Однако, можно думать, что в тех случаях, когда монголам не удавалось быстро овладеть тем или иным городом, они снимали осаду, ссылаясь на якобы полученный об этом приказ Бату-хана.

Глава третья
СМЕЛЫЙ ПЕВЕЦ

Уже несколько дней татары штурмовали Сандомир. Они сбивали длинными стрелами с каменных стен его упрямых защитников, плетьми и ударами палиц гнали истощенных, оборванных пленных, приказывая им взбираться по шатким приставным лестницам на укрепления города, откуда доносились проклятья, крики и выливались на головы осаждающих кипяток и горячая смола.

Огненным кольцом дымящих костров был охвачен когда-то веселый Сандомир, славный песнями, прекрасными женщинами, сладким хмельным медом в замшелых кувшинах. Теперь это был город плача, невыносимых мук и горя.

Все горожане, и молодые, и седоусые деды, и отцы, неутомимо швыряли камни, били мечами, кольями, топорами, сбрасывая со стены все прибывавших воющих татар.

Измученные женщины, не зная страха, подносили камни, кормили и поили защитников, перевязывали раны.

Иногда из темноты или налетевшей снежной вьюги натиск монголов затихал, и тогда слышались только плач и вопли в городе да протяжные песни, похожие на волчий вой, косоглазых безжалостных пришельцев.

Темными ночами монголы подолгу сидели на корточках вокруг пылающих костров, смуглые, неподвижные, уставившись пристальным взглядом в раскаленные докрасна угли, а за спинами некоторых жались их покорные жены, такие же неподвижные, узкоглазые, с будто окаменевшими скуластыми лицами, прислушиваясь, что скажут воины: скоро ли закончится осада этого упрямого города и настанет день, когда к ним в повозки снова полетят охапки окровавленных одежд, разрозненных сапог, а то и теплая шуба или серебряный кубок... А сзади к по-

возкам будут опять привязаны, с закрученными за спиной руками, стонущие от боли и унижения пленные. Хорошо, если попадется красивая девушка, молодая сильная женщина или не очень израненный мужчина, их легче можно продать на невольничьем базаре или обменять хотя бы на пару новых шаровар.

Осада Сандомира сразу пошла успешнее, когда к стенам города прибыл с туменом своих «бешеных» всадников сам джэхангир Бату-хан. С ним приползли четыре диковинные стенобитные машины.

В одно пасмурное утро машины загромыхали, и в стены полетели огромные камни. Каждый камень был настолько тяжел, что его с трудом поднимали четыре человека и клали в громадный ковш на конце бревна. Эти ковши беспрестанно швыряли камни в стены и в железные городские ворота, внушая ужас стойким защитникам, которые поняли, что никакое мужество больше не поможет против ухищрений сильного врага.

Сопротивление вскоре было подавлено. В широкие проломы стен на низкорослых храпевших конях ворвались ревущие и воющие татары. Они карабкались через груды наваленных камней и неудержимыми потоками разлились по узким улицам города.

Сандомир был взят. Жители с ужасом ожидали своей участи. Монголы врывались в дома, захватывали все, что им нравилось, и заставляли израненных горожан самих же нести отобранные у них вещи на площадь, где монгольские сотники делили добычу между воинами, оставляя одну пятую часть Бату-хану и еще другую пятую часть награбленного для отсылки в далекую Монголию великому кагану всех татар.

Во многих местах город пылал. Деревянные дома частью поджигались самими жителями, пришедшими в отчаяние, но не желавшими, чтобы родные жилища осквернялись издевательством насильников. Кто мог, попрятались в подвалах, еще надеясь на какое-то спасение.

Монголы заставили пленных расчистить от бревен и камней главные ворота своего города, и в полдень в Сандомир въехал Бату-хан со своей нарядной, блистающей металлическими доспехами свитой. Он был в серебряном шлеме, украшенном перьями цапли, и в позолоченной кольчуге. На плечи была накинута малиновая расшитая золотом шуба, подбитая темным соболем. Он сидел на

пятнистом, как барс, пляшущем на ходу жеребце, украшенном золотой сбруей.

Въехав на главную городскую площадь, заставленную возами бежавших из окрестностей поселян, Бату обратил внимание на величественный каменный дом бога с двумя высокими башнями.

— Это жилище ляшского бога?

— Ты верно сказал,— подтвердил переводчик.— Это костел латынян, а рядом длинное каменное здание — это монастырь, где живут латынские монахи, посвятившие себя молитвам и переписке священных книг.

— Я хочу увидеть, как молятся здешние латынские шаманы. Пусть они споют мне свои песни!— И Бату-хан направил коня к дверям костела.

Высокие двери из черного дуба были широко открыты. Каждую створку украшали резные изображения святых. В притворе Бату-хан на несколько мгновений задержал коня перед огромной картиной, нарисованной на стене.

— Что за люди здесь изображены?

— Это «Страшный суд»,— объяснил переводчик.— Здесь показано, как все мертвецы встанут из гробов в последний день вселенной. Они явятся перед богом, и всевышний владыка будет судить их за преступления, совершенные каждым в жизни...

— А кто этот падающий вниз человек с лицом, искаженным злобой, с хвостом и рогами?

— Это бог зла, который толкает людей на преступления. Ляхи таких духов зовут «дьябли»...

— Этим дьяблям ляхи тоже молятся?

— Нет, они им не молятся, но их боятся.

— Пусть лучше нас боятся!— сказал подошедший хан Орду.— Рабы должны бояться своего господина.

В костеле Бату-хан проехал между двумя рядами деревянных скамеек. Копыта монгольских коней звонко цокали по каменным плитам. Бату-хан остановился перед алтарем и пожелал узнать, что нарисовано на иконах, чья статуя раскрашенной женщины стоит на пьедестале возле алтаря и почему она обвешана цветами, ожерельями и лентами? Узнав, что это «матерь божия», он снова спросил:

— Где же певцы? И монахи, служители этого дома? Почему они до сих пор меня не встретили и ничего мне не поют? Приведите их сюда.

Сойдя с коня, Бату уселся, подобрав ноги, на широком резном кресле, обитом зеленым бархатом. На нем во время богослужений обычно сидел сандомирский воевода.

Нукеры бросились исполнять приказание Бату-хана и вскоре притащили старого священнослужителя в длинной черной сутане с костяными четками в руках. Старик не выказывал страха. С трудом подойдя к Бату-хану, он остановился, близорукими глазами всматриваясь в лицо грозного татарского повелителя.

— Скажи мне, старик, где все твои шаманы? Почему они попрятались?

Ксендз, подняв глаза к небу, медленно перекрестился.

— Пан бог призвал к себе души всех братьев нашей святой обители. Они бесстрашно сражались против врагов веры Христовой и пали на стенах нашего несчастного города, перебитые твоими жестокими воинами. Я один остался в живых, чтобы сторожить этот святой храм и молиться о моих погибших братьях.

— Я ценю таких храбрых противников. Хаджи-Рахим! Где Хаджи-Рахим?

Из группы приближенных Бату-хана, стоявших позади кресла, вышел летописец и мудрец Хаджи-Рахим с белой чалмой на голове, в длинной темной одежде, подпоясанной куском полосатой ткани. Он выделялся среди блиставших оружием соратников Бату-хана своим скромным, почти бедным видом.

— Мой почтенный учитель! Позаботься о старике и расспроси его об этом латынском доме бога и о его шаманах, погибших на стенах города. Ничто не должно быть упущено и забыто в книге моих походов.

— Слушаю и повинуюсь, великий хан! Позволь только тебе предложить нечто из того, что заслуживает внимания: ты пожелал, чтобы тебе здесь пели молитвы, какие поются ляшскому богу. А петь некому! Рядом же, на площади, я видел певца, который ходит из города в город и поет песни. Он избит, и кровь стекает по его лицу. Но он продолжает гордо стоять на груде камней и смело поет. Воины его зарубят, а он бесстрашен...

Бату-хан обратился к одному телохранителю:

— Приведи с площади певца!

Вскоре тургауд вернулся, ведя под руку бедно одетого

юношу с белокурыми кудрями до плеч. Одной рукой тот держал лютню, другой прижимал платок к голове. По лицу стекала алая кровь. Ноги в широких шароварах были без сапог: татары успели уже их стащить. Певец вполголоса бормотал проклятья, исподлобья поводя серыми глазами.

Бату-хан приказал стоявшему поблизости Дуде расспросить певца.

Дуда спросил:

— Нам передавали, что ты на площади пел преступные песни, призывая жителей Сандомира к упорному сопротивлению. Верно ли это?

— Да, я это делал, и если останусь жив, я опять буду песнями призывать мой народ к борьбе за свою свободу. Но я не побоюсь спеть такую песню даже перед повелителем татар, пришедшим погубить нашу прекрасную родину.

— Вот за этим-то наш доблестный Саин-хан и призвал тебя.

Певец выпрямился и недоверчиво посмотрел на безмолвно сидящего Бату-хана. Каменным было его лицо, и никто не сумел бы проникнуть в думы всемогущего вождя с узкими, как щелки, скошенными глазами.

— Я не побоюсь это сделать, хотя меня ждет лютая казнь!

Переводчик объяснил, что никому не дано угадать последнее слово владыки. Может быть, казни не будет и он даже получит награду.

— Пускай поет!— сказал Бату-хан.

Тогда певец, отбросив окровавленный платок, попробовал струны лютни. Он запел хриплым, но полным глубокого чувства голосом, а Дуда Праведный тихо переводил:

Заплакали в селах, будто на погосте:
Ой, лихо нам, лихо!— Пепел да кости!
Девушки малины в лесу не собирают,
Пастухи скотины в поле не гоняют.
Ой, лихо нам, лихо!
Татарва конями хлеба потоптала,
Девиц полонила, сынов порубала,
Ой, лихо нам, лихо!

— Так и надо народу непокорному!— сказал Бату-хан.— На то и война!

Батыю поганому ночью не спится...

Дуда запнулся, но под грозным взглядом Бату-хана робко продолжал переводить:

— Что ж тебе, Батыю, не спится, не лежится?
«Человечьей крови я хочу напиться...»
Ой, лихо нам, лихо!
Поганцу языческому... Народа мучителю...

Дуда остановился, но против ожидания Бату-хан, видимо, остался доволен и заметил:

— Великий правитель и должен быть жесток!

Жрут человечину волки да собаки.
Кровь человечью пьют вурдалаки,
Осиновый кол вурдалаку в спину,
Волка лесного мы бьем дубиной!

Бату-хан более внимательно прислушивается и следит за движениями певца, нетерпеливо требуя перевода.

Ой, лихо то, лихо,— да ворогам нашим!
Села мы построим, землю запашем!
Будем мы вами мост мостити,
Хану да ханятам головы рубити.
Будете снопами лежать вы в могиле!
Встань же, отчизна, в славе и силе!
Встань, наша мати, рви свои путы,
Бей и гони ты ворогов лютых[1].

Бату-хан слушал, невозмутимый, непроницаемый. Певец, обессиленный, вдруг прервал песню и зашатался. Его колени стали подгибаться. Изо рта по подбородку поползла кровавая змейка. Выпавшая из рук лютня жалобно зазвенела.

Дуда, поддерживая певца, уложил его на каменные плиты.

Бату-хан медленно перевел свой взгляд в сторону задумчиво стоявшего Хаджи-Рахима.

— Что ты скажешь на это, мой мудрый учитель?

Хаджи-Рахим быстро подошел к Бату-хану, склонился и прошептал что-то ему на ухо.

Бату-хан скрипучим голосом сказал:

---

[1] Стихотворная обработка Н. Павлович.

— Ты был и навсегда останешься дервишем, гонимым ветром беспокойства. Мои монгольские улигерчи поют так же прекрасно и смело, но этот юнец дерзко осудил сынов великого «потрясателя вселенной» и оскорбил их... Разве за это награждают? Подайте коня!

В этот день вечером в монастыре близ храма, в узкой монашеской келье, Хаджи-Рахим, низко склонившись над своей «Путевой книгой» при свете потрескивающего светильника, писал:

«В ляшском городе Сандомире, завоеванном грозными татарами, победоносный Саин-хан, как обычно, проявил свое великодушие, слушая в доме бога бесстрашного молодого певца, перед ним отважно призывавшего ляхов к защите своей родины.

Джэхангир меня спросил, чем наградить певца?

— Поступи так, как имел обыкновение делать великий Искендер Двурогий. Ты завоевал землю ляхов, теперь постарайся завоевать сердца твоих новых подданных: подари певцу ценную одежду с твоих плеч. Тогда и внуки и правнуки ляхов будут и в сказках и песнях вспоминать с изумлением о твоей великой щедрости.

Я тогда думал: «Что значит одна шуба из богатств Бату-хана, когда он прибавил новый изумруд к ожерелью, составленному из завоеванных им столиц покоренных народов?»

Может быть, певец предсказал правду?.. Возможно, что пройдут века и будут сметены с подноса вселенной многие народы, как дым от порыва ветра. Будущее кто знает? Но навсегда осталась бы в веках песня о том, как великий завоеватель Бату-хан наградил любящего свою землю больше жизни бесстрашного певца, сбросив для него со своих плеч драгоценную шубу. Но Бату-хан этого не сделал, а приказал прикончить певца, и тот остался один лежать бездыханный на каменных плитах ляшского храма».

(Из «Путевой книги» Хаджи-Рахима)

«Согласно приказу Бату-хана возможно подробнее описывать его необычайный поход для разгрома «вечерних стран», я постоянно опрашиваю приводимых ко мне пленных, которые рассказывают о своей стране, ее жизни, нравах обитателей, и я с изумлением узнавал о том,

как беспечно они не готовились к возможности вторжения татар. Никто из мадьяр не верил, что азиатские орды смогут докатиться так далеко и что они так сильны. В этих беседах с пленными мне очень помогает писец арабского посла Дуда, прозванный «Праведным». Его знание множества языков удивительно: он сразу понимает речь приведенных пленных и мне ее пересказывает. Из этих разговоров я узнал многое, что постараюсь поведать в моей «Путевой книге».

В то время когда войско убитого хана Пайдара опустошало Ляшское королевство, Силезию и Моравию, сам Бату-хан двинул свою орду через лесистые Карпаты, чтобы ворваться в страну мадьяр.

Тем временем Даниил, князь Галицкий, покинув Кыюв, прибыл в столицу мадьяр Буду, где нашел их короля Белу. Даниил умолял короля возможно скорее соединиться с воинскими силами русов для общей борьбы с татарами и немедленно прислать свое войско для помощи изнемогающей русской земле.

Хотя король Бела и был крайне встревожен приближением могучего неприятеля, но он еще не хотел верить, что монголы действительно исполнят свою угрозу и вскоре появятся в мадьярских пределах. Поэтому он ограничился тем, что послал только несколько отрядов мадьяр и куманов в Карпаты для наблюдения за горными проходами, приказав завалить их срубленными деревьями.

О великой опасности, которая надвигается на страну мадьяр, горячо предупреждал только один хан Котян, но приближенные Белы ему не доверяли и утверждали, что он старается «проползти к сердцу короля» и «стать его правой рукой». Котян, однако, был дальновиднее всех».

Глава четвертая

В СТРАНЕ МАДЬЯР

В конце 1240 года в стране мадьяр получились первые грозные известия о разрушении Киева, об ужасающем состоянии многих русских княжеств, истерзанных татарскими дикими ордами. Эти известия заставили правителей королевства Мадьярского, Польши, Богемии и других государств Центральной Европы задуматься над тем,

что, быть может, и им предстоит испытать такие же или еще более страшные дни несчастий. Передавались слухи, будто полмиллиона конных дикарей, вынырнувших из неведомых глубин Азии, уже приблизились к границам мадьярской земли, что они воодушевлены своими непрерывными победами и крайне опасны умением быстро перебрасывать огромные скопища своих воинов, которые не боятся никаких трудностей и препятствий и могут разгромить всякое европейское войско, вставшее на их пути.

Беспечные успокаивали себя:

— Татары, покорив русские княжества, уже захватили так много земли, что пресытились и дальше не двинутся.

Современный католический летописец, монах Фома из города Спалато в Далмации, опасаясь за участь Мадьярского королевства, писал: «Благополучие и благоденствие, царившее в стране за последние годы, сделало мадьяр беспечными. Они совсем не заботились о своем будущем и не принимали никаких мер для укрепления и защиты своей родины». Летописец сурово обвинял мадьярскую аристократию в изнеженности: «Молодые люди из высших сословий спали до одиннадцати часов, и затем, разодетые в роскошные одежды, более подходящие для женщин, они посвящали свое время только пустым удовольствиям. Они издевались над грозными предсказаниями надвигавшейся беды и легкомысленно не хотели верить в возможность каких-либо вторжений неприятельских войск. Они говорили, что все это пустые выдумки монахов и священников, пугающих прихожан с целью заставить их более усердно посещать церковь и делать ей более щедрые пожертвования».

Один из мадьярских священников в конце 1240 года прислал парижскому епископу подробные сведения о грозном «биче божием», который пока еще находится на русской реке Днепр, но его отряды уже приблизились к границе Мадьярского королевства.

А между тем богатая от природы страна мадьяр не имела хорошо организованной армии и нужного порядка: в разных местах среди населения возникали междоусобицы и столкновения. Главные кормильцы страны, скромные труженики, мадьярские крестьяне, угнетаемые знатью, были не только недовольны, но даже крайне озлоблены против своих поработителей-землевладельцев.

Они не могли забыть о том, что их отцы и деды когда-то были свободными и эти пашни тогда были их собственностью и только в начале XIII века указом короля все крестьяне-пахари были объявлены крепостными, а обрабатываемая ими земля признана собственностью знатных титулованных помещиков — большей частью немцев, прибывших из Саксонии. Вся страна оказалась раздробленной на множество мелких феодальных владений. Высокомерные новые хозяева при озлобленности угнетенных крестьян сделали свою страну беззащитной против наступления всякого врага. Кроме того, помещики, аристократы, считая себя главными правителями страны, всячески ограничивали власть короля Белы, выступая против него на съездах и не допуская никаких послаблений и льгот в пользу безземельных нищих крестьян.

Глава пятая

ПУШТА

Один из венгерских поэтов прошлого века так описывал Пушту, степную равнину, на которой произошла первая встреча татарской конницы с мадьярским войском:

«В Пуште, этой пустынной, привольной степи, свирепствуют страшные ураганы, зимой залепляющие снегом лицо, а летом засыпающие глаза песком, ураганы такой силы, что они подчас даже опрокидывают путника. Пушта излюблена пастухами и кочевниками, но она кажется безотрадной городским жителям. По всей Пуште скот пользуется бесчисленными колодцами. Обычно колодец состоит из глубокого сруба, опущенного в песчаную почву, и обнесен низкой стеной. Деревянное ведро, плавающее на поверхности воды, привязывается к концу длинной тонкой жерди, другой конец которой прикреплен к деревянному коромыслу, но так, чтобы оно могло свободно двигаться. Коромысло в свою очередь приделано к верхушке столба, вкопанного в землю. Рядом с колодцем находятся два длинных корыта, одно ниже другого. Из верхнего поят лошадей, из другого — мелкий скот, вливая в корыто воду, зачерпнутую из колодца.

Поблизости стоит крытый сарай «исталло», рядом непокрытые загородки для скота «акол».

Кругом безграничные поля. Кое-где поднимаются грядки высокого подсолнечника. Часто встречаются бо-

лота и камыши, в которых скрываются стаи волков. Кое-где виден уединенный выселок — скромная усадьба, оберегаемая мохнатыми дворняжками. Это всего несколько небольших построек, окруженных гигантскими стогами сена и соломы.

После нашествия татар и впоследствии, в XV веке, турок-османов, которые уничтожали и сжигали все постройки, мадьярские деревни долго еще представляли собой кучу подземных нор и развалившихся лачужек, откуда показывались оборванные, несчастные крестьяне, погрязшие в невежестве и нищете».

Вот еще картина Пушты, которую набросал другой мадьярский поэт:

«Я опять вижу мои родные места. Я проходил степью, которую нежно обнимают руки Тиссы и Дуная, как руки матери, укачивающей и ласкающей своего младенца. Через привольную равнину проходит дорога. Ужасная жара. Поэтому скот не пасется на свежей траве, а лениво отдыхает. Около загородки дремлет пастух в войлочном плаще. Собаки также ленивы из-за жары и даже не смотрят на проходящего путника.

Вот здесь, в узкой впадине, тянется ручеек. Его течение даже незаметно. Только тогда полетят брызги воды, когда пронесется птица-рыболов и коснется ручья крыльями. Изгиб ручейка красив, и на его желтом песке видна стая пестрых пиявок и быстро бегающих водяных жуков.

Там вдали стоит высокий колодезный «журавль». Стоит он печально: когда-то там был колодец, но он давно завалился. Теперь около него только яма, заросшая травой.

Кажется, будто одинокий «журавль» смотрит на далекий фантастический мираж. Что он там видит? В этой затихшей, заснувшей, покинутой людьми пустоши какие только сны не прилетают к одинокому путнику, прилегшему отдохнуть около покинутого длинного «журавля»!»

Глава шестая

ГОРОДА-БЛИЗНЕЦЫ

Путник, проезжавший через страну мадьяр, в своих записках так передает впечатления от того, что ему удалось увидеть. Вот его описание мадьярской столицы Буды и ее близнеца Пешта.

«Два города искони лежали один против другого, разделенные ленивым течением Дуная. Во время ледохода, или весеннего разлива, они оказывались окончательно отрезанными друг от друга. В остальное время их соединял зимой лед на реке, а летом — мост, уложенный на больших ладьях; они были связаны канатами и прикреплены к столбам, вкопанным на каждом берегу. Мост настолько широк, что по нему могут проехать одновременно, не зацепившись, две встречных повозки, даже два воза с сеном.

Каждый из городов, и Пешт и Буда, опоясан каменной зубчатой стеной и глубоким рвом. Въезд в город допускается только через два подъемных моста, которые на ночь поднимаются на железных цепях. Тяжелые прочные ворота, окованные железом, охранялись вооруженной стражей в стальных доспехах. Столица казалась недоступной какому бы то ни было вторжению.

Буда лежит на западном, а Пешт на восточном берегу Дуная. Отсюда начинается степь, так называемая пушта. Она представляет собой песчаную холмистую равнину, переходящую затем в привольную степь, заросшую высокой травой, камышом и мелким кустарником.

В пуште пасутся табуны прославленных, легких в скачке, мадьярских коней, на которых предки мадьяр (гунны), как пели их песни в «доброе старое время», огненным неотразимым потоком пронеслись по европейским королевствам, герцогствам и другим феодальным владениям, пронося повсюду ужас и разгром, пока «воля провидения» не вернула их обратно в родные мирные степные просторы.

Буда окружен внушительной зубчатой стеной с бойницами. Посреди города возвышается скалистый холм, весь застроенный дворцовыми зданиями. Королевский дворец тоже напоминает крепость, с высокой башней посередине, где всегда ходят часовые, внимательно наблюдающие за окрестностями.

Отдельные дома в Буде тоже походили на маленькие крепости. Улицы, тесные, извилистые, на ночь перегораживались цепями. Узкие окна домов, выходившие на улицу, напоминали бойницы».

Все эти предосторожности говорили о постоянной тревоге, возможности тайных заговоров и опасения внезапных нападений. Опасности грозили королю отовсюду:

и внутри городских стен и вне города, со стороны окружающих Буду феодальных замков надменных аристократов, где каждый барон, граф или герцог гордился своим родством с германскими королями и высшей иностранной знатью. Они захватили исключительную власть и положение в Мадьярском королевстве, и каждый считал себя имеющим права на королевский трон.

Только мадьярские крестьяне были лишены всего, всяких прав, даже на свои земельные наделы. Они не смели также носить и хранить оружие. Не всегда так было: полвека назад они еще были свободными. Теперь землей завладели аристократы, прибывшие из Германии, Силезии, Семиградья и других мест якобы для создания прочной государственной власти в стране и защиты королевского престола. При таком положении власть короля была крайне стеснена и урезана и зависела от совета знатнейших лиц страны.

Когда король Бела получил письмо хана Котяна, благодарившего за разрешение куманам переселиться в Мадьярское королевство, он созвал членов верховного королевского совета. На этом совещании присутствовал придворный летописец, известный в истории под именем «Нотарий». Он вел «хронику» и описывал главные события того времени. Настоящее имя его осталось неизвестным, но его хроника сохранилась до нашего времени, получив название «Хроники Анонима». В ней можно найти описание некоторых дальнейших событий.

Бела сообщил верховному совету о скором прибытии куманского хана Котяна и его орды. Все члены совета во главе с австрийским герцогом Фридрихом стали яростно упрекать короля Белу за то, что он согласился допустить в страну огромную орду куман, которых они считали врагами мадьярского народа.

Глава седьмая

КОНЕЦ ХАНА КОТЯНА

Много раз видевший тяжелые горести и несчастья в жизни своего народа, хан Котян еще раз испытал страшный удар судьбы. После гибельного для него и для русских сражения при реке Калке и затем беспрерывных стычек с татарами в Диком Поле в течение семнадцати

лет Котян надеялся найти спокойную жизнь для себя и своего народа в стране мадьяр. Он заблаговременно отправил посольство к Беле, прося его принять в число своих подданных и разрешить поселиться в пуште всему куманскому народу в количестве сорока тысяч шатров.

Король Бела был обрадован, получив это известие, тем более что Котян просил разрешения поселиться навсегда в Мадьярском королевстве, обещая стать верным защитником короля и своей новой родины.

Таким образом, половецкий народ «куманы», пройдя через южные Трансильванские отроги Карпатских гор, прибыли на мадьярскую равнину. Со своими табунами и стадами скота они широко разлились по привольным степям.

Охотно согласившись принять куманов при условии полной покорности и принятия ими христианства, король преследовал тройную цель: во-первых, приобретение римским папой новых верующих — католиков, во-вторых, для своего королевства он надеялся получить сильное войско из мужественных опытных всадников, в-третьих, лично для себя он рассчитывал из куманов создать гвардию, надежную дружину телохранителей для защиты своего королевского трона от посягательств.

Кроме того, в куманах Бела надеялся иметь постоянных ценных союзников в предстоящей борьбе с татарами, так как куманам были уже хорошо известны военные приемы и уловки татар.

В своих же мадьярских крестьянах Бела не видел надежных воинов главным образом потому, что, угнетаемые властными землевладельцами, мадьярские крестьяне, в то время бывшие бесправными, закрепощенными рабами, так ненавидели своих угнетателей-хозяев, что, по мнению короля, получив оружие, они прежде всего направили бы его против своих же господ.

А между тем то, что король Бела согласился принять хана Котяна в свое подданство, было одной из причин, почему Бату-хан объявил ему войну: Бела принял себе в союзники народ, родственный татарам, и Бату-хан через отправленных им монгольских послов потребовал выдачи ему Котяна и всех его родичей для немедленной казни.

Тем временем хан Котян с сыновьями прибыл в столицу Буду, где был очень сердечно принят Белой. Котян предостерегал короля о неминуемой опасности: следом

за куманами уже двигалась татарская орда, под начальством самого Бату-хана.

Котян подтвердил снова, что все куманы отдают себя всецело под покровительство и власть короля и будут биться рядом с его войсками.

Однако внутри Мадьярского королевства куманы были приняты с недоверием и даже враждебно знатными землевладельцами, которые старались восстановить против куманов также и простой народ.

«Это племя,— говорили они,— по своим грубым нравам, по кочевым обычаям более похоже на передовой отряд наших врагов, чем на мирных жителей. Не верьте им! Это татарские лазутчики! Они не станут нашими защитниками, а предадут нас!»

Стали возникать частые недоразумения между пришельцами, разлившимися по всей стране, и коренным населением. Передавались даже слухи, что король и его приближенные при всех недоразумениях всегда оправдывали только куманов и брали их сторону.

Эти несогласия становились губительными в тревожный, роковый год, когда с каждым днем все более приближалась страшная татарская орда, когда все силы государства должны были объединиться и приготовиться к смелому отпору.

Знатные вельможи продолжали настаивать на безусловной выдаче хана Котяна татарам и на изгнании всех куманов из страны мадьяр. Они еще не подозревали, что стремительно наступавший Бату-хан так силен и так близок, что он может появиться внезапно. Они легкомысленно воображали, что воззвание папы римского ко всем верующим христианского мира с призывом объединиться для борьбы с язычниками и обещанная королю Беле помощь некоторых государей Европы, желавших, по их словам, создать сильную армию против татар, имеет такую силу, что удержит грозного хана Бату от вторжения в Венгрию. И придворные феодалы безрассудно убили приехавших к королю Беле для переговоров татарских послов, вызвав этим яростный гнев Бату-хана.

Во время созванного королем Белой совещания, на которое явился и хан Котян с сыновьями, землевладельцы и влиятельная мадьярская знать открыто говорили:

«Пусть король Бела теперь сам воюет с татарами, если он на нашу гибель призвал предателей-куманов!

Пусть они ему и помогают, раз он отдал им мадьярские земли, принадлежащие только нам».

Король напрасно пытался спасти хана Котяна, своего гостя и родственника (мать Белы была кыпчакской княжной). Он предложил собранию сперва расследовать, действительно ли хан Котян предатель и лазутчик Бату-хана. Котян поклялся королю, что все его воины будут биться рядом с мадьярскими и умрут, защищая свою новую родину. Но вооруженные вельможи набросились внезапно на хана Котяна с криками: «Изменник! Лазутчик татарского хана! Смерть ему!»

Несмотря на свой преклонный возраст, обладая необыкновенной силой, хан Котян отчаянно защищался скамейкой и убил нескольких, пока не упал, изрубленный мечами феодалов. Вместе с ним были убиты и его сыновья. Аристократы отрубили им головы и выбросили через окна на улицу для показа толпе. Они кричали:

— Все куманы изменники! Все будут казнены таким же образом!

Когда куманы узнали о гибели своего любимого вождя, они немедленно снялись со своих временных стоянок, навьючили шатры и ушли со всеми своими стадами в низовья Дуная, в Добруджу, к болгарскому царю Коломану, покинув Мадьярское королевство в самую трудную для него пору, когда все силы страны должны были бы соединиться для защиты от нашествия небывало грозного врага, когда каждый воин был особенно дорог.

Куманов охотно принял к себе в подданство болгарский царь, предоставив им степные земли, удобные для пастбищ, и объявил, что создаст из них особое конное войско в сорок тысяч всадников.

Пока на разных совещаниях в Буде время проходило в бесполезных спорах, Бату-хан, разбив мадьярские сторожевые отряды в Карпатах, охранявшие горные проходы, внезапно вторгся в страну через перевалы Мункача и Унгвара.

Получив эти тревожные известия, король Бела потребовал от всех феодалов, прибывших в Буду, как можно быстрее собрать и привести к нему свои отряды для создания объединенного сильного мадьярского войска.

Призвав свои войска, стоявшие в городах Альбе и Стригонии, Бела переправился через Дунай и стал укреп-

лять боевой лагерь, сооружая вокруг него земляные валы. Он разослал по всей стране гонцов, призывая народ подняться на защиту родины. Свою семью и государственную казну он отправил на север, к границе Австрии, но там эта казна была немедленно захвачена и присвоена австрийским герцогом.

Глава восьмая

СРАЖЕНИЕ У РЕКИ САЙО

Вернувшись из Польши и Германии, правое крыло татар быстро направилось, согласно приказу, в Мадьярское королевство для соединения с главной ордой. Стремительный Бату-хан, легко опрокидывая незначительные передовые отряды мадьяр, вошел в пределы Венгрии и направился к Буде. Приблизившись к городу, Бату-хан расположился огромным лагерем и разослал часть войск для разорения окрестностей. Отдельные всадники подъезжали к самым стенам города, стараясь выманить осажденных на равнину.

Король Бела не решался делать вылазок, но архиепископ Колочский Уголан, прибывший со своим отрядом, стал упрекать короля в малодушии и сам, вопреки приказанию последнего, вышел из города с небольшим отрядом своих сербских воинов из подчиненной ему области.

Монголы стали, как всегда, притворно отступать к болотистому месту равнины и перешли его, заманивая за собой противника. Архиепископ Уголан бросился преследовать татар, но его тяжело вооруженные всадники, попав на топкое место, не могли свободно продвигаться по болоту. Тогда монголы быстро вернулись, окружили их со всех сторон и перебили издали длинными стрелами. Сам Уголан с тремя всадниками с трудом вырвался из этой ловушки. Несмотря на неудачу, он продолжал убеждать короля Белу снова перейти в наступление, набросившись всеми своими силами на татарские войска, считая их незначительными. Однако Бела не решился выйти из укрепленного лагеря.

Бату-хан продолжал грабить и опустошать страну, рассылая мелкие отряды во все стороны. Епископ Вардейнский, шедший к Пешту с собранным им войском, узнав, что один из монгольских отрядов проходит невдалеке с награбленными богатствами, напал на него. Та-

тары притворно побежали. Погнавшись за ними и наткнувшись на засаду, где затаился второй монгольский отряд, мадьяры были разбиты и сам епископ едва спасся, примчавшись к королю с печальным известием.

Монгольское войско, простояв два месяца перед Будой, неожиданно поднялось с треском барабанов, грохотом маленьких щитов и тягучими призывами длинных труб. Оно двинулось по тем дорогам, по которым недавно пришло, как будто возвращаясь обратно в свои родные степи.

Король Бела, выйдя со своими войсками из Буды, опрометчиво двинулся вслед за монголами. Из осторожности он остановился на западном берегу Сайо (Соленой) близ моста, заблаговременно построенного на ладьях, скрепленных канатами. Для защиты этого моста была поставлена охрана из тысячи мадьярских воинов. Однако часть татар, переправившись через реку вплавь, уже находилась на другом ее берегу, выжидая удобного случая для наступления.

Мадьяры стали немедленно создавать боевой лагерь, окружая его земляными насыпями. Через несколько дней, прошедших в полном спокойствии, монголы внезапно начали обстреливать мост из китайских катапульт, непрерывно швырявших огромные камни, летевшие на большое расстояние. Они отогнали этим мадьярских защитников и затем беспрепятственно стали переправляться и по мосту и вплавь на другую сторону реки. Вскоре многочисленное татарское войско уже окружило укрепленный лагерь мадьяр, поражая стрелами его защитников.

Германские феодалы, бывшие начальниками отдельных мадьярских отрядов, увидели, что они окружены со всех сторон татарами. В лагере поднялось паническое смятение. Боевой порядок развалился.

Брат короля Белы герцог Калман, архиепископ Уголан и гроссмейстер германских рыцарей были единственными, которые решились броситься на неприятеля, но их смелое нападение было отбито татарами с большими потерями для мадьяр. Тогда ни уговоры короля Белы, ни мужественная настойчивость Уголана и Калмана не могли более заставить германских феодалов со своими отрядами выйти из лагеря для новой битвы. Они прятались за насыпями, полные растерянности и нерешимости.

Только герцог Калман решился вновь напасть на монголов и вышел из лагеря со своим отрядом. Пока мадьяры мужественно бились, некоторые вельможи со своими телохранителями покинули лагерь, надеясь спастись бегством. Монголы умышленно свободно пропустили их, не тронув. Тогда и прочие воины, заметив это и полагая, что единственным средством спасения теперь оставалось бегство, последовали за ушедшими отрядами. Король Бела, видя, что воины его разбегаются, также спешно выехал из лагеря.

Когда мадьяры оставляли лагерь, монголы сперва издали последовали за ними, не нападая, но также не давая им возможности рассеяться. В конце концов они внезапно набросились на них со всех сторон и перебили. Так бесполезно и бесславно погибла большая часть мужественных мадьярских воинов по вине враждовавших с королем и между собою вельмож и неумения короля Белы подчинить их своей воле.

Король Бела с очень немногими спутниками спасся только благодаря быстроте и выносливости своих коней.

Рано утром из монгольского лагеря выехало несколько всадников и направилось на восток. На вьючных конях были прикручены большие мешки: это, по давно установленному монгольскому обычаю, как свидетельство одержанной победы, Бату-хан посылал в Кара-Корум свой страшный дар — тысячи правых ушей, отрезанных у погибших в боях противников.

Овладев покинутым лагерем, монголы нашли в нем королевский шатер и случайно забытую в нем королевскую золотую печать. Они пошли на хитрость. Бату-хан велел своим толмачам написать будто бы от имени короля Белы ко всем мадьярам, как владельцам поместий, так и простому народу, такого рода обращение:

«Не бойтесь ярости и жестокости этих собак-монголов или татар. Берегитесь покидать ваши жилища. Хотя мы были принуждены выйти из нашего лагеря вследствие внезапного нападения монголов, но мы надеемся, с божьей помощью, вскоре вновь взяться за оружие. Молитесь только богу, чтобы он помог разбить наших врагов.

Король Бела»

В составлении этого воззвания принимали участие несколько сдавшихся в плен германских вельмож, и они же показали монголам, как следует прикладывать печать к воззванию, переписанному в большом количестве и разосланному по округам.

Множество мадьяр, желавших убежать в леса и горы, обманутые этим письмом, перестали принимать меры для самообороны, спокойно оставаясь в своих жилищах, и таким образом все сделались жертвами свирепых монголов, не пощадивших никого.

Монголы окружили оба главных города Пешт и Буду, в которых почти не было войск, взяли их приступом, ограбили и сожгли, а жителей перебили.

Так монгольский владыка Бату-хан в 1241 году стал временным повелителем Мадьярского королевства.

Глава девятая

ПУТЬ К «ПОСЛЕДНЕМУ МОРЮ»

(Из «Путевой книги» Хаджи-Рахима)

«Священный правитель, вероятно, ликовал, наблюдая с облаков, как на реке Сайо его смелый внук разгромил все мадьярское войско.

После этой битвы Бату-хан объявил правителем Мадьярского королевства Шейбани. Во все округа были разосланы татарские «кнези», они же являлись верховными судьями. Им было поручено собирать для татар лошадей, скот, подарки, оружие и одежду.

Некоторые знатные землевладельцы добровольно поступили на службу к монголам как «кнези», и это они распространяли ложное письмо короля Белы, будто бы призывающего народ не сопротивляться татарам, посылать им дары и мирно оставаться в своих домах[1].

Сперва под властью татар мадьяры жили как будто спокойно, однако назначенные из монголов «кнези» вскоре стали требовать, чтобы население присылало им красивых женщин и уплачивало дань скотом. Затем они потребовали, чтобы из всех селений явились мужчины, женщины и дети с новыми ценными подарками, а приняв

---

[1] Об этом свидетельствует летописец, священник Рогериус, который оказался в Венгрии под монгольской властью и оставил ценные исторические записки.

эти подарки, монголы всех явившихся беспощадно перебили.

Было ли все это известно Бату-хану? Если и да, то ему это было безразлично. Он горел одним желанием: идти вперед и догнать ускользающего от него короля Белу, который обещал мадьярам вернуться и восстановить независимое королевство. Двигаться дальше было весьма трудно, так как всем ордам пришлось пробираться горными тропами, где было крайне мало корма для коней и где их неподкованные копыта разбивались о каменистую почву.

Сам Бату-хан, посылая разведчиков, упрямо стремился вперед, преодолевая крутые горные склоны, и захватил город Загреб. Всюду он получал известия, что только что здесь проехал король Бела со своей свитой. Бату-хан двинулся дальше на запад к морю. Наконец с одной вершины показалась синяя морская равнина, и все спрашивали друг друга: «Это ли «последнее море»?» Спустившись к нему, монголы приблизились к небольшому городку, окруженному высокой каменной стеной. Это оказался старинный город Спалато[1]. В его небольшой гавани не было ни одного корабля. Только несколько белых парусов медленно уходило в туманную даль.

На требование Бату-хана выдать изменника и предателя короля Белу жители города покорно раскрыли ворота и вышли навстречу татарам во главе с градоправителем и несколькими священнослужителями. Упав на колени, они клялись, что король Бела, хотя и провел у них некоторое время, но, опасаясь мести гнавшихся за ним монголов, перешел на корабль и вместе со всеми своими приближенными ранним утром отплыл в море. Их клетчатые паруса еще долго были видны в отдалении.

Бату-хан в ярости приказал своим воинам обыскать весь город и, не щадя жителей, отобрать у них все съестные припасы, которых оказалось довольно много на складах, так как они доставлялись туда венецианскими купцами на кораблях. После трудного голодного пути

---

[1] С п а л а т о, или Сплит — административный центр области.

через горы азиатские воины наедались, пили вино и бе:-чинствовали.

Бату-хан подъехал к каменистому берегу, на которы й набегали и в пене обрушивались прозрачные волн: Бату-хан сдерживал коня, обнюхивавшего соленую во- но не пожелавшего ее пить. Саин-хан сказал:

— До сих пор не было ни одной реки, которую не переплывали наши дивные монгольские кони. Тег кони дошли до предела, здесь моя воля уже бессиль а. Великий «потрясатель вселенной» завещал моему от преславному Джучи-хану, пройти все земли на зак солнца, до того места, куда может ступить копыто м гольского коня. Дошел ли я до этого предела — не зн Идти дальше мой конь не желает. Теперь пришлось плыть по воде. Но недостойно для доблестного багат менять прочное седло на вертлявую лодку. Я все же б продолжать мой путь вдоль берега до города Три стума[1]. Там я решу, следует ли моему победоносному войску идти дальше, чтобы трепать убегающие, дрожащие толпы италийцев, франков и германов, или воткнуть в землю копье и остановить поход!»

---

[1] Тригестум — Триест





Часть десятая

БАТУ-ХАН НА БЕРЕГУ АДРИАТИКИ

Глава первая
СМЯТЕНИЕ И УЖАС В ЕВРОПЕ

Если бы легкокрылый гений истории с быстротой человеческой мысли мог пролететь в 1241 году над «вечерними странами», то он увидел бы величайшее смятение и ужас, охватившие народы Европы и их правителей при известии о появлении на восточной границе страшных загадочных татар, завернутых в звериные шкуры, о их невероятных, стремительных переходах через Польшу, Германию, Богемию, Венгрию и о разгроме

прославленных германских рыцарей и других войск в битвах при Лигнице, Люблине, Сандомире, Кракове, Бреславле и в других местах и, наконец, о полном разгроме мадьярского войска в битвах при Сайо, Буде и Пеште.

Дальнейшее вторжение татар в Италию и Францию казалось неминуемым. Что могло бы удержать грозных завоевателей? Император германской империи Фридрих II Гогенштауфен писал красноречивые воззвания ко всем королям, герцогам и баронам, призывая их объединиться в одну сплоченную сильную армию и оказать мужественное сопротивление азиатским дикарям Бату-хана, но сам он был невидим и недоступен, укрывшись в своем загородном дворце на острове Сицилии.

«Время,— писал император,— пробудиться от сна, открыть глаза телесные и духовные. Уже татарская секира лежит у подножья дерева и по всему свету разносится весть о враге, который грозит гибелью всему христианскому миру. Уже давно мы слышим о татарской угрозе, но считали опасность отдаленной, когда между нами находилось столько храбрых народов и королей. Но теперь, когда одни из этих монархов погибли, а другие обращены в рабство, теперь пришла наша очередь стать оплотом и защитой христианства против свирепого неприятеля».

Римский папа, бежавший из Рима во Францию и укрывшийся в Лионе, писал оттуда также пространные послания, призывая верующих на «священную войну» то против болгар, то против русских схизматиков, обещая каждому, взявшемуся за оружие и объявляющему себя крестоносцем, прощение грехов и самых страшных преступлений и прошлых, и настоящих, и будущих. В то же время папа проклинал императора Фридриха II, обвиняя его в предательстве, в том, что это он, как слуга дьявола, призвал татар к набегу на Европу.

А в народе говорили: почему же святейший отец сам не приедет к границам Мадьярского королевства и не воодушевит собирающиеся там христианские войска?

Слухи, один другого ужаснее, распространялись в народе: говорили, что бесчисленное татарское войско занимает пространство на двадцать дней пути в длину и пятнадцать в ширину. Будто бы огромные табуны диких лошадей следуют за ними. Сами татары вышли прямо

из ада[1] и потому наружностью не похожи на других людей.

Лично видевший вторжение монголов на Балканский полуостров ученый архидиакон монах Фома из Сплита записал в своей «Хронике»:

«Эти люди малого роста, но груди у них широкие. Внешность их ужасная: лицо без бороды и плоское, нос тупой, а маленькие глазки отстоят далеко друг от друга.

Одежда их непроницаемая для холода и влаги, сшита из сложенных двух кож, шерстью наружу, так что похожа на чешую. Шлемы у них из железа или кожи. Оружие их — кривой меч, колчан и лук. Их стрелы с острыми наконечниками из железа и кости. Татарские стрелы на четыре пальца длиннее наших. На черных знаменах своих они имеют длинные пучки из конских волос.

Татарские кони, на которых они ездят часто также и без седла, малы ростом, но крепки, привыкли к усиленным переходам и голоду. Кони, хотя и не подкованы, легко взбираются на горы и скачут по ним как дикие козы, и после трехдневной усиленной скачки они довольствуются коротким отдыхом и малым фуражом.

И люди эти особенно не заботятся о своем продовольствии, как будто живут от самой суровости воспитания: они не едят хлеба, пища их — мясо, а питье — кобылье молоко и кровь.

С собой татары ведут много пленных, в особенности много вооруженных куманов, которых они гонят впереди себя и убивают, если увидят, что те не бросаются слепо в бой. Сами татары неохотно идут в бой первыми.

Почти нет реки, которую бы они не переплыли на своих конях. Через большие реки им приходится все-таки переплывать на меховых бурдюках, надутых воздухом, или на камышовых плотах.

Походные шатры их сделаны из ткани или из кожи. Хотя татар огромные полчища, но нет в их таборах ни ропота, ни раздоров,— они стойко переносят лишения и страдания и упорно борются».

В Европе все верующие ожидали, что объявленный «священный крестовый поход» против татар возглавит

---

[1] Название «татар» сближали с греческим словом «тартар» (ад), а потому считали татар выходцами из ада.

крайне богомольный король французский Людовик IX, еще при жизни объявленный «святым». О том, как он переживал известия о вторжении в Европу татарского хана Бату, записал в своей «Хронике» монах Матье Пари, королевский придворный духовник:

«Когда сей ужасный поток гнева божьего разразился над нами, то благочестивая Бланш, мать короля Франции, вскричала, услышав эти новости:

— Король Людовик, сын мой, где вы?

Он, подойдя, спросил:

— Мать моя, что вам угодно?

Тогда королева, испуская глубокие вздохи и разражаясь потоками слез, сказала ему в рассуждении сей опасности как женщина, но с решительностью незаурядной дамы:

— Что же делать, сын мой, при сем ужасном обстоятельстве, невыносимый шум от которого доносится до нас? Мы все, как и святая блаженная церковь, осуждены на общую гибель от татар!

На эти слова король отвечал печально, но не без божественного вдохновения:

— Небесное утешение поддерживает нас! Ибо если эти татары, как они себя именуют, дойдут до нас или мы пойдем за ними в те места, где они живут, то мы все равно попадем в рай на небесах!

Таким образом, он сказал: «Побьем ли мы татар, или сами будем побиты ими, мы все равно пойдем к богу либо как верующие, либо как мученики».

Среди растерявшихся, перепуганных монархов Европы одним из тех, кого не покидало упорство и вера в лучшие дни, был мадьярский король Бела IV. Гонимый татарами, он сперва укрывался в городе Загребе, затем пребывал в маленькой приморской крепости Трогир, затем покинул ее и выжидал некоторое время со своей семьей и свитой на венецианских торговых кораблях, прячась среди мелких прибрежных островов. Он узнавал от приплывавших к нему рыбаков, что происходит на Адриатическом побережье. Король Бела рассылал воззвания к мадьярскому народу, уговаривая своих подданных не терять мужества и надежды на скорое освобождение страны от ворвавшихся хищников. Русские князья: черниговский Михаил и Даниил галицкий, тоже надея-

лись на скорое возвращение в свои города и верили в возрождение разграбленной татарами родины.

Король Бела отправлял своих послов с просьбой о помощи и к римскому папе, и к германскому императору Фридриху II, и к французскому королю Людовику IX, но ответ он получил только от папы римского, который ограничился обещанием своего «благословения» всем, кто поднимет оружие против татар.

Глава вторая

ПОСЛЕДНЕЕ ЛИ ЭТО МОРЕ?

Как разбушевавшийся ураган мчится через горы и долины, все опрокидывая и сметая на своем пути, так монгольская орда проносилась через Мадьярское королевство, неуклонно направляясь к западу. Крепко, по привычке, держась тысячами, сотнями и десятками, свирепые всадники в долгополых шубах во всякую погоду, на низкорослых взлохмаченных конях проникали во все города и селения, гонялись за убегавшими в леса и болота испуганными жителями, карабкались на горные хребты, куда мадьяры и славяне угоняли стада мычащего голодного скота и жалобно блеявших овец. Добычи было так много, что монголы уже не знали, что с ней делать.

Устраивались частые пиршества, где поглощались незнакомые раньше вина, найденные в подвалах мадьярских баронов в покрытых плесенью кувшинах и крепких замшелых бочках. Во время пиршеств монголы пели дикие песни, вспоминали бескрайние золотистые просторы Гоби, голубые реки и дремлющие в облаках снежные вершины родных горных хребтов Саяна и Хингана, убежище медведей, барсов, оленей и диких коз.

Опьяневшие монголы, засыпая, твердили, что когда-нибудь все же им удастся дойти до «последнего моря». Тогда Бату-хан въедет на скалу, нависшую над бурными волнами, и совершит возлияние айрана из старой можжевеловой миски своего деда в честь небесных духов, покровителей монгольских племен, непобедимых бесстрашных багатуров, подчинивших своему острому копью всю вселенную. И тогда...— Монголы не могли еще предвидеть, что будет тогда и как они станут управлять завоеванной вселенной...— Тогда кто захочет, останется с трусливыми жителями «вечерних стран», чтобы

бить их плетьми по склонившимся затылкам, приучая к покорности монгольскому бунчуку. Кто же соскучится, тот сможет вернуться в родные далекие степи.

Монголы пели пронзительными, тягучими, как завывание волков, голосами:

Сколько лет я уже в походе!
Я сам, бесстрашный удалец, уже состарился
И оброс клочками седых волос.
Прежде я был беспечным весельчаком,
Мог пить айран всю ночь, не пьянея,
Теперь же я состарился до того,
Что после тринадцатой чаши мадьярского вина,
Кода я натягиваю мой черный могучий лук,
Сделанный из рогов хинганского козла,
Я уже не различу острия не знавшей промаха
Моей длинной камышовой стрелы.
О седая старость! Зачем ты проглотила мою золотую юность!

И вдруг, как вспышка зарницы, пронеслась по всем монгольским стоянкам весть, что, пока монголы воевали, они уже приблизились к заветному морю, что оно близко, бурное и глубокое, то бирюзовое в тихую погоду, то черное и пенистое в грозу, и все обрадовались, что конец похода, кажется, уже близок...

Но другие вести примчались и опрокинули радостные надежды монголов. Переводчики, расспросившие пленных, объясняли:

— Впереди бирюзовое море очень близко, но это совсем не то «последнее море», в котором каждый вечер плавится и тает золотое солнце. Это узкое море, вернее залив, а за ним лежит цветущая италийская земля, где находится богатейшая столица столиц всех «вечерних стран»— знаменитый город Рум.

— Но как же нам попасть в эту заманчивую богатую столицу Рум?— рассуждали монголы.— Захватить ее мы сумеем, во всем мире нет такого сильного войска, которое бы опрокинуло могучий натиск монголов. Но как переплыть это бирюзовое море? Наши кони привыкли идти только через реки или плывут проверенными бродами с помощью кожаных бурдюков. А здесь, по-видимому, придется переплывать на небольших кораблях? Но у нас столько захваченной добычи, что если мы погрузим ее и, кроме того, коней и воинов на корабли, то они пойдут ко дну и мы окажемся в подземном царстве ко-

варного бога Эрлика, владыки злых мангусов. Не проще ли объехать это море берегом?

— Все-таки добычу нашу придется оставить временно на этом берегу,— возражали другие монголы.

— Разве можно оставить? С гор спустятся дерзкие славяне и растащат нашу добычу, которую мы завоевали с таким трудом.

Все-таки монголы радовались, что какое-то море близко и произойдет перемена в их походе: может быть, за ним появятся снова степи и привольные луга.

Вскоре передовые отдельные потоки монгольских конных отрядов достигли Адриатического моря, растянулись по берегу и остановились перед приморскими городами. Города были окружены высокими каменными стенами, за которыми затаились перепуганные жители.

Перед кочевниками плескались прозрачные волны и выкатывались на берег, обмывая разноцветную гальку и мелкие раковины. Мохнатые длинногривые кони входили в воду, подозрительно обнюхивая набегавшие волны, били нетерпеливо копытами, фыркали, но отказывались пить морскую соленую воду.

Конь для монгола и верный друг, и покорный слуга, и мудрый учитель. И монголы сказали:

— Нет! Мне и моему коню моря не нужно! Наши горные пенистые ручьи и степные голубые реки куда лучше. Их сладкую воду охотно пьют наши кони. А что здесь мы будем делать? Наш грозный владыка Саин-хан сам видит, что достаточного корма нашим коням здесь нет,— они уже объели все горные кустарники и от голода, точно верблюды, грызут бурьян и древесную кору. Конечно, Саин-хан и мудрый Субэдай-багатур лучше все знают, и скоро мы услышим новый приказ, который решит: пойдем ли мы дальше, или остановимся здесь.

Глава третья

НЕОТВРАТИМОЕ

Подъезжая к площадке, выбранной для военного совета, Бату-хан говорил арабскому послу:

— Бог войны только один — наш величайший бог Сульдэ. Он невидим, и никаких истуканов ему ставить не надо. Если бы я остановил здесь мой поход на «вечерние страны», то на этом холме нужно было бы высечь из

камня не бога, а белоснежного коня, того коня, благодаря которому монгольское войско только и могло совершить такие великие походы. Это будет храм монгольскому коню, и я заставлю все народы ползать перед ним на брюхе и целовать его копыта.

Около площадки поднималась одинокая старая сосна с обломанной и обугленной верхушкой — след молнии, которую метнул с неба бог войны. Тут же несколько небольших деревьев были обрублены на высоте роста человека, и их концы заострены, как тонкие лезвия копий. Все проезжавшие мимо монголы косились на эти острия, соображая, что их владыка Бату-хан, видно, на кого-то прогневался и здесь готовится виновникам жестокая казнь.

Слуги разостлали походные ковры. Должны были приехать все чингизиды, находившиеся в войске, и главные начальники отдельных отрядов.

Бату-хан, подобрав под себя ноги, уселся на своем походном троне — стопке девяти войлочных чепраков. Справа от него поместился его брат хан Орду, огромный и грузный, обычно ездивший на двух сменных конях, так как ни один конь долго не выдерживал дородного хозяина. Рядом с ним сидел двоюродный брат хан Менгу, всегда живой и веселый, наиболее из всех чингизидов близкий и преданный Бату-хану. Далее обыкновенно размещалась свита Гуюк-хана, сына великого кагана всех татар, но сейчас там никого из них не было.

Слева от Бату-хана расположились на ковре молчаливый и угрюмый великий аталык Субэдай-багатур и другие знаменитые полководцы: Курмиши, Бурунтай, Кадан, вернувшиеся из походов в Германию, Польшу и Чехию. Загорелые, обветренные, суровые, непроницаемые, верные соратники монгольского повелителя. Арабский посол Абд ар-Рахман поместился на краю узорчатого ковра, напротив Бату-хана; рядом с ним сидел летописец Хаджи-Рахим, а позади них переводчик Дуда Праведный.

Все молчали. Изредка только слышался шепот. Ожидали решения Бату-хана и обсуждения плана вторжения в Италию через богатые приморские города Тригестум и Венецию, чтобы оттуда идти дальше.

— Гонец издалека!— сказал кто-то.

Два всадника быстро приближались вскачь и остановили коней у подножья холма. Звеня оружием, на холм поднялся начальник охранной сотни Арслан-мэргэн, заменивший погибшего в бою под Краковом Мусука. Вытирая лицо желтым шелковым платком, он выпрямился, остановился на краю ковра и оглянулся. За ним медленно шагал, весь покрытый белой пылью, коренастый монгол. Его свисавшие по углам рта редкие усы казались от пыли седыми.

— Встань здесь, рядом!— приказал Арслан-мэргэн.

Монгол вытащил из-за пазухи кожаную трубку и, держа ее бережно на вытянутых руках, произнес твердо и четко заученные им заранее слова:

— «Послание владыке улуса Джучиева, повелителю Синей Орды и «вечерних стран», Бату-хану от Туракины, великой правительницы земель монгольских...»

Бату-хан встал, и сидевшие встали. Кто-то встревоженно прошептал:

— Неотвратимое совершилось!

Бату-хан сказал особенно торжественным голосом:

— Подойди ко мне!

Монгольский гонец приблизился мелкими шажками, опустился на колени и, расставив руки, поцеловал ковер. Затем, оставаясь на коленях, он распустил ремень, обвязанный вокруг кожаной трубки, и вытащил из нее свернутый пергамент. К нему на красном шнурке была прикреплена сделанная из синего воска круглая печать великого кагана. Бату-хан двумя руками принял пергамент, приложил его ко лбу, губам и груди, затем развернул свиток. Он молча прочел послание. Прикрыл рукавом глаза и оставался некоторое время неподвижным. Очнувшись и держа перед собой пергамент, он передал его хранителю печати Ак-Хасану.

— Прочти, что пишет хранительница великого престола, моя высокочтимая тетка Туракина.

Ак-Хасан бережно взял свиток двумя руками, приложил его ко лбу и затем громко, нараспев прочел:

— «Священный правитель, заботливо наблюдающий с небес за жизнью любимого им монгольского народа, призвал к себе в несметные полки заоблачного войска сына своего, моего возлюбленного мужа, сверкающего доблестью Угедей-кагана. Слушайте все, у кого в жилах течет горячая благородная кровь Священного правителя:

приезжайте немедленно в Кара-Корум, на курултай[1], для избрания преемника великого кагана, нового властителя безграничного царства монгольского».

Некоторые полководцы, подняв руки, завыли, но, видя, что Бату-хан остается холодным и непроницаемым, замолкли.

По-прежнему невозмутимый, с глазами, устремленными вдаль, Бату-хан сказал:

— Сегодня, и завтра, и все девять дней мы будем совершать жалостливые обряды в память великого кагана, оплакивая того, кто ушел от нас в светлое царство заоблачных теней. Но пусть никто без моего приказания не осмелится уехать отсюда в Кара-Корум. Начатая мною война требует своего завершения и полного разгрома «вечерних стран». А великий курултай произойдет в назначенное мною время.

Бату-хан сел, и все бесшумно опустились на землю. Гонец, пятясь на коленях, сполз с ковра, поднялся на ноги и остановился позади Арслан-мэргэна. Бату-хан провожал его пристальным взглядом.

— Разреши доложить, — сказал Арслан-мэргэн.

— Говори.

— Гуюк-хан и с ним вся его свита и его охранный отряд сегодня на заре внезапно покинули наш лагерь. Гуюк-хан настолько торопился, что оставил половину своих коней, скота и вьюков. Его воины сказали, что Гуюк-хан уже объявил им о своем спешном возвращении в Кара-Корум. Я все же успел догнать Гуюк-хана. Он стегал плетью коня и крикнул мне: «Пускай Саин-хан занимается поисками «последнего моря», мне же предстоит другая, более высокая и важная задача: поднять высоко и грозно над всеми народами вселенной девятихвостое знамя Священного правителя».

Все ждали, что скажет Бату-хан. Он указал рукой на заостренные колья:

— Вот то высокое место, которое заслужил Гуюк-хан! Воин в походе, покидающий без разрешения вождя свое войско, становится предателем своего народа. Как же Гуюк-хан будет исполнять «более высокую и важную задачу», — как он говорит, — если первый показывает при-

---

[1] Курултай — съезд членов рода Чингиз-хана и высшей монгольской знати.

мер неповиновения? Гуюк-хан сам приблизил свой последний день. Бог войны Сульдэ его осудит.

— Позволь сказать слово! — прервал наступившее молчание посол арабского халифа Абд ар-Рахман. — Твой ясный ум правильно отметил: «Наша великая война требует своего завершения». Пока ты сам не повернешь колеса судьбы в новом направлении, после того как раздавишь гордыню и злобу враждующих между собой королей «вечерних стран», война окончиться не может. А тем временем хранительница престола великого кагана Туракина сможет управлять делами царства сама, с помощью своих мудрых и опытных советников. Только когда копыта твоего серебристо-белого коня омоются волнами «последнего моря», окружающего нашу землю, ты повернешь обратно свое непобедимое войско, и тогда все народы вселенной признают в тебе единого, величайшего владыку, кагана, но только в тебе, а не в убежавшем Гуюк-хане.

— Да живет много лет наш любимый, великий Саин-хан! — воскликнул хан Менгу.

— Да здравствует наш грозный, непобедимый Саин-хан, покоритель народов мира! — повторили все хором.

Глава четвертая
УПРЯМЫЕ ГОРЦЫ

Ленивые волны набегали на каменистый берег и откатывались назад, унося с собой гальку и мелкие розовые двухстворчатые раковины. Татарская сотня на невысоких, длинногривых конях рассыпалась по берегу. Кони тянулись к воде, но, попробовав, фыркали и отворачивали морды. Послышались крики приказов. Две полусотни отъехали в разные стороны. Впереди каждой покачивался ханский черный треугольный флажок на конце гибкого бамбукового копья.

Из-за холма показалась новая группа всадников. Знаменосец на пегом коне держал бунчук самого Бату-хана, пятиугольный, из желтого шелка, с изображением белого кречета, держащего в когтях черного ворона. Девять густых хвостов, прикрепленных к знамени, качались при налетавших порывах свежего ветра.

Сразу привлекал внимание ослепительной красоты молочно-белый жеребец с живыми черными глазами, ис-

худавший от долгого пути, но сохранивший легкость движений и беспокойную пляску тонких стройных ног. Ехавший на нем Бату-хан остановился у самой воды на сыром берегу, усыпанном мелкими раковинами. Натянув поводья, он некоторое время пристально всматривался в жемчужную даль.

— Что это за корабли? — спросил он, вытянув руку.

К нему подскакал на рыжем нарядном мадьярском коне Абд ар-Рахман. Блистая стальными латами и посеребренным шлемом, молодой посол, загорелый до черноты, прищурил глаза, заслоняя их от солнца рукой.

— Я думаю...

— Теперь не время думать, — сухо прервал Бату-хан. — Теперь уже надо все точно знать.

С другой стороны приближался на толстокостом саврасом коне Субэдай-багатур. Натягивая поводья искалеченной рукой, старый полководец другой рукой потрепал по шее своего коня и сказал:

— Видишь, Саин-хан, мой старик не хочет пить этой морской воды. Но ведь это еще далеко не последнее море. Это только залив, где надеется от нас укрыться на кораблях убежавший от тебя мадьярский король Бела вместе с остатками его разбитого войска. Не старайся, предатель Бела! Тебе от нашего копья не скрыться!

— А кто тебе сказал, что на одном из этих кораблей король Бела?

— Захваченные пленные: они клянутся, что Бела и его свита на этих кораблях ждут попутного ветра.

— Я хочу сам говорить с пленными.

— Сейчас, мой повелитель, они будут здесь.

Субэдай повернул коня и хлестнул плетью. Саврасый засеменил обратно ровной иноходью.

Свита Бату-хана расположилась на склоне холма, перекидываясь шутками, и всматривалась вдаль. На бирюзовой поверхности моря, как стая белых лебедей, рассыпались бесчисленные корабли с повисшими от безветрия парусами. Солнце переливалось яркими блестками на едва колеблющейся морской глади.

В этой свите находились: болезненный сын Бату-хана Сартак, братья Орду и Берке, летописец Хаджи-Рахим и несколько темников. Слуги с запасными конями и навьюченными мулами растянулись вдоль дороги. Прибывали новые группы татарских всадников. Все жадно

стремились к заветному бирюзовому морю, на берегах которого ожидалась какая-то новая перемена, более счастливая пора в наступлении на «вечерние страны» и дележ новых захваченных богатств.

Послышались крики и вопли. Несколько татарских всадников гнали десятка два пленных. Они были избиты и ободраны до крайности. Все пленные были в овчинных безрукавках, расшитых цветными узорами, и широких шароварах, перехваченных у лодыжек ремнями. Длинные до плеч темные кудри растрепались во время борьбы. Руки, связанные за спиной, разодранные когда-то белые рубахи, на ногах кожаные пошевни — все носило следы отчаянной борьбы, и кровь продолжала сочиться из незакрытых ран.

Некоторые шли, спотыкаясь, видимо покорившись неминуемой гибели, другие продолжали упираться, и монголы, ругаясь, беспощадно хлестали их плетьми.

Позади ехал Субэдай и торопил воинов. А за великим полководцем следовал на сером, мышиного цвета, старом осле Дуда Праведный. Он усердно колотил пятками бока осла, стараясь ускорить его ленивый ход.

На берегу монголы выстроили пленных; половина из них сейчас же уселась на землю, угрюмо, как затравленные звери, озираясь по сторонам.

Бату-хан заметил прибывших пленных и направился к ним. Кто-то из монголов стал снова хлестать сидевших:

— Ты видишь, упрямая шкура, кто перед тобой на белом жеребце? Это повелитель мира.

Сидевшие извивались, стараясь уклониться от удара. Бату-хан остановил воина, подняв руку:

— Довольно!

— Кто вы, непокорные, осмелившиеся воевать с покорителем вселенной? — прохрипел Субэдай-багатур.

Тогда подъехавший рыжий Дуда доказал, что он действительно знает двадцать два языка различных народов вселенной. Он заговорил на непонятном наречии. Пленные сразу оживились. Сидевшие стали выкрикивать слова, похожие на проклятья.

— Амен! — прервал их Дуда и обратился к Субэдай-багатуру. — Эти люди из горного славянского племени. Они живут на вершинах гор в селениях, похожих на крепости, и, гордые, никогда живыми не сдаются в плен, а бьются до последнего издыхания.

— Как же вы захватили этих упрямцев? — спросил Бату-хан.

Один из сопровождавших ответил:

— Нам было приказано привести пленных. Мы на них набросили арканы и поволокли по камням, а потом связали.

— Спроси их, почему они сопротивляются, если их мало, а мое войско бесчисленно, как небесные тучи?

Дуда, соскочив с осла, снова заговорил с пленными.

Сперва пленные кричали все сразу, потом Дуда убедил их, чтобы отвечал кто-нибудь один. И статный юноша, с израненным опухшим лицом, слизывая кровь с разодранной губы, стал горячо что-то доказывать.

— Чего он хочет? — спросил Бату-хан.

— Это пастух из селения, что лежит вон там, высоко, на горном перевале. Там еще продолжаются бои и видны клубы дыма от горящих хижин. Он говорит, что живут они, распахивая клочки земли между скалами. Что они никому жить не мешают. Что они поселились далеко от большой дороги. Что кроме них, никто не умеет сеять ячмень и пшеницу на такой высоте над обрывами. Что у них нет другой родины и счастья, кроме этих горных скал и их бедных хижин.

— Скажи им, что я хвалю храбрых тружеников и позволю им жить свободно, если они покорятся и поцелуют копыто монгольского коня.

Дуда объяснил пленным слова монгольского владыки, выслушал их ответ, погладил задумчиво свою рыжую бороду и сказал:

— Они согласны поцеловать копыта твоего коня и будут верно служить тебе, но просят вернуть их детей. Твои воины захватили их и увезли в свой лагерь.

— Это хорошо! — сказал Бату-хан. — Из этих детей у нас вырастут опытные смелые воины. Субэдай-багатур, покажи мне чертеж земли. Я хочу понять, далеко ли город Тригестум?

— Сейчас покажу, великий! — сказал одноглазый полководец и, вложив пальцы левой руки в рот, свистнул так пронзительно, что, казалось, эхо отозвалось в горах. Это ответил издали его слуга, узнав свист хозяина. Вскоре, пробиваясь через ряды всадников, примчался старый монгол на свирепого вида игреневом коне, держа в поводу еще другого коня с вьючными сумами.

Он достал кожаный кошель и подал его Субэдай-багатуру. Тот вынул пергамент, на котором был нарисован грубый чертеж Мадьярского королевства и Адриатического побережья.

Пленных развязали; они еще с трудом двигали руками, затекшими после туго завязанных ремней. С кряхтением нагибаясь, они поочередно целовали копыта равнодушно стоявшего коня.

Бату-хан указал плетью вдаль:

— Как зовется селенье и крепость там, в тумане, на берегу?

Один из пленных стал объяснять:

— Это город Спалато. В нем оберегается дворец римского императора.

— Я хочу его увидеть. Будут ли еще города?

— Разные мелкие гавани и крепости. Затем будет один богатый город с гаванью, полной венецейских кораблей, Тригестум. Там в крепости живет важный начальник, и у него много воинов.

— А что будет еще дальше?

— Будет устье реки Падус, где лежит богатейший торговый город Венеция. И все эти корабли на море венецейских купцов.

— А во сколько дней из Венеции можно проехать дальше до столицы «вечерних стран» Рума?

— Простым людям теперь туда не доехать: всюду заставы. Там ожидают твоего нападения. Но ты же разрешения ни у кого не спросишь и проедешь в Рум во столько дней, во сколько пожелаешь.

— Много ли войска там собралось?

— Какое там войско! Никто не хочет воевать. Все убегают. Даже, говорят, сам император убежал из Рума на остров Сицилию.

— Не для чего срезать яблоко. Оно уже созрело и само упадет в твою ладонь! — воскликнул ненавидевший всех франков Абд ар-Рахман.

— Что прикажешь сделать с этими пленными горцами? — спросил Субэдай.

Бату-хан не ответил, и вдруг, против ожидания, провел пальцем черту сверху вниз, — этого жеста боялись все: им он осуждал на смерть.

Площадка, где происходил совет Бату-хана, опустела. Заостренные колья остались устрашением для других не-

удачников. Слуги убирали ковры, разложенные для совещания ханов.

Невдалеке, на склоне горы, среди кустов репейника, лежали упрямые пленные. Они лежали раскинувшись, как будто крепко спали. Но вместо лиц у них были черные окровавленные месива костей и сгустков крови. Когда горцы поняли, что будут убиты, они отчаянно стали бороться, сами набрасываясь на монголов, пока не пали в неравном бою.

Всем им поочередно раздробил головы суковатой тяжелой дубиной могучий монгол, придворный палач. Он и сейчас еще расхаживал близ убитых пленных и волочил за собой свое грозное оружие. Он ожидал, пока писарь арабского посла, рыжебородый Дуда, кончит затянувшийся разговор с последним из пленных, нищим монахом в оборванной старой рясе. Монах все время то кланялся, стараясь коснуться пальцами земли, то поднимал высоко над головой тонкий деревянный крест и быстро шептал молитвы, а ветер трепал его взъерошенную бороду.

Монгол свирепо хрипел.

— Мне приказал сам Бату-хан прикончить всех без исключения дерзких пленных. Разве можно ослушаться приказания Саин-хана?

Дуда, сняв с шеи медную овальную дощечку — пайцзу, потрясал ею перед лицом монгола:

— Всякое последующее приказание отменяет предыдущее!— твердил он.— Сейчас сюда подъедет великий аталык Субэдай-багатур, и он мне отдаст живьем этого пленного шамана. Он мне нужен для важного дела. Отойди!

— Пусть мне прикажет что хочет наш одноглазый Субэдай-багатур, а я все-таки его не послушаюсь, когда мне что-либо повелел сам Бату-хан,— жить ему и царствовать тысячу и один год!

— Сейчас посмотрим!— сказал Дуда, стараясь оттолкнуть монгола. Тот мрачно покосился и, подняв волочившуюся дубину, поставил ее перед собой.

Субэдай-багатур быстро приближался на чалом коне, густой хвост которого спускался до земли.

Дуда бросился к Субэдаю, крича:

— Великий, несравненный, остановись! Важное дело скажу я.

Субэдай натянул поводья. Конь, фыркая, остановился.

— Говори быстро и коротко!

— Отдай этого человека мне!

— Для чего?

— Он знает важное. Он обошел все земли «вечерних стран», видел всех королей и их войска. Он мне все расскажет, а я...

— Врет! — отрезал Субэдай, тронув коня.

— Я проверил. Он не врет!

— Тогда не трогать его! — обратился Субэдай к монголу, затем повернулся к Дуде: — А ты мне все напишешь, что он расскажет. Все! Быстро! Сегодня вечером! Отдай ему этого шамана! — свирепо прохрипел он палачу и хлестнул своего желтого жеребца плетью. Тот прыгнул вперед, а палач в испуге, закрывая голову руками, отбежал в сторону. и за ним волочилась, дребезжа, его суковатая дубина.

Глава пятая

КРОВАВАЯ РУКА

(Из «Путевой книги» Хаджи-Рахима)

«Произошло это таким образом. В месяце сафаре (марте) этого года один монгольский конный отряд появился перед небольшим городком, каких много на берегу Адриатического моря. Городские ворота были закрыты. Жители попрятались. Город казался вымершим.

В этом отряде находился сам Бату-хан вместе со своими ближайшими темниками. Погода предвещала бурю, и Саин-хан сказал, что хочет провести сутки в этом городке и там отдохнуть.

Слова джэхангира — это воля аллаха! Нукеры стали колотить камнями в старинные городские ворота. Какие-то испуганные люди показались на стене и тотчас скрылись.

Бату-хан приказал пустить зажигательные стрелы. Несколько больших дымящихся стрел полетели в город, где в одном месте повалил густой дым. На стене снова показались люди, по-видимому знатные горожане и монахи, которые размахивали крестами и что-то кричали.

После того как вновь пущенные стрелы вызвали еще один пожар, крики и вопли усилились, и ворота раскры-

лись. Оттуда вышла процессия в цветных богатых одеждах. Впереди два старика несли серебряное блюдо с угощением и бархатную подушку, на которой лежали большие ключи от города.

Саин-хан спросил:

— Кто правитель города?

— Вот он! — сказали все, указывая на старика в длинной синей одежде, расшитой золотыми цветами.

Правитель города обменялся взглядом со своими спутниками, и все опустились на колени и склонились до земли, а он положил подушку с ключами у ног Бату-хана.

— Как называется ваш город?

— Салоно! Спалато! Сплит!— ответили хором правитель и его спутники, продолжая стоять на коленях.

— Слишком много названий для такого маленького города!— мрачно заметил Субэдай-багатур.

— А это что за развалины?— спросил Саин-хан, указывая плетью на огромные каменные стены и полуразрушенные арки на соседнем холме.

— Это развалины дворца Диоклетиана[1].

— А кто такой был этот Диоклетиан?

— О!— сказал правитель города.— Это был самый могучий римский император. Он владел всей вселенной.

— Никогда не слыхал я о таком повелителе, который владел всей вселенной. Только Священный правитель владел ею, а до него еще был покорителем вселенной Искендер Великий, Двурогий. А вашего владыку вы сами придумали.

— Нет! Не сердись на нас, мы сказали истинную правду.

— Когда он жил?

— Это было очень давно. Тысячу лет назад. Тогда император Диоклетиан приказал построить себе дворец, вывезя из Египта, которым он владел, искусных мастеров.

— Зачем же он выбрал для дворца такое плохое место?

— Потому что он был родом отсюда, славянин из Диоклеи, и здесь же хотел закончить свою жизнь. Он разделил свою власть между тремя выбранными соправи-

[1] Диоклетиан — римский император; правил с 284 по 305 г. н. э.; умер в 313 г.

телями, а сам поселился здесь в великолепном дворце, отказавшись от управления империей и занимаясь только выращиванием капусты и других овощей в своем дворцовом саду. Только этими овощами он и питался.

— Почему же этот великолепный дворец в развалинах? Почему вы плохо смотрите за ним?

— Мы уже от дедов наших получили вместо удивительного дворца одни его развалины.

— Ничего другого вы и не заслуживаете.

Саин-хан пожелал осмотреть развалины. С несколькими спутниками он направился к ним, приказав мне, правителю города и второму вельможе тоже сопровождать его.

Развалины в значительной степени еще сохраняли общий вид дворца. Здание построено из громадных каменных плит. Каких трудов стоило рабочим доставить сюда эти глыбы! Здание скорее походило на крепость: квадратное, с высокими стенами, несколькими залами, с куполообразными потолками. Часть потолков рухнула, иные сохранились.

В одном зале мы нашли нечто вроде большого трона. Рядом находилось каменное изображение сказочного чудовища — спокойно лежащего льва с головой человека. Эта статуя, как нам сказали, была тоже привезена из Египта; называется она «сфинкс», считается божеством, и там, в Египте, все ему поклоняются.

Мы сошли с коней. Слуги разостлали ковер на возвышении, бывшем троне римского императора. Два костра запылали по обе стороны трона, на котором уселся Бату-хан.

Правитель города стал перед Бату-ханом на колени, держа блюдо с разнообразной едой. Сквозь отверстие рухнувшей крыши видны были несущиеся серые облака, предвещавшие бурю.

— Все это ты будешь есть сам! — сказал Бату-хан правителю города, указывая на блюдо,— и если после этого ты останешься жив, то я тебя помилую. Но если ты умрешь или заболеешь, то весь твой город будет сожжен.

Правитель города со своим спутником, дрожа от ужаса, отошли в сторону, сели на обломок колонны и стали торопливо есть принесенное угощение, запивая вином. Возле них стояли нукеры и наблюдали за ними, иногда подкалывая копьями.

Саин-хан сперва тоже наблюдал, потом приказал привести своего коня. Серебристо-белый Сэтэр был приведен двумя нукерами и остановился перед троном, позвякивая серебряной сбруей. В его черных блестящих глазах отражались огоньки костров.

Бату-хан достал из кожаного мешочка, заткнутого за пояс, кусок желтого сахару и дал коню. Затем, выхватив небольшой нож, сделал надрез на шелковистой белой шее коня, припал губами к ране и стал высасывать кровь. Конь забился, пытаясь вырваться и подняться на дыбы, но два нукера повисли на нем, вцепившись в уздечку и обхватив руками его голову.

Бату-хан напился конской крови; она вымазала ему лицо и стекала по белоснежной шее коня.

— Вот единственный напиток, пить который можно не опасаясь! Жив ли еще правитель города?

— Жив! Жив! — воскликнуло несколько голосов.

— Подождем до ночи. Если он не умрет, то его можно помиловать. А город я все же разрешаю моим воинам разграбить.

Бату-хан прижал ладонью сделанный им разрез на шее коня и свою окровавленную руку приложил к отшлифованной светлой стене позади трона. На стене отпечаталась рука Бату-хана с пятью расставленными пальцами.

— Это останется памятью обо мне и о моем посещении дворца когда-то великого владыки «вечерних стран». Но, вернувшись на берег Итиля, я не стану строить для себя дворец и не стану близ него сажать бесполезные овощи. Повелителю народов предначертаны более великие дела. И я предпочитаю умереть воином в седле во время похода».





Часть одиннадцатая

НАЧАЛО РАЗЛАДА

Глава первая

БАТУ-ХАН ПЕРЕД ТРИЕСТОМ

Конный отряд монголов быстро продвигался к северу вдоль каменистого берега лазурного Адриатического моря. Всадники растягивались цепочками по узким тропинкам, поднимаясь на отроги скалистых гор, выпирающих в море, как огромные лапы задремавшего чудовища. Неведомые воины в странных долгополых меховых одеяниях спускались в долины, где был старательно воз-

делан каждый клочок земли, и скакали прямо через посевы, увидев где-либо в стороне небольшой ручеек. Они поили коней и дальше опять взбирались на крутизны или спускались вниз, стремясь в неведомое будущее, все вперед и вперед, следуя точному приказу своего грозного повелителя.

Перейдя через один из скалистых отрогов, выдававшихся в море, всадники невольно остановились, пораженные тем, что увидели. Радостная, великолепная картина открылась перед ними. Внизу, как большое голубое блюдо, лежал морской залив. Его окружали гигантским амфитеатром уходящие во все стороны невысокие хребты, покрытые зеленеющими посевами, рощами и садами. Недалеко от берега на одиноком холме возвышались каменные стены небольшой крепости.

Повсюду по отлогим склонам гор виднелись селения, бесчисленные домики, простые хижины и каменные храмы с остроконечными колокольнями, укрывшиеся в густой зелени садов. Селения сменялись небольшими квадратами лугов и пашен, где трудились, как муравьи, неведомые люди. По дорогам тянулись вереницы повозок, запряженных волами, и пылили стада коров и овец и навьюченных ослов.

Голубые дымки поднимались к небу, спокойному, безоблачному, синему. Все говорило о благодатном крае, созданном многими поколениями тружеников среди природы, щедрой и радостной.

Горные хребты, как простертые руки, протянулись к голубому заливу, где в просторной гавани рябили разноцветные паруса множества кораблей.

— Вот перед тобой знаменитый, славный, богатый Тригестум. Какая красота! Какой богатый край! Это будет лучшая жемчужина в ожерелье завоеванных тобою городов. Не презирай его, не упусти из своих рук Тригестума: это сверкающий алмаз, какого у тебя еще не было. В этой огромной спокойной гавани могут поместиться тысячи кораблей.

Так говорил Абд ар-Рахман, блистающий серебряной отделкой стального панцыря и весь сияющий в утренних лучах поднявшегося над лесистыми хребтами южного пылающего солнца. Всадник горячился так же, как и его жеребец, плясавший, грызя удила, сдерживаемый сильной рукой опытного наездника.

— На что мне все это!— отвечал как бы нехотя Бату-хан. Он сидел спокойно на неподвижно застывшем серебристо-белом коне, не проявляя никакой радости.

— Как на что? Почему ты так равнодушен?— воскликнул Абд ар-Рахман.— Взгляни вниз, на это множество кораблей, стоящих у берега, как лебединая стая с уже поднятыми для взлета белыми крыльями. Они все готовы к бегству. Ужас перед твоим именем проносится, как ураганный вихрь, опережая твое непобедимое войско и сметая с твоего пути все трусливые народы. Тебе суждено завоевать весь мир. Все развращенные от лености и рабской покорности «вечерние страны» обречены пасть перед тобой. Но не отказывайся сам от того, что тебе завещано «потрясателем вселенной». Ведь, кроме тебе покорной суши, есть еще беспредельное море, омывающее со всех сторон вселенную. Ты должен подчинить себе также и это свободное, синее, как бирюза, море. Вот здесь, в этой великолепной гавани, ты можешь начать завоевание морей: захватить тысячу белопарусных кораблей; и они будут разносить по всем странам твою волю и взамен привозить для тебя богатства других народов. Ведь это лучшая гавань всего этого моря... Вот она здесь, перед тобой, и ждет только, чтобы ты протянул к ней свою властную могучую руку и привязал ее арканом к своему седлу.

Бронзово-смуглый монгольский повелитель в легком шлеме, на этот раз украшенном пучком черных орлиных перьев, спокойно повернулся. Его взгляд как будто искал кого-то среди безмолвно ожидавшей свиты и, наконец, остановился на одном всаднике:

— Иесун-Нохай! Разрешаем приблизиться.

Молодой всадник с дерзким и веселым лицом легким прыжком коня оказался перед говорившим.

— Тебе нравится этот город, эта гавань с кораблями и эти бесчисленные сады? Абд ар-Рахман расхваливает все это, называя сказочной страной, лучше которой нет.

— Пока эта страна полна наших врагов, она мне противнее, чем логовище мангусов или визгливых шакалов. Но ты ее покоришь и двинешься дальше, обратив всех жителей в своих рабов. Тогда я полюблю также ее.

— Сегодня вечером я созываю военный совет: надо обсудить, что нам делать завтра и послезавтра.

Глава вторая

ПЕСНЯ УЛИГЕРЧИ

Всегда озабоченный Субэдай-багатур сказал:

— Надо вперед выслать разведчиков. Пусть выяснят, много ли войска в Тригестуме? Однако разве подобает тебе, Саин-хан, нашему владыке, самому с горстью всадников идти в такую опасную разведку? Наверное, там поджидает нашего вторжения сам кайсар[1] Фредерикус. Эти мангусы, должно быть, собрали там огромное войско, скрывающееся за холмами, и подготовились к решительной битве, в которой надеются в один день разгромить и уничтожить твои, до сих пор непобедимые тысячи тысяч воинов. Ведь если германские, италийские и франкские полководцы еще не сделали этого и не подготовились к битве,— они ишаки и безмозглые бараны... Конечно, они уже спешно сделали все, что нужно: призвали на войну всех, кто способен держать меч и копье и метать стрелы. Клянусь вечно синим небом, что где-то впереди нас, наверное, уже собрано огромное войско и оно набросится на нас, когда мы войдем в город, беспечно радуясь воображаемой победе. Ведь не безумцы же они, чтобы, разинув рты, поджидать нас и не готовиться к решительной схватке?

Все темники молчали или поддакивали, привыкнув к мудрости, осторожности и далекому предвидению опытного старого Субэдай-багатура.

Только молодой хан Нохай, как обычно, начал спорить и предлагать неожиданные советы, вызывающие общее удивление и даже веселье:

— Все, что сказал сейчас прославленный Субэдай-багатур, правильно и ясно. Не мне указывать что-либо почитаемому всеми нами великому аталыку. Но я прошу как милости разрешить мне испробовать такую мою дерзость: приказать мне с сотней или даже только с десятком моих «буйных» отчаянных головорезов примчаться прямо в Тригестум. И я сейчас вам расскажу, что мы там увидим и как нас там встретят.

— Ну расскажи, а мы послушаем и сделаем, как признаем нужным!— сказал Бату-хан, приподняв правую бровь.

---

[1] Кайсар — переделанное «кесарь», «цезарь», то есть император.

— Мы не станем осторожно разведывать и спрашивать что-либо у жителей: сколько войска в Тригестуме и кто их начальник? Нет, мы ворвемся в город с диким гиканьем, размахивая мечами и крича: «Сдавайтесь! Сам великий завоеватель вселенной, грозный Бату-хан подходит к вашему городу! Расстилайте ковры, ставьте угощение и вино,— сегодня будет наш общий праздник!»

Все темники переглянулись, сдерживая улыбки.

Нохай взглянул на Бату-хана. Тот смотрел вдаль, на широкое море, где тихо стали подвигаться бесчисленные корабли и от порыва налетевшего ветра то полоскались, то раздувались паруса.

Хан Менгу спросил:

— Если ты знаешь, что произойдет в Тригестуме, то, может быть, ты нам расскажешь, готовятся ли его жители к защите города?

— О нет! Жители забирают семьи и более ценные вещи и убегают из города, надеясь укрыться в лесах. На площади собираются богачи и вельможи, все разряженные, в сверкающих латах с петушиными перьями на шлемах и, звеня золотыми колючками на каблуках, хвастают, топорщатся, а сами галдят, как гуси. Они кричат, что их бог недопустит вторжения монгольских орд. Ведь у каждого вельможи имеется полтора-два десятка нарядных воинов, отлично вооруженных. А все они ссорятся и до сих пор не сумели соединиться в одно сильное войско, так как не сговорились, кого выбрать главным начальником,— каждый у них хочет быть главным.

— А как они тебя встретят, хан Нохай? Тоже приготовят угощение?

— Нет! Услышав о нашем приближении, все военачальники умчатся в свои каменные замки и запрутся там, надеясь, что не сумеем проломать их зубчатые стены.

Что же молчит Бату-хан? Все ожидали его решения. Казалось несомненным, что после слов Нохая Саин-хан прикажет немедленно двинуться на Тригестум всему своему войску. Но он ни на кого не смотрел, и по лицу его иногда пробегала тень, точно он был чем-то недоволен.

Наконец Бату-хан сказал:

— Слова отчаянного Иесун-Нохая согрели мое сердце. Он и не мог сказать по-иному. Но главная наша задача состоит не только в том, чтобы брать город за городом, а в том, чтобы прочно укрепить великое Монгольское цар-

ство, которое уже необычайно широко раздвинуло свои границы и будет опираться на два крайних моря: на море китатов, откуда солнце ежедневно встает и расправляет крылья, и на «последнее море», где солнце ежедневно расплавляется и тает. Как же нам поступить сейчас? От моего повеления зависит весь дальнейший успех нашего похода. Перед каждой решительной битвой нужно предположить, что противник очень умен и сделает самое важное и полезное, чтобы добиться победы.

Все молча переглядывались.

— Думая так, мы должны действовать с крайней осторожностью, подходя к Тригестуму,— продолжал Бату.— И я еще подожду немного: прежде всего мне важно узнать волю неба. Пусть всеведущие шаманы прибегут сюда, помолятся и мне объявят волю бога войны Сульдэ и других богов небожителей.

— Ты можешь услышать сейчас камлание[1] нашего лучшего, опытнейшего шамана,— сказал Субэдай-багатур.— Он приехал с нашей далекой родины, с Хангайских гор, и уже находится совсем близко, в моем обозе. Я пошлю нукера за ним, и еще сегодня вечером при свете костров он будет молиться и петь перед тобою наши родные степные песни.

Вечером в просторной пещере под нависшей скалой был разведен костер. Монгольские ханы расположились вдоль стен. Простые воины оставались снаружи близ коней.

Начиналась буря. Вспышки молний и раскаты грома следовали не переставая. При каждой вспышке на мгновенье освещалась внутренность пещеры, и ясно видны были монголы, тесно прижавшиеся друг к другу.

Ни о каком движении вперед в ближайший день нельзя было и думать: потоки воды стремительно скатывались с гор, набухали в ущельях, сдвигали огромные камни. В такое время все монголы старались укрыться под защитой скал и завидовали счастливцам, собравшимся возле Бату-хана в пещере.

Вошедший тургауд доложил, что он привез знаменитого улигерчи — певца монгольских воинских былин Буру-Джихура, который хочет передать великому Саин-хану

[1] Камлание — совершение шаманского обряда.

привет от всех степных родичей джэхангира. Тот милостиво сказал:

— Пускай он нам споет, пока буря свирепствует, а на рассвете, быть может, она утихнет, и мы двинемся дальше.

Нукер подбросил в костер охапку бурьяна. Отсыревшие ветки трещали и плохо горели. Густой дым стлался над головами сидящих и медленно выплывал наружу.

— Вот он!— зашептали все.— Вот улигерчи и шаман Буру-Джихур!

В пещеру вошел монгол в промокшей одежде, старый, с двумя длинными седыми прядями волос, падавшими с висков на плечи. Он держал в руках плоский кожаный мешок со струнным инструментом, а тургауд тащил на плече его переметные сумы.

Сидевшие раздвинулись, и Буру-Джихур грузно втиснулся между ними. Из-под нависших мохнатых бровей смотрели точно всегда удивленные и ласковые глаза, казавшиеся особенно светлыми на темно-бронзовом лице с клочками седых волос.

Он вытащил из мешка инструмент, и его крючковатые пальцы быстро забегали по струнам, наполняя пещеру красивыми переливами стонущих звуков. Он стал оглядываться, осматривая поочередно всех сидящих, и его внимание привлек один. Он отличался от других уверенным взглядом и тем, что над его шлемом поднимался пучок длинных черных орлиных перьев. Улигерчи посмотрел вопросительно на окружающих, потом на монгола с перьями, и все сидевшие утвердительно закивали головами. Буру-Джихур старческим, немного сиплым, но задушевным голосом затянул длинную ноту. Эта нота дрожала, то повышаясь, то понижаясь, а певец, не переводя дыхания, все тянул, и слушатели удивлялись, откуда у него такая сила и столько воздуха в груди. Наконец, он со стоном оборвал ее. Тогда монгол с перьями спросил, не резким голосом приказания, а слегка нараспев, как обычно певцы рассказывают сказки про подвиги багатуров:

— Скажи нам, почтенный гость, дивный седовласый улигерчи, где твоя далекая родина? Как твое славное имя? В ком тебе нужда, к кому далекие, чужедальние помыслы? Говори все и, не утаивая, рассказывай.

Улигерчи снова запел, так же тягуче, под переборы струн.

— Здравствуй, милое дитя мое! Узнаю тебя по могучим плечам, по широким твоим крыльям. Ты отрада всех людей! Ты черно-пегий барс, бродящий с грозным рыканьем по хребтам черной горы Хангай! Ты сердце всего народа, дорогой сын мой! Ты одинокий сивый коршун, с клекотом носящийся над вершиной горы! Твоя прекрасная держава ханская окрепла, как яшмовая скала. Все твои многочисленные подданные начали наслаждаться высшим счастьем. Буду и я к тебе приезжать в год три раза.

— Приезжай и каждый раз пой нам песню о том, как живет великий монгольский народ, какие у него скорби, какие радости!

Старик певец ответил:

— Какие у нас могут быть радости? Нельзя наслаждаться, когда над нами навис злобствующий враг-неприятель. Нельзя наслаждаться, когда рядом поднимаются зловредные препятствия. Все беспокоятся, как ты справишься с врагом? Тут вот, на заход солнца, живут, говорят, злобные мангусы. Изобильны они всем, а видом отвратительны. Отправился ты овладеть их стадами и табунами и народом — подданными. Про тебя ведь в старинных сказаньях говорится, что предстоит тебе завладеть семьюдесятью восемью странами...

— Семьдесят восемь стран! Верно! Мне надо захватить столько стран!— сказал воин с орлиными перьями на шлеме.

— На радость — радость, на охоту — охота!— воскликнули хором сидевшие обычное монгольское приветствие. — Ты рожден, чтобы содрогнулись твои проворные беспокойные враги! Настала пора, когда прекрасные владения иноземных королей станут рукавицей славного багатура, его заседельными переметными сумами...

Весь вечер улигерчи Буру-Джихур пел песни-былины про широкие просторы монгольских степей, где пасутся бесчисленные дикие куланы, легкие и быстрые, как ветер, или табуны прекрасных монгольских коней, про густые леса Хангая, про Саяны, полные дивных ценных зверей. Он воспевал подвиги монгольских багатуров Бум-Эрдени, Шарха-Бодена и Дайна-Кюрюля, которые не боялись врагов и покоряли самых страшных чудовищ...

Все слушавшие покачивали головами, тяжело вздыхали и нараспев повторяли со стоном:

— О наша далекая прекрасная родина! О голубой Керулен, золотой Онон! Чужая сторона трудна, все чужие люди заносчивы! В чужой стороне береги верного богатырского коня: он тебе и счастье-богатство принесет, он из беды выручит и домой невредимым доставит!

Глава третья

ВЕСТНИК ИЗДАЛЕКА

К утру следующего дня буря утихла. Последние потоки воды еще бежали по скатам. Небо было ясное, синее.

Субэдай-багатур медленно проезжал береговой тропой, время от времени взглядывая на небо: не появятся ли снова грозовые тучи?

— Смотрите, смотрите! Ведь это беркуты!— заревел он, указывая плетью на небо.— Может быть, наши? Скорей, Долибхо, беги в обоз и приведи сюда обоих орлятников с орлицами. Да чтобы не упустили они их! Если орлы улетят,— могут не вернуться.

Субэдай ускакал, но вскоре возвратился обратно со своим старым слугой Саклабом, который прибежал за ним, держа в руках освежеванную тушу барана. Великий аталык остановился и всматривался в небо, синее, просторное, спокойное. Там высоко, так высоко, что они казались двумя черными лоскутками, парили два орла. Они кружились, налетали друг на друга, сцеплялись, падали камнем вниз, снова разлетались и опять реяли в воздухе, чертя большие круги.

Седобородый Саклаб растянул баранью тушу на большом плоском камне, подложив под нее черную шкуру. Ножом, висевшим на поясе, он быстро рассекал тушу на мелкие части.

Вдруг над старым Саклабом точно пронеслась буря. С неба стремительно камнем свалился огромный желто-бурый орел, прямо на развороченного барана, схватил большой кусок мяса и скачками бросился в сторону, размахивая широкими крыльями и подпрыгивая, намереваясь снова взлететь. На него набросились со всех сторон находившиеся поблизости монгольские воины.

Орел, видимо, был охотничий, прирученный. Он перестал биться. Монголы перенесли его на тушу, где, вцепив-

шись в мясо, орел начал когтями и клювом выдирать куски.

— Есть! Есть!— закричал один из монголов, обнявший орла за шею. Он отцепил кожаный мешочек величиной в ладонь, укрепленный под крылом, и поднес, согнувшись, Субэдай-багатуру. Тот, не смотря, сунул мешочек за пазуху и затем, хлестнув плетью коня, умчался.

Глава четвертая
ПОСЛЕДНИЙ ВОЕННЫЙ СОВЕТ

(Из «Путевой книги» Хаджи-Рахима)

«Дай мне силы, о мудрейший и всеведущий, чтобы я мог правдиво описать это тайное совещание, на котором решался вопрос: быть или не быть «вечерним странам» в монгольском кулаке? Броситься ли вперед на толпу бледнолицых сынов «вечерних стран», или осторожно и обдуманно повернуть коней назад, чтобы временно затаиться в кыпчакских степях, отдыхая и накапливая силы, а затем снова прыгнуть вперед, когда сверкающий в небе неизменный покровитель монгольских племен протянет руку в сторону заката солнца и крикнет:

— Туда! Начинайте!

На совещании были только чингизиды (кроме самовольно ускакавшего Гуюка) и некоторые начальники отрядов. Из молодых присутствовал ставший любимцем Бату-хана всегда веселый шутник, дерзкий тысячник Иесун-Нохай и, конечно, неизменный советник Субэдай-багатур.

Соединив концы пальцев и опустив глаза вниз, мы все долго сидели молча, ожидая первого слова или приказа нашего повелителя. Наконец Бату-хан прервал молчание:

— Вестники не обманули нас. Орел-гонец принес второе послание, важное, которое во мне вызвало тревогу. Наверное, и вы тоже задумаетесь, что́ это послание должно означать и как нам поступить.

Все сидевшие зашевелились:

— Поведай нам, Саин-хан, что случилось?

— Вы знаете, что я уже давно отправил в холодные снежные земли далекого русского Новгорода моего верного темника Арапшу, приказав ему зорко наблюдать за каждым шагом беспокойного коназа Искендера. Сегодня с одного из ближайших наших постов я получил извещение, что Арапша возвращается и скоро будет здесь. Он сообщает также, что только что Искендер одержал блестящую победу над врагами, которые вторглись в его землю, и что его войско в этой битве только окрепло.

— Ясно одно,— мрачно сказал Субэдай,— этот Искендер становится опасным!

— Почему? Ведь он находится так далеко от нас.

— Объясни им, чем стал опасен Искендер, коназ ресов,— сказал Бату-хан, и его черные узкие глаза пытливо посмотрели на каждого из сидевших.

Если вы этого не понимаете и если приказывает наш Саин-хан, то я вам объясню!— медленно заговорил Субэдай, ни на кого не глядя.

Воцарилась такая тишина, что явственно доносилось журчание струйки воды, стекавшей со скалы.

Субэдай продолжал:

— Мы находимся на расстоянии двухмесячного пути от ставки Бату-хана в низовьях Итиля и на расстоянии многих месяцев пути на сменных конях от главной столицы всех монголов Кара-Корума...— Субэдай поднял над головой руки и склонился до земли в знак горестного воспоминания о кончине великого кагана.— Нам нужно сохранить безопасным и неприкосновенным этот наш великий путь, помня, что это путь не только Священного правителя, впервые его проложившего через беспредельные пустыни Гоби и Кызыл-Кумов, но что только по этому пути к нам прибывают и будут прибывать для нашей поддержки новые отряды родных и единственно всегда нам верных монголов, непобедимых багатуров.

— О, как это верно!— простонал кто-то.

— Кто сейчас наши самые главные противники?— продолжал Субэдай.— Кто сможет перерезать этот путь, эту жилу, связывающую нас с родным Монгольским царством? Не император ли Фредерикус? Нет! Этот император — теперь соломенное чучело, которым германцы

и франки не смогут испугать даже тех облезлых собак, что бегают вокруг наших монгольских лагерей.

— Зерно, верно!— воскликнули темники.

— И куда только он запрятался, этот прославленный император?

— Куда запрятался? Туда, откуда легче всего убежать!— презрительно усмехнулся Иесун-Нохай.

— Правдоподобно! Но теперь нам опасны все же два человека. На юге Абескунского моря, в Тавризе, стал что-то готовить наш опасный враг, чингизид, хан Хулагу. Он ненавидит нашего владыку Саин-хана, завидует ему и собирает войско, чтобы напасть на нас и захватить Кечи-Сарай. Рано или поздно нам все же придется с ним биться и его разгромить.

— С Хулагу мы справимся!— раздались голоса.

— Кто же второй противник? Объясни нам, славный и премудрый Субэдай-багатур.

— Вы сами должны догадаться. Барс не опасен, пока он мал и сосет матку. Но с молоком он всасывает новые силы, у него растут зубы, и он становится грозен, когда выходит, могучий и вольный, на вершины Ханганских хребтов. Так и теперь...

Субэдай замолк. Все затаили дыхание, стараясь не пропустить ни одного слова. Великий аталык вынул из-за пазухи небольшой кожаный мешочек с висящими на концах узкими ремешками.

— Передай Хаджи-Рахиму!— приказал Бату-хан.— Пусть он нам прочтет! Это весть от Арапши, принесенная орлом-письмоносцем. Этого орла я оставил на одном из военных постов, а здесь сберегалась его орлица. Сам Арапша спешит сюда вслед за ним.

Я осторожно вскрыл мешочек и вынул сложенный в несколько раз кусок тонкого пергамента. Разгладив на колене исписанный лоскуток, я сперва прочел про себя все, что там было написано, потом поднял глаза на Саин-хана.

— Читай! — приказал он.

Я начал медленно разбирать мелко написанные строки, и руки у меня дрожали.

— Пишет Арапша Бесстрашный... «Великому хранителю грозного меча Священного правителя, могучему владыке земель небесной Синей Орды и завоевателю «вечерних стран» шлет срочное донесение его верный

тургауд и желает благополучной и победоносной жизни еще тысячу и один год...»

— Дальше! Дальше!

— «Доношу тебе, что германские всадники, согнав множество земледельцев из покоренного ими населения, живших в лесах, встретились с войском коназа Искендера Новгородского на льду большого озера. Со своей привычной дерзостью коназ Искендер сразился с германцами...»

— Дальше! Дальше! Кто кого побил? — воскликнули монгольские ханы.

— Сейчас прочту. Здесь неразборчиво написано. Вот понял: «Искендер разбил германцев и погнал их, как баранов...»

— Ай да смелый багатур! — воскликнули со смехом сидевшие монголы, но все замолкли, заметив, что Бату-хан опустил глаза и нахмурился, как будто в гневе.

— Что еще написал Арапша? — спросил он.

— Он пишет: «Теперь коназ Искендер Новгородский имеет испытанное войско, полное веры в свои силы, готовое к любому походу, и русы начинают говорить, что Искендер задумал освободить все русские земли. Вслед за этим крылатым вестником я еду сам и лично расскажу все, что видел».

Бату-хан заговорил быстро, с яростным гневом, облизывая пересохшие губы:

— Я хочу видеть этого Искендера. Надо его вызвать немедленно сюда, к моему шатру, и тут я решу, что с ним сделать.

— А если Искендер откажется приехать? — спросил хан Менгу.

— Тогда я двину мои отряды на Новгород, и никакие морозы, или болота, или разливы рек уже не удержат моего войска. Я обращу всю северную русскую землю в мертвую равнину, такую же, как теперь окрестности Кыюва и многих других городов.

Все переглянулись. У всех явилась одна и та же тревожная мысль. Нохай, самый невоздержанный, бросил несколько слов:

— А как же Тригестум? Неужели...

Бату-хан понял, что́ всех беспокоило, и сказал:

— Осторожность так же нужна полководцу, как ему нужна смелость и дерзость. Да, теперь я полагаю, что

наиболее осторожным будет повернуть мое войско обратно в кыпчакские степи для отдыха коней и, главное,— для охраны моей ставки Кечи-Сарая... и затем для подготовки к новому походу...

— Не делай этого! — воскликнул Иесун-Нохай и бросился на колени перед Бату-ханом. — Не делай! Это будет роковая непоправимая ошибка!

— Молю, не поворачивай обратно коней! — поддержал Нохая арабский посол Абд ар-Рахман. — Прикажи войску немедленно двинуться вперед. Через день ты овладеешь Тригестумом. Через семь дней твой передовой отряд ворвется в Венецию, а через месяц в твоих руках будет великая столица Рум, а с нею — владычество над всей вселенной!

— Не надо колебаться! Вперед, иди вперед до «последнего моря», как завещал нам Священный правитель!— сверкая единственным глазом, заревел Субэдай-багатур.

Бату-хан погладил по щеке Иесун-Нохая и указал рукой, чтобы он сел на свое место. Затем обратился к Субэдай-багатуру:

— Мой мудрый учитель, как ты думаешь: не захочет ли всегда беспокойный Искендер теперь, когда у него сохранилось целым все его войско, а я нахожусь так далеко, — двинуться в мою ставку Кечи-Сарай, чтобы захватить ее и отрезать мне путь возвращения в нашу далекую родину? Но только не говори мне сладких речей утешения, а скажи самую горестную правду, все, что подсказывает твое верное сердце.

— Я буду говорить с тобой как с внуком Священного правителя и скажу то, что думаю. У Искендера Новгородского сейчас войско непобедимое потому, что оно верит ему и в его новые победы. И если он поведет это войско, русы пойдут за ним куда угодно, даже в подземное царство огненных мангусов. Коназ Искендер может появиться в твоей ставке Кечи-Сарае раньше, чем ты туда успеешь вернуться, даже если бы ты этого захотел. Часть его войска приплывет на плотах и ладьях, а всадники примчатся берегом великой реки Итиль. В Кечи-Сарае Искендер захватит все, что захочет: теперь коннице передвигаться легко, всюду корму для коней много...

Бату-хан смял в руках шелковый платок и с треском

разорвал его. Он опустил голову и, не глядя ни на кого, тихо сказал:

— Скажи еще, мой мудрый учитель, что ты думаешь: двинется ли Искендер на Кечи-Сарай, или не двинется?

Субэдай-багатур без колебаний ответил:

— Все же я твердо уверен, что Искендер этого не сделает, а останется на севере.

— Почему?

— Потому что, во-первых, ты рожден под счастливой звездой и удача всегда тебе сопутствует. А во-вторых, я помню завещание Священного правителя, а он никогда не ошибался. Это завещание я слышал своими ушами из уст его: «Монгольское войско должно пройти до «последнего моря», и оно легко пройдет этот путь под покровительством бога войны Сульдэ, всюду водворяя ясу Священного правителя... И сегодня я предвижу ясно, что ты шутя возьмешь и Тригестум, и Венецию, и столицу италийцев Рум, а короли и бароны «вечерних стран» прискачут, обгоняя друг друга, чтобы тебе поклясться в верности и вымолить у тебя пригоршню твоих милостей. И я тебе твердо советую еще раз: не отказывайся от своего счастливо задуманного дальнейшего похода на «вечерние страны». Продолжай его. Покори и разгроми эти проклятые страны германцев и франков. Уже так много сделано. Не останавливайся! Прикажи завтра же двинуться вперед!

— А я приказываю завтра же повернуть коней обратно в Кечи-Сарай! — властно сказал Бату-хан.

— Я не пойду с тобой! Теперь наши пути расходятся! — прохрипел Субэдай.

С изумлением все посмотрели на владыку монголов. До сих пор Саин-хан и Субэдай-багатур были всегда одна мысль и одна воля. Что разъединило их?

Бату-хан вскочил. Его руки дрожали. Он кричал:

— Ты ли, мой воспитатель, говоришь это? Ты ли, мой великий аталык, смеешь отказаться выполнить мою волю? Ты должен поддержать мое решение и похвалить мою осторожность. Нам нужно сберечь то великое, что уже создано мною: царство Синей небесной Орды. Ведь если и ты будешь осуждать меня, я не остановлюсь ни перед чем: я прикажу казнить даже тебя...

— Казни и меня заодно!— воскликнул Иесун-Нохай. — Я с тобой не останусь, если ты повернешь коней

обратно. Перед тобой гораздо более великое будущее, чем Синяя Орда и Кечи-Сарай, запрятавшийся в камышах Итиля. Отпусти меня с моей тысячей «буйных»! Болгарский царь уже звал меня к себе на службу, чтобы захватить Рум-Византию, древнюю столицу греческих царей. Но не он, а ты, великий Саин-хан, должен овладеть Византией. Отпусти меня!

И я отправляюсь с тобою, храбрый Иесун-Нохай,— прохрипел Субэдай-багатур. Он со злобой тряс головой и ударял себя в грудь. — У меня за пазухой здесь приказ более высокого правителя, чем ты, которому я должен повиноваться. Да! Да! Это приказ твоего деда — величайшего полководца вселенной, выжженный в моем сердце. От него это завещание! И там сказано: «Мы должны идти вперед, все вперед, пока не дойдем до «последнего моря». И там мы должны омыть волной копыта монгольского коня. А все покоренные страны получат законы ясы. Так нас учил мудрейший, и храбрейший, и единственный. И ты, внук его, не смеешь не выполнить его воли, непобедимый Саин-хан!

— Послушайся Субэдай-багатура! —горячо стал умолять Иесун-Нохай. — «Вечерние страны» уже лежат перед тобой, готовые лизать твои ноги, и покорно виляют облезлыми хвостами. Ты уже преодолел самое трудное: разгромил русов и их столицу Кыюв. Ведь такого бешеного сопротивления, какое оказали его жители, тебе больше никто никогда не оказывал и не окажет. Помнишь ли ты, сколько мы потеряли при взятии Кыюва наших неодолимых багатуров? А теперь ты хочешь повернуть обратно? Не делай этого! Ты пожалеешь потом. Перед тобой открываются новые победы: как же ты можешь отвернуться от них? До конца твоей жизни ты будешь жалеть о твоем решении, тысячу лет затем твои потомки станут упрекать тебя, что ты не выполнил завета Священного правителя. А все хвастуны бароны и герцоги «вечерних стран» теперь будут еще хвалиться, что мы испугались их петушиных перьев на шлемах, что мы были повсюду разбиты в разных выдуманных ими местах и что мы, несравненные, непобедимые багатуры Священного правителя, пешком, без коней, как побитые собаки, поплетемся обратно в свои далекие степи.

— Они не посмеют этого сказать!

— Но они уже говорят!

— Довольно! Молчать! — закричал Бату-хан. — Эй, тургауды! Сюда, ко мне!

Два монгольских воина вбежали и остановились, положив ладони на рукоятки мечей.

— Внимание и повиновение! — крикнули они.

Бату-хан, дрожа от гнева, хрипел, указывая на Иесун-Нохая:

— Взять его! Переломить ему хребет и выбросить на съедение собакам!

Тургауды заколебались и отступили.

— Что я вам приказал? Возьмите этого дерзкого преступника Иесун-Нохая и казните его по древнему обычаю, по велению наших законов, переломив ему спину.

Оба тургауда нерешительно подошли к Иесун-Нохаю и стали вязать ему руки, закручивая их за спину. Все сидевшие на коленях подползли к Бату-хану и стали уговаривать его простить виновного.

Бату-хан, отталкивая встречных, быстро вышел наружу и вскочил на подведенного коня. За ним тургауды повели связанного Нохая. Он шел смело, с гордо поднятой головой, и воскликнул:

— Мне суждено умереть. Но я не боюсь смерти. В каждом бою я ждал встречи с ней. Но я молю тебя, Саин-хан, об одном, пока мне еще не переломили спину: позволь мне на прощанье спеть перед боевыми товарищами последнюю предсмертную песню[1] монгольского воина...

— Разрешаю! Пой! — сказал Бату-хан, сдерживая плясавшего белого жеребца. Лицо Бату-хана передергивалось гримасами бешенства.

— Эй, старый улигерчи Джихур! — крикнул Нохай.— Подойди сюда, сядь и подыгрывай мне на хуре согласно нашим степным законам-обычаям!

Старый улигерчи приковылял, опустился на землю, вынул из мешка хур и, держа его перед собой на ремне, перекинутом через шею, быстро стал перебирать крючковатыми пальцами. Все бывшие у Бату-хана чингизиды и темники окружили певца и опустились на землю.

---

[1] У монголов и китайцев существует древний обычай, по которому осужденный на смерть идет к месту казни с песней, в которой воспевает свои подвиги.

Иесун-Ногай запел:

О небо синее, услышь мой вопль-молитву,
Монгола-воина с железным сердцем!
Я привязал всю жизнь свою к острому мечу и гибкому копью
И бросился в суровые походы, как голодный барс.
Молю: не дай мне смерти слабым стариком
Под вопли жен и вой святых шаманов!
Не дай мне смерти нищим под кустом
В степи под перезвон бредущих караванов!
А дай мне вновь услышать радостный призыв к войне!
Дай счастье броситься в толпе других отважных
На родины моей защиту от врагов,
Вновь совершить суровые походы!
Очнись же, задремавший багатур, скорей седлай коня!
На шею гибкую надень серебряный ошейник!
Не заржавел ли меч? Остра ли сталь копья?
Спеши туда, где лагерь боевой
Кишит, как раздраженный муравейник!
Пылят по всем дорогам конные полки,
Плывут над ними бунчуки могучих грозных ханов.
Разбужены все сиплым воем боевой трубы,
Повсюду гул и треск веселых барабанов!
О небо синее, дай умереть мне в яростном бою,
Пронзенным стрелами, с пробитой головою,
На землю черную упасть на всем скаку
И видеть тысячи копыт, мелькнувших надо мною!
Когда же пронесутся, прыгая через меня, лихие кони
И раздробят копытами мое израненное тело,
А верные друзья умчатся вдаль, гоня трусливого врага,
Я с радостью услышу, умирая, их затихающие крики.
Затем мои товарищи вернутся и проедут шагом,
Отыскивая на равнине боя тела батыров павших.
Они найдут меня, уже растерзанного в клочья,
И не узнают моего всегда задорного лица.
Но они узнают мою руку, даже в смерти сжимающую меч,
И бережно подымут окровавленные клочья тела,
Их на скрещенных копьях отнесут
И сложат на костер последний, погребальный.
Туда же приведут моего верного друга в походах
Пятнистого, как барс, бесстрашного коня
И в сердце поразят его моим стальным мечом,
Чтоб кровью нас связать в загробной жизни.
А джэхангир, сойдя с коня, молочно-белого Сэтэра,
Сам подожжет костер наш боевой
И крикнет павшим: «Баатр дзориггей! Бай-уралла!
Прощайте, храбрецы, до встречи в мире теней!»
Тогда в свирепом вихре пламени и дыма,
Подхваченные огненным ревущим ураганом,
Как соколы, взовьются из костра все тени багатуров
И улетят в заоблачное царство.

Бату-хан несколько раз закрывал рукавом глаза. Он медленно сошел с коня и приблизился к Иесун-Нохаю.

Он выхватил из-за пояса нож с костяной ручкой, сам быстро перерезал веревки, которыми тургауды связали Иесун-Нохая. Он погладил его по лицу ладонью.

— Ты растопил, как масло, мое сердце! Ты истинный дивный воин! Тебе суждены великие победы, и смерть будет убегать от тебя! Я забыл все твои дерзкие слова. Говори: какая будет твоя просьба, какая забота?

Нохай, бледный, с закрытыми глазами, прошептал:

— Если ты все же не пойдешь вперед, на «вечерние страны», а повернешь коней обратно в степи, —разреши мне уйти с туменом «буйных» к болгарскому царю. Я обещаю тебе или убить его, или сделать твоим верным слугой-союзником. И мы покорим для тебя Рум-Византию, чтобы она стала морскими воротами твоего великого царства небесной Синей Орды.

— Разрешаю! — сказал Бату-хан.

— Тогда разреши и мне уехать с Иесун-Нохаем! — мрачно прохрипел Субэдай-багатур. — Может быть, мы с ним еще дойдем до «последнего моря». Я привык к боевым походам и не хочу в Кечи-Сарае лежать на ковре и вздыхать, вспоминая прошлую боевую жизнь.

Бату-хан остановился, недоверчиво взглянул на своего старого воспитателя и сердито сказал:

— Мои крылья достаточно выросли и окрепли, и я смогу летать без твоей помощи. Разрешаю и тебе меня покинуть.

Бату-хан направился к коню и вдруг повернулся к Субэдай-багатуру, стоявшему с поникшей головой, старому и как-то сразу одряхлевшему. Их взгляды встретились. Они ждали несколько мгновений, потом оба бросились навстречу и обнялись, положив головы на плечо друг другу».

С этого дня сотнями горных тропинок монгольское войско двинулось обратно на восток, чтобы вернуться в Дешт-и Кыпчак, в низвья реки Итиль.

Субэдай-багатур, угрюмый и нелюдимый, ехал в своей железной повозке и очень редко выходил из нее. Вскоре он должен был расстаться с Бату-ханом и со своими старыми верными соратниками.

Позади остались встревоженные, перепуганные «вечерние страны», где долгое время после ухода монголов не мог установиться мирный порядок, но где все же при-

дворные певцы воспевали выдуманные подвиги своих королей, герцогов и баронов, вернувшихся в свои замки.

О тысячах же безыменных героев, которые полегли на равнинах Европы, мужественно защищая свои родные земли, никто из них не пел.





Часть двенадцатая

У ЛАЗУРНОГО МОРЯ

Глава первая
В ВИЛЛЕ ИМПЕРАТОРА

Мраморная вилла римско-германского императора Фридриха II Гогенштауфена, окруженная фруктовым садом, где несколько стройных пальм качали пышными верхушками, была расположена невдалеке от города Палермо, на северном берегу острова Сицилии. В бурю беспокойные волны, в пене и брызгах, обрушивались на широкие каменные ступени.

Близ виллы, в небольшой бухте, стояли на якорях две прекрасно оснащенные фелуки[1]. На них император в случае опасности мог всегда отплыть в Александрию или Бейрут к своим арабским друзьям.

Сюда гонцы, совершавшие длинный путь, привозили подробные донесения то о разгроме соединенных саксонских, чешских и германских войск, в том числе тевтонских рыцарей, павших при городе Лигнице в отчаянной схватке с татарскими конными воинами, то об осаде Буды, то о приближении отрядов Бату-хана к Адриатическому морю.

Быстро угасал багровый закат, и в последних лучах римский император читал последнее донесение один на террасе своей виллы. Вскочив с кресла, он нервно ходил взад и вперед, погружаясь в думы. Вынув охотничий кинжал, он строгал свою трость и бросал щепки в темно-синие волны, беспрерывно ударявшие о каменные ступени.

Великий канцлер пришел с докладом. Император ответил, что сегодня он не расположен заниматься делами государства. Решение важных вопросов откладывалось на следующее утро, после чего император намеревался, по его словам, выехать на север, в Неаполь или Геную.

— А может быть, и дальше? — спросил осторожно канцлер, но не получил ответа.

Канцлер покосился на развернутый свиток с черной восковой печатью, прикрепленной на желтом шнурке, но уже не решился спросить, какие новости с далекого севера привели его господина в столь явное беспокойство.

— Ваше величество, приехал еще один гонец! Он привез письмо от наместника Тригестума. Я не решился вскрыть его. Может быть, вы найдете возможным выслушать это послание?

Канцлер всматривался в нервное лицо Фридриха, стоявшего возле каменной балюстрады и продолжавшего машинально строгать драгоценную трость. Император повернулся к неподвижно ожидавшему канцлеру и, прищурив злые серые глаза, процедил сквозь зубы:

— Гонец с Адриатики? Что может он привезти? Опять стоны перепуганного наместника, который просит разрешения «лично прибыть, чтобы доложить о неотложных

---

[1] **Фелука** — парусное судно, ходившее также и на веслах.

делах...» Неотложных!.. А все дела сводятся к тому, что наместник дрожит от страха, слыша отдаленный грохот копыт надвигающейся татарской конницы, и хочет покинуть вверенный ему город и весь округ якобы для важного личного доклада... Вернее сказать: хочет бежать!

— Вполне правдоподобно, что это так. Письмо только подтвердит прозорливость вашего величества.

— Читайте!

Канцлер подошел к маленькому столу с тремя выгнутыми ножками и положил кожаную сумку. Серебряным ключиком он отпер замок и достал свиток, перевязанный красным шнурком. Он стал читать вполголоса, стараясь произносить слова возможно четко и выразительно. Когда он окончил длинное послание, император швырнул остаток трости в море и сказал, скривив презрительно губы:

— Что же написал мне наместник в такой тревожный час, когда каждое известие дорого? Что он ничего не знает, что ему говорят, будто татар много, слишком много, что их владыка хан Бату уже прибыл в Спалато и скоро может оказаться в Тригестуме, что собранные отряды добровольцев убегают в леса и горы, что знатейшие герцоги и бароны со своими телохранителями имеют очень храбрый вид, когда потрясают мечами, но затем они тоже бегут в свои каменные замки, где запираются. А где же армия, которая встанет грозной стеной против татар? Они свободно пройдут и в Рим и в Лион. Так не создаются победы!...

«Надо уезжать в Египет, — подумал Фридрих.— Займусь там снова арабской философией».

Император резко повернулся и быстро направился во внутренние покои дворца.

Глава вторая

НЕЖДАННЫЙ ВЕСТНИК

Вечером император находился в своей библиотеке у стола, покрытого арабской черной шалью, расшитой серебряными узорами. Перед ним была развернута большая книга в кожаном переплете с медными застежками. «Великий» и «неповторимый», как его называли почтительные приближенные, сидел в большом темно-лиловом

бархатном кресле. На высокой спинке был водружен искусно вырезанный из дуба щит с золоченым гербом древнего королевского рода Гогенштауфенов. Два посеребренных льва, разинув пасти, поднятыми лапами поддерживали этот щит.

Разносторонний ум императора германской империи Фридриха II интересовали многие предметы: и военное искусство, и древняя литература Эллады и Рима, и медицина, но более всего он увлекался прошлым Востока, его многовековой мудростью, творениями восточных ученых и поэтов. Он уже с юных лет изучил арабский язык, на котором свободно объяснялся и со своими слугами-арабами, потомками, завоевателей Сицилии[1], а также с арабскими учеными, приглашенными из Багдада и Каира в основанный им университет в Палермо. Все девять греческих муз и еще десятая — восточная — могли бы считать его своим верным поклонником.

В этот вечер, отложив государственные дела, император погрузился в любимую работу: он был занят составлением трактата: «Охота с прирученными соколами и кречетами». Рядом на столе лежало другое, философское сочинение Фридриха: «Три самозванца: Моисей, Христос и Мухаммед»[2], за которое римский папа еще один раз, третий, наложил на императора проклятие католической церкви.

Бесшумно подошел молодой бронзоволицый араб в темно-синем балахоне, с пестрой чалмой на голове. Скрестив руки на груди, он остановился в двух шагах от стола.

Фридрих поднял голову и сдвинул на затылок бархатную шапочку на пышных белокурых кудрях с едва заметной сединой.

— Что случилось?— спросил он по-арабски.

Слуга, ворочая белками, с таинственным видом наклонился и прошептал:

— Часовой вызвал сотника, сотник вызвал камергера, камергер приказал мне, твоему верному Осману, доложить тебе, государь, что приплыл рыбак, несмотря на

---

[1] Арабы в течение двух с половиной веков (827—1071) владели Сицилией.

[2] Некоторые ученые полагают, что Фридриху II неправильно приписывается это полемическое сочинение.

бурю, и привез гонца, ободранного, как бедный дервиш, монаха, который имеет тебе передать что-то важное.

— Пусть камергер Иоахим приведет этого гонца сюда ко мне.

Араб, скользя босыми ногами по багдадскому темно-вишневому ковру, бесшумно исчез.

Император подложил под себя левую ногу в сиреневом шелковом чулке, перевязанную у колена голубым бантом, соединил пальцы в алмазных перстнях и беспокойно посматривал на тяжелую темную резную дверь.

«Какое важное известие? — думал он. — Теперь все известия важны... Набег беспокойного арабского султана?.. Дьявольская выходка злобствующих епископов, подстрекающих к вражде со мной французского короля?.. Новые буйства германских герцогов?.. Нет! Не то! Приехал на лодке в бурю? Монах оборванец? Для меня сейчас самым важным является наступление через Тригестум на Венецию татарского войска. Вот где опасность! Вот где надвигающийся ужас! Вот где черная туча, которая может окутать мглою, пеплом, дымом горящих селений беспечную солнечную Италию... Бродяга? Оборванный монах? Неужели оттуда?»

Император поправил щипчиками фитиль масляной лампы.

Дверь приоткрылась. Вошел и остановился камергер Иоахим, в бархатном малиновом камзоле, с тонкой золотой цепью на шее... Поглаживая аккуратно подстриженную лопаточкой седую бороду, он выждал, пока за ним не проскользнул человек в длинной черной монашеской рясе и стал, подняв глаза к потолку, торопливо читать молитву, совершая крестное знамение.

— Подойди сюда! — сказал император. Он наклонился вперед, подпирая рукой подбородок, и пытливо всматривался в подходившего монаха, желая угадать, насколько тот заслуживает доверия.

— Ваше величество! — сказал почтительным, бархатным голосом камергер, соединив ноги в красных башмаках с серебряными пряжками. — Я позволил себе побеспокоить вас, так как гонец клянется именем всевышнего, что он прибыл из грозного татарского стана и привез важные известия.

Фридрих, пораженный, откинулся назад на спинку кресла и острым взглядом пронизывал монаха.

— Здравствуй, брат во Христе!

— Да сохранит господь бог на многие годы нашего мудрого императора Фридриха!— ответил монах и поклонился в пояс, показав давно не бритую на макушке тонзуру[1].

— Кто ты? Как тебя зовут? Откуда ты прибыл? Говори, ничего не утаивая, как на исповеди.

Монах стоял спокойно. Его лицо загорело до черноты. Взлохмаченные волосы и полуседая неряшливая борода. На груди на медной цепочке большой крест из пальмового дерева. Его длинная одежда выцвела от солнца и дождей. Босые ноги в стоптанных и перевязанных бечевкой сандалиях, рукава в отрепьях и истощенное лицо говорили о долгих скитаниях, но глаза оставались живыми и горели лихорадочным огнем.

— Мое имя — брат Иаков, родом я из Болоньи. Раб божий из ордена тамплиеров. Ходил по бесконечным дорогам вселенной, когда близ Спалато...

— Спалато?!— воскликнул удивленный император.— Продолжай дальше!

— Да, наш великий государь! Близ Спалато я был схвачен передовым отрядом татарских всадников. Один из них хотел меня заколоть, но я показал на этот крест на груди, на мои длинные волосы, выбритую макушку, и тогда другой татарин оградил меня и спас от гибели. После чего, захлестнув арканом, они поволокли меня в свой лагерь.

—Татарский лагерь?

— Да, великий государь!..— Монах зашатался и ухватился за край стола. — Прости меня за слабость! Я от голода потерял последние силы.

Император ударил палочкой в висевший рядом на подставке бронзовый арабский щит. Раздался мелодичный звон. В дверях показался слуга араб.

— Принеси кувшин крепкого вина, хлеба, апельсины и кусок сыру!

— Разреши, я сяду на пол? — сказал монах и опустился на пятки на ковер.

— Сейчас вино тебя подкрепит. А пока, брат Иаков, продолжай расказывать, что испытал и увидел.

---

[1] Тонзура — выбритое место на макушке головы у католических духовных лиц.

— Это крест господень оградил тебя! — многозначительно сказал камергер.

— По приказу своего великого хана, татары очень уважают христианских священнослужителей и монахов, щадят их и не убивают.

Монах, видя, что его расказ уже заинтересовал императора, с наслаждением причмокивая, стал пить небольшими глотками из серебряной кружки принесенное слугой вино и продолжал, растягивая свой рассказ:

— Я был доставлен в лагерь главного татарского императора...

— Император только один: августейший римский император! — поправил камергер.

— Прошу простить меня, скитальца-невежду! Но я имел в виду главного татарского владыку Бату-хана, облеченного необычайной безграничной властью над всеми.

— И ты его видел?— спросил Фридрих.

Не только видел, но едва спасся от его лап.

— Как же это произошло?—Император сделал знак камергеру, и тот подлил монаху еще вина.

— Татары приволокли меня к берегу моря, где на бугре, на коврах, сидели главные татарские военачальники. Посреди них — сам Бату-хан, перед которым все приходящие падали на брюхо.

— Какой он с виду?

— Еще молодой, сухощавый, загорелый, среднего роста, глаза раскосые, черные длинные перья на шлеме. Когда смеется, то показывает зубы, как у волка, острые и белые. А взглядом так и буравит каждого насквозь... Рядом с его шатром — я так и обомлел, даже руки похолодели, — несколько деревьев срублены в рост человека и наверху заострены, как копья. Если кто рассердит хана, его сажают на такой кол.

— И при тебе сажали?

— Нет, государь, господь избавил меня от такого ужасного зрелища. Вместе со мной татарские всадники привели несколько славянских горцев.

— Пленных?

— Да, государь. Это смелые славяне. Живут на самых высоких горах. Своим сопротивлением они доставили татарам много затруднения, поэтому нескольких пленных притащили к самому Бату-хану. И он захотел посмотреть, что за удальцы такие славяне? Он сам их расспрашивал и

предложил поступить в его войско. А те, израненные, избитые, в окровавленных повязках, ничуть не испугались и говорят: «Отпусти нас домой, к нашим женам и детям. А с вами, татарами, нам не по пути». Бату-хан их похвалил и каждому приказал нацепить на шею медальку,— называется «пайцза»,— с его именем. Каждый, у кого такая медалька, большой человек и может через все войско татарское пройти свободно и никто не посмеет его тронуть... Но немедленно вслед за тем он же приказал их казнить.

— И ты тоже получил медальку?— спросил, грозно сдвинув брови, император.

— Нет, ваше величество! Со мной было иначе...

Камергер еще подлил вина, а монах, очищая от кожуры апельсин, продолжал:

— Переводчиком у татар был пожилой человек, одетый как мусульманские священники-муллы, в полосатой рясе, с белым полотенцем, накрученным на голову. У него была длинная рыжая полуседая борода. Он так хорошо объяснялся со славянами, что они даже позвали его к себе быть у них священником. Но рыжий переводчик засмеялся и сказал, что он доволен своей службой у татар и ничего лучшего ему не надобно.

— С длинной рыжей бородой?— задумчиво сказал Фридрих.— Каких он примерно лет?

— Думаю, ему лет шестьдесят, если не больше... Он меня повел в свою палатку...

— И стал тебя допрашивать? Сколько у меня войска? И ты ему рассказал?— Император вскочил в гневе.

— Ваше величество! Я ему ничего не сказал, клянусь святой девой! Да ничего такого он меня и не спрашивал, а говорили мы совсем о другом...

— Ведь если ты наговорил ему лишнего, то я должен тоже тебя казнить. Ведь это придаст татарам смелости ворваться в Италию!

— Не дай господи! Но позвольте, ваше величество, сказать то, ради чего и как я к вам приехал.

Фридрих успокоился, опустился в кресло и снова стал пытливо всматриваться в лицо монаха, которому, видимо, очень нравилось сидеть на ковре в роскошной вилле самого императора, пить великолепное вино и есть апельсины и виноград.

— Я перейду теперь к самому важному. Этот переводчик,— его зовут Дуда,— привел меня к своей палатке...

— Дуда?!— воскликнул император.— Высокий, тощий, с рыжей бородой?

— Верно, верно, ваше величество!

— Говори скорее дальше. Ведь минуло столько лет, а он все еще жив, пройдя через необычайные потрясения и страдания!

Монах продолжал:

— Переводчик Дуда усадил меня на овчину и сказал: «Я тебя выведу невредимым из татарского лагеря, но за это можешь ли ты исполнить мою просьбу?»—«Охотно!»— ответил я... «Если ты хочешь заработать большую награду, то отправляйся немедленно в Тригестум, оттуда в Венецию, а затем проберись на остров Сицилию, где явишься к августейшему императору Фридриху. Постарайся передать ему лично, из рук в руки, это письмо. А я на дорогу дам тебе горсть серебряных денег...»

— Да где же письмо?!— воскликнул император.— Что же ты не отдал его сразу? Болтливый дьявол!

Монах вскочил, полез рукой в складки своей просторной одежды и стал рыться сперва в правом, потом в левом кармане, затем, вытаращив испуганно глаза, снова продолжал шарить дрожащими руками.

— Оно было, клянусь спасением души! Куда же оно девалось? Слава всемогущему, вспомнил. Я его спрятал в тряпке, которой подпоясаны мои штаны!.. И монах вытащил и подал на широкой грязной ладони горсть больших грецких орехов.

— Ты что, издеваться надо мной вздумал? Какое же это письмо!

— Вскройте, ваше величество, осторожно орехи, и в них вы найдете несколько листочков. Сам переводчик Дуда свернул их в комочки, затолкал в скорлупу и каждый орех склеил еловой смолой.

Император осторожно коснулся орехов холеными пальцами, сверкнувшими голубыми искрами алмазов. Осмотрел со всех сторон, взял со стола маленький кинжал и расщепил им орехи. Внутри каждого действительно были бумажные комочки. Император осторожно разгладил их на коленях, положил на стол и погрузился в чтение.

«Что это? — думал он. — Арабское письмо?» — Он стал читать дальше и убедился, что это были — санта Мария! — латинские слова, написанные арабскими буквами. Император стал переписывать латинскими буквами загадочное письмо, и тогда он его понял...

Глава третья

ПИСЬМО ДУДЫ ПРАВЕДНОГО

«Августейший великий император!

Тебе шлет привет и пожелания долгой жизни, благополучия, счастья и славы твой бывший лекарь, неизменно преданный доминиканец, исследователь арабской магии и алхимии, которого прозвали «Дуда Праведный».

Я точно выполнил твою волю и неотлучно сопровождал твою воспитанницу, Марию Клармонте, из Вифлеема, по направлению к морю, надеясь посадить юную девушку на указанный тобою корабль. Ночью в горах на наш караван напали арабские разбойники и всех путников потащили в свои становища. В числе попавших в рабство оказались и мы с Марией. Знание арабской речи нас выручило. Я уверил разбойников, что я мусульманский знахарь, мудрец и прорицатель, а Мария — это моя внучка, и что я из необходимости, находясь среди крестоносцев, притворялся, будто исповедую христианскую веру. Успешно вылечивая арабских воинов, перевязывая и зашивая их раны, я не брал никакой платы, и они стали относиться ко мне с уважением, тоже прозвав «Дуда Праведный». Затем нас продали в Багдад, где мы прожили несколько лет.

Теперь я должен сообщить тебе горестную весть. Приготовься к тяжелому удару. Твоя воспитанница, светлая, безгрешная Мария, тосковала по тебе и медленно угасала, постоянно повторяя твое августейшее имя, пока ее слабые уста не прошептали его в последний раз. Она так исхудала, что разрушение, обычно следующее за смертью, почти ее не коснулось и несколько дней она лежала на носилках, которые я сплел из камыша своими руками, обложенная цветами и ароматичными травами, будто только уснула, и я не решался предать ее земле.

В том домишке, где я жил, была каморка с окошком. Днем я его закрывал ставнями от беспокойных мух,

а ночью в это окошко светила луна и бросала печальные серебристые лучи на прекрасное лицо Марии... Каждую ночь проводил я в слезах, оплакивая раннюю кончину твоей воспитанницы, которая до последнего дня верила, что настанет счастливое мгновенье, когда она приплывет на корабле в родную Сицилию и снова увидит тебя, августейший император.

В день, когда халиф багдадский приказал мне отправиться, сопровождая его посольство, к татарскому хану, я нанял старика, и мы отнесли останки безгрешной Марии на кладбище, расположенное на высоком берегу великой реки Евфрат. Там мы вырыли могилу под одинокой пальмой. Я поставил узкую каменную плиту, вырезав на ней арабскую надпись «Марнам» с изображением пальмовой ветви.

После этого я мог спокойно отправляться в путь как лекарь и писарь арабского принца Абд ар-Рахмана, которого халиф багдадский отправил послом к могущественному царю татарскому Бату-хану. С войском этого грозного полководца, состоя при арабском принце, я добрался до Адриатического моря, и близ города Спалато мне удалось спасти от жестокой смерти на острие кола доброго монаха, брата Иакова, и он клятвенно обещал доставить это письмо, мой августейший повелитель и покровитель, в твои всесильные руки. Умоляю наградить его соответственно заслугам и твоей, всегда неизменной, щедрости.

Мое будущее темно. Скажу только, что, пройдя с войском Бату-хана через столько поверженных и разоренных стран, я увидел ад, страшней которого не придумает никто из смертных. Если бы монголы двинулись на римские и франкские земли, то горем и кровью залилась бы вся вселенная.

Кончая письмо, могу сообщить тебе весть, которая обрадует родной мне итальянский народ: грозный Бату-хан сегодня объявил арабскому принцу, что он останавливает свой поход на запад и поворачивает войска обратно в свое становище в устье Итиля.

Я буду счастлив, если это письмо дойдет до твоего проницательного взора и я окажусь первым, сообщившим радостную весть, что пожар войны, надвигавшийся на мирную Италию, остановился у ее границ. Хотел бы я снова посетить мою дорогую родину и записать на проч-

ных листах все, что я увидел и пережил в восточных странах, но будущее мое в руках всевышнего».

Император откинулся на спинку кресла. Его глаза блуждали, на лице были слезы. Камергер стоял неподвижно, ожидая распоряжений.

— Известия исключительной важности! Преданный мне человек доносит, что татары остановились и, несомненно, поворачивают обратно...

— О санта Мария!— воскликнул камергер и набожно перекрестился.

— Если это известие будет подтверждено донесением наместника Тригестума, то это значит, что грозный вал бушующего татарского моря докатился до наших пределов и затем отхлынул обратно в свои дикие, варварские степи... Что остановило татар? Сейчас это неразрешимая загадка! Ведь они могли с огнем и мечом пройти по всей Италии, Франции, Испании и водворить повсюду на целые тысячелетия свою власть, ввести языческую религию и страшные законы свирепого Чингиз-хана... Этого гонца-монаха я отблагодарю.

А монах лежал на ковре, на боку, подложив руку под лохматую голову, похрапывал и сопел... Император бережно сложил полученные листки и спрятал их в перламутровую шкатулку, которую достал из стола.

Затем он ударил палочкой в бронзовый щит и сказал вошедшему слуге арабу:

— Скажи кормчему фелуки, что я свой отъезд в Египет откладываю.





Часть тринадцатая

КОНЕЦ ПОХОДА

Глава первая
БЕСЕДА НА БЕРЕГУ ДУНАЯ

(Из «Путевой книги» Хаджи-Рахима)

„Вскоре закончится моя путевая книга, с которой я никогда не расставался: ни днем, когда, верхом на коне, я хранил ее в дорожной сумке, ни ночью, когда я опускал на нее усталую голову, обнимая вместо подушки. Сейчас в книге осталось очень немного чистых листков. На них я запишу сегодняшнюю беседу с моим

когда-то бывшим учеником, а теперь повелителем многих покоренных им земель.

Повинуясь воле Бату-хана, все монгольское войско, оставив нетронутым Тригестум, повернуло обратно. Переправившись через Дунай у разрушенных городов-близнецов Буды и Пешта и пройдя мадьярскую степь пушту, войско остановилось на отдых у границ Болгарии.

На этой зеленой равнине, удобной для коней, джэхангир произвел смотр своим сильно поредевшим войскам, прибывавшим отовсюду, устроил воинские игры в честь павших в боях, и здесь же завтра он объявит свою волю: куда дальше направится татарская орда.

Сегодня под вечер, выйдя из шатра, Саин-хан усадил меня рядом с собой на берегу стремительно текущей реки Дунай, в том месте, где она, вырвавшись из скалистых тисков, делает поворот и затем спокойно направляется на восход солнца к морю.

С нами был только недавно вернувшийся хан Арапша, много важного рассказавший об Искендере Новгородском, его земле и войске.

На противоположном берегу расстилалась болгарская земля, плодородная равнина, покрытая лугами и небольшими рощами. Она была пустынна: население, опасаясь татарских войск, ушло в глубь страны. Только два-три раза показывались вдали болгарские всадники с короткими копьями.

Обращаясь к Арапше, Бату-хан спросил:

— Может быть, и ты уже слышал споры: почему бы теперь по пути не раздавить еще маленькое Болгарское царство? Мы сильны, нам ничего не стоит копытами наших коней растоптать этот народ! Пусть так думают все, но вам двоим я могу доверить тайное: я не могу больше посылать в «заоблачное воинство» своих багатуров! Мы скоро пойдем опять через земли русов. А вдруг Искендер Новгородский подстерегает нас там и ударит на мое сильно ослабленное войско своими прославленными победой дружинами и отобьет у нас всю захваченную нами добычу и пленных? Нет! Мы не будем громить болгар, не будем задерживаться! Скорей домой, в Кечи-Сарай! А ты, мой верный Арапша, поедешь обратно в Новгород к Искендеру. Надеюсь, что это еще не поздно. Следи

за ним, доноси мне обо всем. Я повелеваю ему прибыть в Кечи-Сарай! Я сам хочу видеть его, говорить с ним. Ты много ценного мне рассказал о нем: это враг опасный, сильный, умный...

Мы долго еще говорили в этот вечер с Бату-ханом. Он приказал мне на следующий день отправиться вперед с одним из его отрядов, чтобы обрадовать Юлдуз-хатун вестью о скором возвращении из похода ее повелителя.

Итак, приближается день, когда я перестану нанизывать концом тростинки слова повести о тех поразительных событиях, битвах, разгроме городов и потоках крови и слез, невольным свидетелем которых сделала меня судьба.

Но я постараюсь вкратце сказать и о судьбе тех необычайных людей, с которыми мне пришлось расстаться.

С разрешения Бату-хана Иесун-Нохай со своими «буйными» переправился через Дунай, чтобы присоединиться к войскам царя болгарского. Он повез с собой румийскую царевну Дафни, которая терпеливо и мужественно следовала за ним в походе и чье искусство врачевания спасло жизнь Нохая, раненного в битве при взятии Кыюва. Она же обещала ему помочь проникнуть в византийскую столицу.

Вместе с ними ушел и посол халифа Абд ар-Рахман, чье мужественное благородство спасло не одну жизнь от ненужной жестокости Бату-хана. Он направился в Багдад, обратно к своему халифу, чтобы предостеречь его от того, что, подобно урагану, может нежданно обрушиться и на его цветущие земли. Я рад, что предсказание, сделанное этому доблестному юноше гадалкой на берегу реки Итиль, о котором он часто вспоминал во время похода, так и не сбылось.

Оставил нас также упрямый великий аталык Субэдэй-багатур, не примирившись с тем, что его воспитанник и ученик отказался дойти до «последнего моря».

Еще раньше покинул нас и Дуда Праведный, человек-загадка: несмотря на постоянное с ним общение и дружбу, я так и не знаю, кому он по-настоящему служил и куда теперь направится.

Счастлив путник, который после долгих скитаний, наконец, видит вдали очертания заветной Мекки!»

Глава вторая

КАК ЗАСВЕТИЛАСЬ ЗВЕЗДА ЮЛДУЗ-ХАТУН

(Из «Путевой книги» Хаджи-Рахима)

«...Я должен написать о том нежданном и потрясающем, что я застал, когда вернулся в Кечи-Сарай. Пыль покрывала и платье и мою бороду, и моего терпеливого утомленного иноходца.

Переправившись на другой берег в большой лодке с двенадцатью гребцами, прикованными железной цепью к скамейкам, я омыл водой великого Итиля мои руки и лицо и возблагодарил всемогущего и всеведущего, который сохранил меня невредимым в этом необычайном походе на «вечерние страны» и дозволил снова увидеть молодую строящуюся столицу неукротимого и ненасытного в борьбе Бату-хана.

Вдали на холме показались причудливые очертания «золотого домика», где ждала возвращения татарского владыки его верная спутница жизни, преданная и кроткая Юлдуз-хатун. Вдоль отлогого берега реки за время нашего отсутствия выросло много шалашей и домиков, слепленных из глины и покрытых камышовыми крышами. В них поселились купцы и ремесленники, прибывшие из разных стран. Повсюду брели утомленной походкой часто в одних жалких отрепьях различные пленные, многие с железными оковами на босых ногах.

Медленно поднимался я по склону песчаного бугра, ведя в поводу моего коня. Хотя самое достойное место для доблестного человека — это седло благородного коня, но я, дервиш, все же предпочитаю сидеть на ковре возле светильника и беседовать с мудрой книгой. Я радовался, чувствуя под ногами твердую, ставшую мне уже родной землю молодого города, и не предчувствовал той страшной беды, которая меня ожидала.

Два часовых, сидевших у ворот «золотого домика», играли в кости. Увидев меня, они вскочили и, побежав навстречу, поцеловали край моей одежды. Покачивая головами, они то подымали вверх руки, то ударяли себя по лицу:

— Горе! Горе! Для Саин-хана жгучее горе! Для всех нас большое горе!

— Скорей говорите, что случилось?

— Только ты нас не наказывай за то, что мы первые тебе сообщили «черную весть».

— Не бойтесь, говорите смело!

— Нашей доброй госпожи Юлдуз-хатун больше нет!

Сказав это, часовые бросились к воротам, взяли в руки свои копья и встали по сторонам входа, неподвижно вытянувшись, как подобает воинам, стоящим на страже.

— Абдулла! Садык! Быстрей сюда! — крикнул один.

Ворота открылись. Оттуда выбежали слуги, приняли моего коня, а я, растерянный, не понимая, что случилось и почему, вошел внутрь дома, поднимаясь по лестнице скорби...

Белый гроб из гладко оструганных досок. В нем на цветных шелковых подушках лежит она. Легкая узорчатая шелковая одежда. Узкие маленькие руки сложены на груди. В одной руке несколько свежих цветов. Я боюсь поднять глаза, чтобы взглянуть на знакомое, такое дорогое мне лицо. Столько лет безнадежно любил я ее, увидев впервые девочкой, когда она мне приносила молоко и лепешки. Никогда я не проговорился ей о моей беспредельной любви, даже ничем не показав вида, что она для меня жизнь, вся радость жизни, весь смысл моей жизни.

По другую сторону гроба на ковре сидит завернутая в узорчатую белую «шаль скорби» китаянка И Ля-хэ. Когда-то она потеряла мужа и всех своих детей... Теперь она лишилась последней своей привязанности. Она сидит, как неживая, напоминая китайского идола, опустив глаза на свои руки, которые перебирают темно-красные гранатовые четки. Не сказав мне ни слова привета, она тихо шепчет:

— Гроб собственноручно сделал наш мудрый друг строитель дворцов Ли Тун-по. Он приехал недавно, за два дня до гибели нашего дорогого жаворонка. Юлдуз-хатун внимательно и жадно слушала его рассказы о походе. Ее мало обрадовали привезенные им подарки, присланные самим Бату-ханом. Из них она мне сейчас же отдала эти гранатовые четки, точно предчувствуя, что эти камни, похожие на капли крови, будут всегда мне напоминать о моем горе. Она была особенно потрясена,

когда неосторожный Ли Тун-по рассказал о гибели вместе с ханом Пайдаром ее названого брата Мусука. «Где он похоронен?» — спросила она, ставши бледной, как снег. «Тело его сожжено на костре вместе с телами хана Пайдара и других павших воинов, — ответил Ли Тун-по. — Все наше преславное войско трижды объехало костер и спело погибшим багатурам боевые песни почета и скорби».

После этого рассказа Юлдуз-хатун точно окаменела. Она все время и днем и вечером безмолвно сидела в углу комнаты и часто тихо плакала. Такой печальной я видела ее только после того, как умер отравленный ее маленький сын, которого так желал и ждал Бату-хан. Она не хотела никого принимать. Но раз к ней пришли две жены Саин-хана, — конечно, для того, чтобы увидеть охваченную горем Юлдуз-хатун и этому порадоваться. Они принесли виноград, яблоки и сладких лепешек на меду. Я шепнула моей госпоже, чтобы она не ела этих подарков. Она мне ответила: «А мне теперь все равно». Вскоре ханши ушли, а у Юлдуз-хатун начались боли, точно после отравы. Она стонала, извивалась и постепенно теряла силы. Прибежавшие лекари и звездочеты ничем не могли помочь, а тебя, Хаджи-Рахим, тогда не было. А вскоре... — китаянка, глотая слезы, указала на тело Юлдуз-хатун.

Я поднял взгляд на лицо покойной, моей мечты, радости моей скитальческой жизни. Обычно нежные и ласковые черты и добрая улыбка теперь исчезли: она была величественна, строга и спокойна. Тонкие темные брови слегка сдвинулись. Она казалась такой далекой от всего, что оставила на земле. Мне хотелось, и в душе я страстно молил, чтобы ее ресницы дрогнули и приоткрылись на мгновенье всегда чарующие глаза...

Мне казалось, что она безмолвно мне говорила: «Смотри на меня в последний раз. Я улетаю далеко в созвездие Плеяд. Когда мы встретимся, — не знаю, но остановка за тобой, я там буду тебя ждать...»

Так мне чудилось, так я безумствовал. Моя голова кружилась. Разве меня стала бы она ждать?

Вошел Ли Тун-по. Мы обнялись, как старые друзья, и у обоих на глазах были слезы. Нас еще более связало общее горе.

Втроем мы стали тихо обсуждать, что делать? Где

и как похоронить Юлдуз-хатун? Ведь она была только наложницей владыки великого хана чингизида, хотя и значила для Бату-хана больше, чем все его жены вместе.

Мудрая китаянка И Ля-хэ предложила следующее:

— На моей далекой родине, в Китае, есть такой обычай: китайский император, желая почтить память своей любимой, хоронит ее в саду дворца, где она жила. Над могилой ставится памятник из мрамора или дикого камня. Позовите только самых близких друзей, и похороним тело нашей маленькой госпожи здесь, в этом небольшом, но прелестном дворцовом садике. Наверное, найдется искусный ваятель, который высечет на белом надгробном камне рисунок надломленного цветка и над ним звезду — Юлдуз.

Ли Тун-по очень похвалил предложение китаянки и сказал, что никому не уступит этой работы, а сам сделает такой памятник к приезду Бату-хана.

Сегодня на закате дня мы похоронили тело нашей маленькой госпожи Юлдуз-хатун в чудесном садике, где она проводила когда-то так много времени. По окончании печального обряда я остался один. В благоговейной тишине наступающего вечера передо мной проносилась вся моя долгая скитальческая жизнь, жизнь без любви, без счастья. Где найти утешение? Я поднял взгляд к небу, уже потухающему, и увидел яркую одинокую звезду. И я подумал, что это переселившаяся в иной мир душа Юлдуз-хатун посылала мне свой далекий привет... Но тайны вселенной кто может разгадать?

Вот какую печальную запись я должен был внести в мою «Путевую книгу» вместе с описанием походов победоносного войска Бату-хана».

Глава третья

ТРЕВОЖНЫЕ ДУМЫ БАТУ-ХАНА

(Из «Путевой книги» Хаджи-Рахима)

«Когда мы узнали, что Бату-хан приближается к Кечи-Сараю, никто не захотел быть «черным вестником» и сообщить ему о смерти Юлдуз-хатун, и я вызвался это сделать. Вопреки обычаю, он не убил меня, но и не

расспрашивал ни о чем, хотя стал еще более задумчивым и молчаливым, но, видимо, его тревожило нечто другое.

Спустя несколько дней он вызвал меня к себе и сказал:

— Меня постигло новое огорчение. Я решил проверить, как идут военные занятия моего сына Сартака. Не предупредив его, я приблизился к тому кольцу шатров, в середине которых находится его юрта.

Я требовал, чтобы даже в походе во время стоянок по утрам Сартак беседовал с приставленным к нему китатским ученым и теперь продолжал эти занятия, изучая его полезную книгу: «Правила для полководца, или искусство побеждать». Этого учителя-воина еще перед началом похода на «вечерние страны» мне прислал из царства китатов начальник левого крыла монгольских войск Мухули.

Бесшумно подошел я к шатру Сартака, удержав рукой тургауда, желавшего откинуть дверную занавеску, и стал прислушиваться. Из шатра доносились тихие голоса. Говорили шепотом, но я понял, что там колдовали! Неведомый мне сиплый голос говорил: «Это драгоценный порошок, привезенный из священной Мекки. Его надо смешать с порошком, приготовленным из толченых летучих мышей, сердца белого голубя и семи черных скорпионов. Всю эту смесь надо высыпать на железную сковородку и медленно поджаривать на огне. После этого она приобретет волшебную силу против всех твоих врагов... и они погибнут...»

Я вошел в шатер. Сартак сидел перед костром, на котором на треножнике грелась сковорода. Рядом с моим сыном сидел мусульманин, потомок Мухаммеда, судя по зеленой чалме, закрученной на его голове. При виде меня оба они в ужасе окаменели.

А старый учитель военного искусства лежал неподалеку на ковре, и возле него стоял глиняный кувшин и красивая фарфоровая чашка с вином.

Он с закрытыми глазами напевал: «Все прекрасно: и силуэт девушки на холме в час заката, и тень ивовых ветвей, упавшая на колею дороги...»

Сартак и мусульманин молча смотрели на меня расширенными глазами. От сковороды поднимался одуряющий дым.

Я спросил мусульманина:

— Что сегодня предсказало твое гадание?

Он сейчас же стал быстро и уверенно говорить:

— Предсказано, что, несомненно, хану Сартаку уготовано славное царствование на много лет.

— А что предсказано тебе, всеведущий мусульманин?

Колдун ответил, заикаясь:

— Мне? Да, мне предсказано, что я стану твоим любимым придворным лекарем и звездочетом на много лет и, обласканный твоими щедротами, проживу счастливо долгую жизнь, увидя своих внуков и правнуков.

— Ты берешься предсказывать то, что произойдет через много лет, а сам не предвидишь даже того, что с тобой произойдет сегодня, сейчас. Значит, твои предсказания лживы и никому не нужны. Тебе сегодня отрубят голову. Тургауды! Отведите этого лгуна и обманщика к моему брату Берке-хану и скажите, что я отдаю ему для бичевания и расправы ненужного мне колдуна. Хан Берке любит мусульман и всегда окружен ими.

Бату-хан пристально посмотрел на меня. Потом продолжал:

— Так я приказал. Теперь, богатый знаниями Хаджи-Рахим, скажи мне, правильно ли я поступил?

— Что могу сказать я, червяк, ползущий по ветке могучего дерева, боясь, что всякая летящая мимо птица проглотит меня. Но все же я припомню тебе, что бы сказал и как поступил твой мудрый дед, священный правитель! Сказать ли?

— Говори!

— Ты окружен мусульманами. Но ведь не они, а твои родичи, монголы из Гоби, Керулена, Онона и Хингана, твоя главная верная опора. На одного монгола приходится по десяти, а то и по двадцати кыпчаков.

— Ты мне говоришь то, что я давно знаю, но я хочу знать иное: если я сегодня умру, переправляясь на коне через Итиль, кто встанет на мое место? Мой сын Сартак? Я не доверяю и в то же время завидую коназу русов Ярославу Суздальскому. Он изо всех сил старается оживить и укрепить раздавленные мною княжества. А больше всего я завидую ему в том, что у него есть такой сын, как юный Искендер, который уже одержал ряд побед

и продолжит заботы отца о расцвете и укреплении своей земли. Я, конечно, не допущу этого и постараюсь раздавить русов, чтобы держать их, как табун кобылиц, которых я могу доить. Но...

Бату-хан задумался и указал рукой на восток, в сторону монгольских степей:

— Там ли расцветет будущее величие Синей Орды или позади, в тех странах, которые я только что разгромил?

Я заметил осторожно:

— Если ты ищешь настоящего величия, то оно должно быть повсюду, а не только в одной стороне.

— Но для кого будет это величие? Кто станет моим преемником? Кто сможет твердо держать грозный бунчук моего деда? Сартак? Он до сих пор не участвовал ни в одном бою. Тургауды оберегали его, чтобы ни одна стрела, пущенная вражеской рукой, до него не долетела. А Искендер Новгородский, как мне рассказал Арапша, постоянно сам бросается в гущу боя и одерживает даже с малым войском нежданные победы... Я еще надеялся, что, когда вернусь в Кечи-Сарай, тут меня встретит Юлдуз-хатун. Она протянет на своих нежных руках наследника, такого же багатура, каким был мой отец Джучи или тобой любимый Искендер Двурогий. Но опять моя надежда не сбылась. Тайные враги, сторонники Гуюк-хана, погубили моего наследника и его мать. Пусть не думают, что им удастся ускользнуть от моей беспощадной мести! Я ничего не забываю! Я еще разыщу их и прикажу сварить живьем!

В моей душе сейчас переплетаются великие замыслы и жгучая тоска. Мы сегодня снова пойдем в шатер Сартака и там проверим: может быть, Сартак спорит со своим военным учителем, обдумывая новые смелые военные походы? А как я был бы счастлив, если бы убедился, что я ошибаюсь, что в Сартаке крепнет истинный воин и полководец!..

Мы некоторое время еще продолжали сидеть, вспоминая соратников, которые полегли в этом походе на «вечерние страны» и которым не пришлось больше увидеть родные степи и строящийся среди них Кечи-Сарай. Много говорили мы и о кроткой Юлдуз-хатун, чьи нежные песни и мудрые советы украшали прежде наши вечера в «золотом домике».

Уже стемнело, когда Бату-хан направился со мной проведать, как идут военные занятия его сына. Перед юртой Сартака стояли трое, и все, увидев нас, опустились на колени: брат нашего владыки — Берке-хан, осужденный колдун-мусульманин и палач «меч гнева».

Бату-хан поднял брата и лизнул его в щеку:

— Знаю, о чем ты будешь сейчас просить. Бери этого обманщика себе и слушай его лживые предсказания! Но помни: сегодня он своим волшебным порошком хотел отравить меня, а завтра, может быть, и для тебя приготовит отраву. Ведь он это делает, конечно, по чьему-то наущению. Постарайся узнать, кто его хозяин, кто его толкает на это. А сам он пусть не забывает, что поблизости от наших шатров в землю воткнуты заостренные колья и на одном из них он может найти свой конец.

Мы вошли в шатер. Китат сидел около костра. Возле него горел на подставке светильник. Сартак, болезненный и худой, почтительно подойдя к отцу, подождал, пока тот погладил его по лицу. Затем мы уселись на подложенных подушках. Китат развернул перед собой свитки рукописей. На них были рисунки, изображающие воинов в иноземных одеждах и с чуждым нам оружием. Были также чертежи крепостей и земляных укреплений. С китатом я встречался раньше и не раз беседовал с ним. Он был уже стар, с реденькой седой козлиной бородкой, с очень истощенным шафранно-желтым лицом — последствие неумеренного потребления гашиша. Он и меня уговаривал испробовать это средство, которое, по его словам, утешает во всех горестях жизни и дает возможность побывать в иных мирах и беседовать с самыми знаменитыми людьми древности и познать самые необычайные радости. Но руки его постоянно тряслись, и я не хотел, подобно ему, потерять свою волю и ясность духа.

Бату-хан сказал Сартаку:

— Послушай меня, сын мой. Когда-то священная прабабка твоя, как мне много раз передавал мой отец, должна была скитаться в степях Монголии. За ней гнались проклятые кераиты, и только благодаря ее волчьей хитрости и упорству она избежала плена и гибели. В такую тяжелую пору у нее в пути родился мальчик, мой

преславный отец Джучи. У нее не было во что завернуть ребенка, чтобы спасти от жгучего мороза, и она облепила его тестом и только поэтому невредимым довезла до своего кочевья. В таких страшных испытаниях голода и лишений вырастал твой дед. Ты же родился на шелковых подушках и был покрыт собольими пеленками. Сумеешь ли ты стать закаленным, сильным воином, бесстрашным багатуром? Я к тебе приставил самого ученого китата, знающего все хитрости, все искусство прежних великих завоевателей. Учишься ли ты у него? Объясняет ли он тебе все, что ты должен и хочешь знать?

— Я все стараюсь понять, — шептал почтительно Сартак. — Но твои битвы, твои победы меня гораздо большему научили, чем все им сказанное.

— Пусть теперь твой учитель расскажет мне о военном искусстве, а я послушаю: может быть, он и мне окажется полезным.

Китат сложил ладони и несколько раз помахал ими в сторону Саин-хана, затем начал рассказывать на ломаном монгольском языке, которому он научился, находясь много лет в плену у монголов.

— Самые знаменитые и знающие китайские ученые, написавшие прославленные сочинения, говорили, что на войне главные правила для полководца: хитрость, изобретательность и обман...

— Мудрые правила! — заметил Бату-хан. — Но это еще мало!

— Все прославленные китайские полководцы отличались именно этими качествами. Главное правило воинского отряда — обманывать, быстро передвигаться, вводить в заблуждение противника. Поэтому, будучи сильным — кажись слабым, будучи боеспособным — кажись небоеспособным, если ты к неприятелю близок, кажись, будто ты далек от него, и будучи далек — показывай вид, будто близок...

Бату-хан внимательно слушал дальнейшие разъяснения учителя-китата и, наконец, сказал:

— И это все нужное, чтобы стать великим полководцем? Ты не учитель воинского искусства, а слепая летучая мышь!

Он покосился на Сартака: тот сидел с полуоткрытым ртом и сонными глазами.

Бату-хан встал. Китайский учитель, прервав свою речь, несколько раз поклонился. Мы вышли из шатра. Звездное покрывало простерлось над нами. Кругом, и вблизи и далеко, мелькали огоньки костров. Бату-хан сказал:

— Теперь ты видишь, может ли из моего сына вырасти настоящий джэхангир, повелевающий народами... Кому верить? На кого, на чьи железные плечи переложу я часть своих забот? Мы недавно прошли по земле русов. Я не доверяю этому великому племени, которое, как гибкое дерево, гнется, но не ломается. Я истреблял их без жалости, а мне доносят, что они снова поднимают голову, что они строятся, они собирают отряды. Я потерял на их земле слишком много своих лучших воинов, надеясь раздавить русов навсегда. Что с того, что я разрушил и сжег Кыюв! Я понес там огромные, незаменимые потери. Кыюва больше нет. Вместо богатейшей столицы — гора, покрытая трупами, которых так много, что мы, непобедимые завоеватели, не могли исполнить нашей священной обязанности — устроить погребальный костер павшим в битве. Холмы Кыюва покрыты десятками тысяч трупов, где перемешались воины и наши и русов, вместе с их женщинами и детьми, бившимися до последнего дыхания...

Теперь я хочу расширить и укрепить столицу созданного мною царства Небесной Орды Кечи-Сарай. Среди пленных, захваченных мною в Кыюве и других городах русов, я приказал отобрать тех, кого они называют «умельцами». Эти люди знают всяческие ремесла и могут быть нам полезными.

Меня вызывают на мою далекую родину, в Кара-Корум, на выборы нового великого кагана всех монголов, но я туда не поеду. У меня новая родина, и это царство я крепко держу в своем кулаке. И если бы даже меня выбрали на курултае великим каганом, я откажусь и посоветую вместо себя избрать правдивого и смелого моего брата хана Менгу. Но я предвижу, что на курултае все подчиняются желанию властной вдовы — правительницы Туракины — и выберут ни к чему не способного ее сына, злобного хана Гуюка. Но это их дело! Все мое могущество теперь здесь, в степях Дешт и Кыпчака. И я задумываюсь над тем, что станет с созданным мною царством после моего ухода в заоблачные войска священного

правителя? Разве мой сын Сартак способен натянуть поводья и вздернуть на дыбы могучего монгольского коня? Чья железная рука удержит и сохранит для нас эти огромные завоеванные мною земли? Кому я их передам? Меня покинул в походе коварный Гуюк-хан — это хорошо! Но от меня ушел и тот, кто меня воспитал,— старый Субэдай-багатур, и тот, кого воспитал я, надясь, что он станет моей верной опорой и помощником — молодой Иесун-Нохай. Вчера ты мне сказал, что тоже от меня уходишь... А еще постоянной тревожной тенью стоит на севере молодой коназ новгородский Искендер. А вдруг он двинется сюда со своим войском? Эти думы терзают меня днем и ночью. Но о них не должен знать ни один человек. Темным и беспокойным кажется мне будущее моего царства..

Эта была моя последняя беседа с Бату-ханом. Теперь, заканчивая эту книгу и вспоминая все, что я слышал и видел за эти страшные годы, я могу только пожелать моим будущим читателям, чтобы им не пришлось испытать самое ужасное, что может быть в нашей жизни, — всесокрушающего урагана жестокой и бессмысленной войны».

1941—1951
Москва



СОДЕРЖАНИЕ

Часть первая

ЭТО БЫЛО В БАГДАДЕ

Часть вторая

В НИЗОВЬЯХ ИТИЛЯ

Часть третья

В СТАВКЕ БАТУ-ХАНА

Часть четвертая

НОВГОРОДСКИЙ ПОСОЛ У БАТУ-ХАНА

Часть пятая

ГРОЗОВЫЕ ТУЧИ СГУЩАЮТСЯ

Часть шестая

МГЛА ДВИНУЛАСЬ НА „ВЕЧЕРНИЕ СТРАНЫ“

Часть седьмая

НА ДНЕПРЕ

Часть восьмая

ПОСЛЕДНИЙ ЧАС КИЕВА

Часть девятая

МОНГОЛЬСКИЙ АРКАН НАД ЕВРОПОЙ

Часть десятая

БАТУ-ХАН НА БЕРЕГУ АДРИАТИКИ

Часть одиннадцатая

НАЧАЛО РАЗЛАДА

Часть двенадцатая

У ЛАЗУРНОГО МОРЯ

Часть тринадцатая

КОНЕЦ ПОХОДА

Василий Григорьевич Ян

К „ПОСЛЕДНЕМУ МОРЮ“

Издательство „Каракалпакия“
Нукус — 1973

Повесть переиздается с издания Государственного издательства художественной литературы, Москва, 1955 год

Редактор *А. И. Бочкарев*
Худ. редактор *К. Бердимуратов*
Тех. редактор *В. Н. Барсукова*
Корректор *Т. И. Смирнова*

Подписано к печати 30/III—1973 г. Формат 84×108/32. Печ. л. 10,25. Усл. печ. л. 17,22. Уч. изд. л. 16,8. Тираж 150 000. Издательство „Каракалпакия“, г. Нукус, ул. К. Маркса, 9.

Отпечатано в типографии № 1 Государственного Комитета Совета Министров Узбекской ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли на бумаге № 2. Ташкент, ул. Хамзы, 21. 1973. Заказ 3[illegible]4. Цена 59 к.

7—3—2
62—68 м.

Р2 Ян В.
Я 60 К «последнему морю» (Путь Батыя)
Историческая повесть. 13 В. Нукус. Изд-во
«Каракалпакия», 1973.
328 стр.



59 к.

«Қаракалпакия»


В. ЯН
К „ПОСЛЕДНЕМУ МОРЮ“